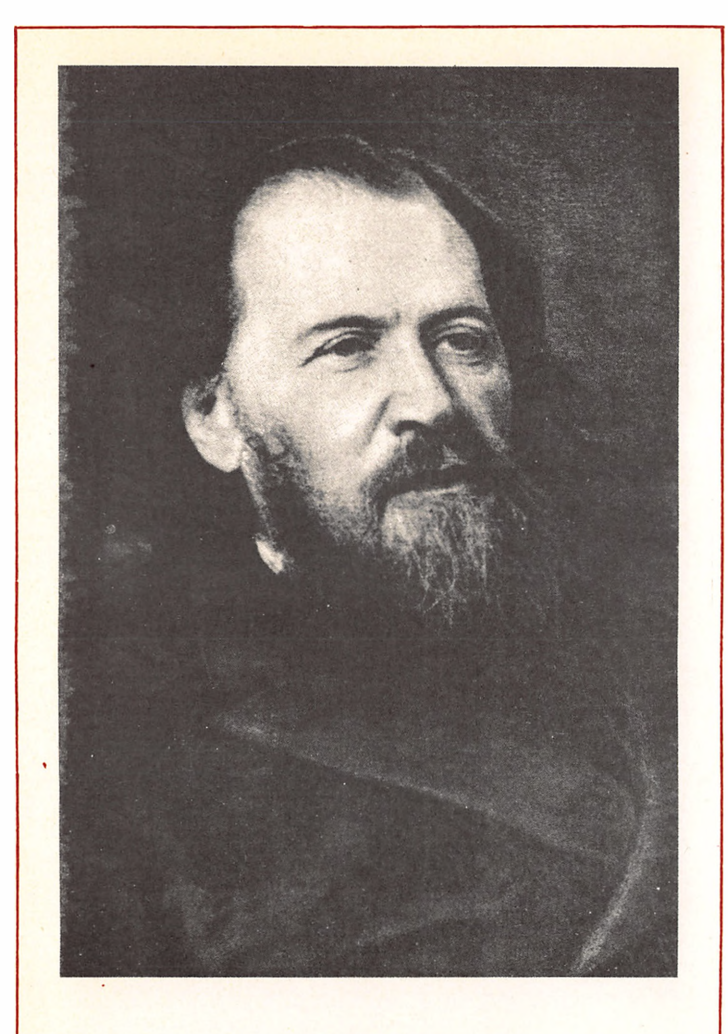


Я · П
ПОЛОНСКИЙ
I



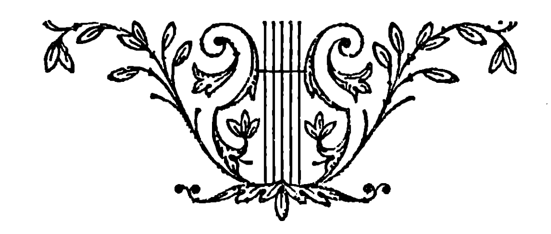
Я. П. Полонский
1819 · 1898

Я. П. Полонский

Сочинения

Я·П·ПОЛОНСКИЙ

сочинения в двух томах





Москва
«Художественная литература»
1986

Я·П·ПОЛОНСКИЙ

сочинения. том первый

Стихотворения и поэмы



Москва

«художественная литература»
1986

Р1
П52

Составление, вступительная статья, комментарии
И. Б. Мушиной

Оформление художника
Е. Ганнушкина

П $\frac{4702010100-239}{028(01)-86}$ 25-86

ПОЭЗИЯ И ПРОЗА ПОЛОНСКОГО

Творческий путь Полонского начинался в трудные сороковые годы XIX века, на рубеже двух литературных эпох.

Тогда все глухо и мертво
В литературе нашей было:
Скончался Пушкин; без него
Любовь к ней в публике остыла...
. . . .
Ничья могучая рука
Ее не направляла к цели...

Так писал об этом «смутном времени» Некрасов.

I

Яков Петрович Полонский родился 6 (18) декабря 1819 года в Рязани. Отец его был небогатым дворянином; он не сделал удачной служебной карьеры и не оставил детям сколько-нибудь значительного состояния.

В воспоминаниях «Старина и мое детство», написанных в старости, Полонский тщательно воспроизвел мельчайшие подробности первых лет своей жизни. Словно в кадрах замедленной киносъемки, возникают «крупным планом» образы далекого прошлого, быт провинциальной России первой четверти XIX века. В неторопливом повествовании писатель воссоздавал для себя — и для читателя — «утраченное время».

«Ребенок любит или не любит, свыкается с чем-либо или дичится, страдает или радуется — наблюдает по-своему; но едва ли дает себе отчет — почему и за что именно он любит мать свою... И все же первые чувства и впечатления незаметно влияют и на будущий склад его характера, и на всю последующую жизнь его».

Тонкий, проницательный психолог, человек, чей внутренний рост не прекращался в течение всей его жизни, Полонский бесхитростно передал потомству, как пробуждались и созревали в нем чувства, как постепенно выделялось его человеческое «я» из окружающей среды и природы, как развивалось его самосознание. Чтение воспоминаний помогает как бы изнутри приблизиться к пониманию личности поэта, глубже почувствовать своеобразие его лирики.

Из воспоминаний писателя мы узнаем, что его первые поэтические опыты относятся к годам учения в рязанской гимназии, а когда в 1838 году он поступил на юридический факультет Московского университета, то его склонность к поэзии уже была очевидной. Вскоре, в начале сороковых годов, его стихотворения появляются в «Отечественных записках» и «Москвитянине». Он участвует в студенческом альманахе «Подземные ключи» (1842), а два года спустя, в 1844 году, выходит его первый авторский сборник «Гаммы», встреченный сочувственной рецензией П. Н. Кудрявцева в «Отечественных записках». Сборник своих стихотворений Полонский послал поэту Н. М. Языкову, который ответил ему дружеским посланием:

Благодарю тебя за твой подарок милый,
Прими радушный мой привет!
Стихи твои блистают силой
И жаром юношеских лет,
И сладостно звучат, и полны мысли ясной;
О! пой, пленительный певец,
Лаская чисто и прекрасно
Мечты задумчивых сердец...[1]

Весной 1844 года Полонский окончил университет. Ему предстояло определить дальнейший жизненный путь. Трудные материальные обстоятельства вынуждали думать о службе. Приятели советовали ему ехать в Одессу, обещали помочь устроиться, и Полонский решил отправиться на юг. Осенью того же года он уже в Одессе. Но ему не повезло. На службу поступить не удалось, и он стал давать частные уроки.

В Одессе Полонский познакомился со многими отзывчивыми и интересными людьми. Первым его пристанищем стала квартира доцента Ришельевского лицея А. А. Бакунина; это был родной брат Михаила Бакунина, деятельного участника московского кружка Станкевича.

Поэта радушно принял брат Пушкина — Лев Сергеевич, повел «к себе обедать и заставил пить шампанское. Но повеса двадцатых годов не понял повесы сороковых»,— так впоследствии в автобиографическом романе «Дешевый город» Полонский описал встречу своего героя Елатомского с Л. С. Пушкиным. Но, как бы там ни было, знакомство с Львом Сергеевичем ознаменовалось не только шампанским; от Левушки Пушкина Полонский узнавал подробности трагических обстоятельств жизненного пути его брата,

---

[1] «Москвитянин», 1845, № 2, с. 58.

которые в те годы еще не были широко известны; припоминая свои беседы с ним о Пушкине, Полонский писал: «...вот что рассказал мне брат его Лев Сергеевич, которого чуть не каждую неделю посещал я в Одессе, польщенный его дружеским ко мне расположением. «Брат мой,— говорил он,— впервые услыхал о своем камер-юнкерстве на бале у графа Алексея Федоровича Орлова. Это взбесило его до такой степени, что друзья его должны были отвести его в кабинет графа и там всячески успокаивать. Не нахожу удобным повторить здесь всего того, что говорил с пеной у рта разгневанный поэт по поводу его назначения» [1].

Говорили и о поэзии: «Лев Сергеевич Пушкин превосходно читал стихи и представлял мне, как читал их покойный брат его Александр Сергеевич. Из этого я заключил, что Пушкин стихи свои читал как бы нараспев, как бы желая передать своему слушателю всю музыкальность их. В тогдашнем поэтическом кружке на новую звучную рифму смотрели как на счастливое открытие и не раз забегали к Пушкину, чтобы сообщить ему, например, такую рифму: *тень ивы — те нивы* [2]».

«Лев Пушкин не раз пророчил мне славу на поэтическом поприще,— даже подарил мне портфель своего покойного брата»,— записал Полонский в своем дневнике в августе 1886 года [3].

Добрые отношения сложились у Полонского с местным австрийским консулом Л. Л. Гутмансталем и его женой Марией Егоровной, дочерью детской писательницы А. П. Юшковой-Зонтаг, племянницы Жуковского. В стихотворении, обращенном к М. Е. Гутмансталь, поэт писал, что на юге он «нашел людей с душою, счастливых, добрых и простых...». В этом дружеском доме молодой Полонский, испытавший сильное воздействие поэзии Жуковского, мог внутренне «приблизиться» к жившему за границей Василию Андреевичу: сама А. П. Зонтаг жила в то время в Одессе, и, вероятно, ее рассказы служили надежным источником сведений о Жуковском.

В жизни Полонского Одесса стала связующим звеном между прошлым и настоящим, между «золотым веком» русской поэзии и переходной эпохой сороковых годов.

С жадным любопытством всматривается писатель в пеструю сутолоку Одессы. В его стихотворении «Прогулка верхом» возникают живые зарисовки многоголосого южного города, где «все окна настежь», где по улице вслед за полупьяным бурлаком — похороны бедняка; город мгновенно и выразительно показывает художнику жизнь своей окраины: «толпа старушек богомольных», мальчишки с бумажным змеем, старый безногий инвалид,— все это ведет к «физиологическому» очерку, к жизнеописанию «маленьких людей» с их подлинными и глубоко человечными «думами» и чувствами. В стихотворении «Прогулка верхом» вслед за городским пейза-

---

[1] Цявловский М. А. Книга воспоминаний о Пушкине. М., 1931, с. 321.

[2] Там же, с. 324—325.

[3] Цит. по кн.: Тхоржевский Сергей. Высокая лестница. Л., 1978, с. 229.

жем возникает цветовое видение зеленой степи и синих гор. Золотисто-серебряные тона усиливают зрительно-чувственное восприятие природы: «Жадный взор границ не ведает, и слышит мой чуткий слух, как воздух дышит, как опускается роса...»

Художник в Полонском чрезвычайно чуток к свободе и свету, к широте ослепительных горизонтов и опьяняющей одухотворенности южного вечера, с его непередаваемой, «невыразимой» светотенью. «Как сердцу моему просторно!». Этот возглас вырывается у поэта, ранее не знавшего ощущения беспредельной внутренней свободы, которое дает юг, ощущения, расковывающего дремавшие в нем творческие силы. В стихотворении «Прогулка верхом» в поэтической манере Полонского намечается перелом. Однако скованность, «невзрослость», элементы подражательности еще чувствуются в его одесских стихах. Сборник «Стихотворения 1845 года», изданный кем-то из «недальновидных приятелей» поэта (в нем не была напечатана «Прогулка верхом»), вызвал суровую оценку Белинского.

В 1845 году одесский генерал-губернатор М. С. Воронцов получил новое назначение — он стал наместником Кавказа, и многие чиновники, пожелавшие служить в Тифлисе, отправились вслед за Воронцовым; к ним присоединился и Полонский. В Тифлисе он поступил на службу в канцелярию наместника и в редакцию журнала «Закавказский вестник».

В столице Грузии Полонский сблизился со многими писателями, художниками, актерами; среди них были писатель В. А. Соллогуб, художник Г. Г. Гагарин, польский ссыльный поэт Лада-Заблоцкий, актеры Тифлисского театра, для которого Полонский написал историческую драму «Дареджана, царица имеретинская». Несмотря на ходатайство М. С. Воронцова, III Отделение не разрешило ее постановку ни в столичных театрах, ни в Тифлисе. С цензурными искажениями и изъятиями драма Полонского появилась в «Москвитянине» в 1852 году.

Несколько месяцев Полонский провел в служебных поездках по Кавказу, собирая статистические данные о местном крае. Непосредственным результатом этих путешествий стали очерки и статьи этнографического характера, которые печатались в «Закавказском вестнике».

Целебный воздух Кавказа, головокружительная крутизна горных дорог, незнакомые восточные обычаи, столь отличные от всего того, что ранее случалось встречать Полонскому, дыхание многовековой культуры грузинского народа — все это привело к взлету поэтического творчества писателя. Несколько лет спустя, в 1849 году, он выпустил сборник стихотворений о Кавказе, наполненный историческими и этнографическими реалиями, описанием нравов свободолюбивого народа. В предисловии к этому сборнику автор писал:

«Сазандар» — грузинское слово, то же, что по-татарски «ашик», по-русски «певец». Закавказские певцы, по большей части мусульмане, действительно под звуки чиануры и бубна поют стихи свои (или чужие), редко пишут их и никогда не печатают, стало быть, к печатным русским стихам всего менее идет такое громкое название; но мало ли есть на белом

свете неудачных прозвищей! Надеюсь, мои читатели не станут слишком долго разбирать, кстати или некстати таким звучным именем окрестил я предлагаемое собрание стихов моих.

В состав этой маленькой книжки вошло всего только двенадцать стихотворений, которые своим появлением на белый свет обязаны не столько мне, сколько пребыванию моему за Кавказом, преимущественно в Грузии».

И позднее, уехав уже из Тифлиса, в 1851—1853 годах Полонский, переполненный неизгладимыми впечатлениями о Кавказе, продолжал писать стихи, навеянные историей и культурой Грузии: «Сатар», «Саят-Нова», «Тамара и певец ее Шота-Руставель», «Выбор уста-баша», «В Имеретии», «Старый сазандар».

В стихотворении «Старый сазандар» контрастно сопоставлены два певца, два поэтических мировосприятия. Жизнелюбивый престарелый сазандар окрылен романтической верой в дружбу, в любовь, в силу его песни. Молодой русский поэт погружен в рефлексию. В его сетованиях на жизнь слышатся отзвуки раздумий самого Полонского.

«Старый сазандар» стоит в одном ряду со стихотворениями «Саят-Нова» и «Тамара и певец ее Шота Руставель». Эти лирические миниатюры объединяет вдохновенный образ певца любви, возвышенного поэта-сказителя, отвергающего награды и почести, пренебрегающего мнением света. И Саят-Нова, и Руставель воспевают любовь во имя песни и творят песнь во имя любви [1].

В «кавказском» стихотворном цикле верность натуре и местному колориту позволила создать поэтические картины, подсказанные самой жизнью.

Полонский живо ощущал веяние, веление времени, ту ведущую тенденцию, которая выразилась в стихах молодых поэтов, чья творческая биография начиналась в 1840-е годы. В эту эпоху особое значение приобретает «натуральная школа»; в творчестве Гоголя и молодого Достоевского, в «Записках охотника» Тургенева, в физиологических рассказах и очерках, в описаниях «петербургских углов» отчетливо просматривается стремление приблизить литературу к жизни.

В поэзии Полонского лирическое начало бытует на фоне очеркового, «натурального», реального материала. Порой это зарисовка, романс, драма или «маленькая трагедия» в рамках лирического повествования. В стихотворении «Колокольчик» в основу сюжета положена драматическая история бедной девушки, оставленной неверным возлюбленным: «Ах, когда-то, когда-то мой милый придет...» Проносящаяся мимо простого деревянного домика «тройка усталых коней» олицетворяет жизнь, которая пролетает мимо девушки. Недаром Достоевский в «Униженных и оскорбленных»

---

[1] Подробнее о пребывании Полонского в Тифлисе и о его кавказских стихотворениях см.: Эйхенбаум Б. О поэзии. Л., 1969, с. 245—252; Богомолов И. Я. П. Полонский в Грузии. Тбилиси, 1966.

уделил этому стихотворению Полонского особое внимание, соотнося его сюжет с замыслом и воплощением драмы Наташи Ихменевой. Герой Достоевского Иван Петрович беседует с Наташей. «Я все тебя ждала, Ваня,— начала она вновь с улыбкой,— и знаешь, что делала? Ходила здесь взад и вперед и стихи наизусть читала; помнишь — колокольчик, зимняя дорога: «Самовар мой кипит на дубовом столе...», мы еще вместе читали:

Улеглася метелица; путь озарен,
Ночь глядит миллионами тусклых очей...
. . . .

И потом:

То вдруг слышится мне — страстный голос поет,
С колокольчиком дружно звеня...

Как это хорошо! Какие это мучительные стихи, Ваня, и какая фантастическая, раздающаяся картина. *Канва одна, и только намечен узор,*— вышивай что хочешь... «Я больная брожу»... Эта «больная», как тут хорошо поставлено! «Побранить меня некому» — сколько нежности, неги в этом стихе и мучений от воспоминаний, да еще мучений, которые сам вызвал, да и любуешься ими... Господи, как это хорошо! Как это бывает!»

2

В июне 1851 года Полонский покидает Кавказ.

Неприступный, горами заставленный,
Ты, Кавказ, наш воинственный край,—
Ты, наш город Тифлис знойно-каменный,
Светлой Грузии солнце, прощай!

(«На пути из-за Кавказа»)

Навестив больного отца в Рязани, Полонский вскоре уезжает в Москву, а оттуда в Петербург. Начинаются трудные годы жизни в столице. Позднее, в 1887 году, поэт писал Фету: «Когда в 50-х годах я жил в Питере и нуждался, я за 4 фельетона в «С.-Петербургских ведомостях» получал от Краевского 50 рублей в месяц — и за то говорил судьбе спасибо. Писать в последние годы царствования Николая I было невозможно; цензура разоряла вконец; мои невинные повести: «Статуя весны», «Груня» и др.— были цензурой запрещены; стихи вычеркивались; надо было бороться с цензором из-за каждого слова. Получить место я не мог — писатели были в загоне; Щербине советовали не употреблять имя Гегеля и Шеллинга в разговорах: иначе, говорили ему, на вас будут коситься и вы ничего не добьетесь. На Погодина, на Хомякова, Краевского, Самарина были доносы,

они тоже были под подозрением,— словом, страшное, тяжелое время я прожил в эти 50-е годы» [1].

Постепенно Полонский завоевывает себе место среди столичных литераторов, расширяется круг его знакомств.

«Михайлов жил с Полонским и был с ним очень дружен»,— вспоминала Л. П. Шелгунова [2]. Это авторитетное свидетельство мемуаристки позволяет пристальнее всмотреться в жизненную позицию Полонского, начавшую определяться в середине 1850-х годов. Он находит себе верных друзей, сблизившись с Н. В. и Л. П. Шелгуновыми и М. Л. Михайловым. Артистичная, жизнерадостная Л. П. Шелгунова и тонкий, чуткий поэт М. Л. Михайлов оказались человечески и творчески «созвучны» Полонскому, который болезненно ощущал свое одиночество на стезе литератора, не защищенного ни надежной поддержкой литературных единомышленников, ни участием широкого круга почитателей. Внутреннее тяготение поэта к Шелгуновым и Михайлову, дружба с этими выдающимися людьми во многом довершила формирование творческой личности Полонского.

В сборнике 1855 года Полонский посвятил М. Л. Михайлову стихотворение «Качка в бурю», уже печатавшееся ранее в «Библиотеке для чтения». Именно об этом произведении поэта писал впоследствии А. А. Блок: «С раннего детства я помню постоянно набегавшие на меня лирические волны, еле связанные еще с чьим-либо именем. Запомнилось разве имя Полонского и первое впечатление от его строф:

Снится мне: я свеж и молод,
Я влюблен. Мечты кипят.
От зари роскошный холод
Проникает в сад» [3].

Эти строки имели прямое влияние на стихотворение Блока «Я и молод, и свеж, и влюблен...».

Посвящение «Качки в бурю» М. Л. Михайлову — это знак дружбы, знак пристального поэтического внимания, которое один художник приносит в дар другому. Так впоследствии было у Полонского с Чеховым. Однако обратим внимание на выбор поэтического подарка, дружеского посвящения. В свое время это стихотворение было встречено резкой критикой кавказских приятелей автора. Поэту не однажды приходилось сталкиваться с непониманием, с тяжело ранившей его глухотой читателей, слушателей, критиков. И вовсе не случайно в стихотворении «Старый сазандар» у него вырвались строки, исполненные глубокой горечи и боли: «...Песен дар меня тревожит,

---

[1] Литературно-художественный кружок имени Я. П. Полонского за 1905—6 и 1906—7 гг. Отчет Совета. СПб., 1908, с. 17.

[2] Шелгунов Н. В., Шелгунова Л. П., Михайлов М. Л. Воспоминания, т. 2. М., 1967, с. 61.

[3] Блок Александр. Собр. соч. в 8-ми томах, т. 7. М.— Л., 1963, с. 12—13.

а песням некому внимать». Михайлов, тонкий ценитель и поэт, переводчик Гейне, становится внимательным и доброжелательным слушателем Полонского. С влиянием Михайлова, очевидно, связан интерес Полонского к творчеству немецкого поэта, к его романтическому мировосприятию. Традиция Гейне ощущается в стихотворениях «Плохой мертвец», «Я читаю книгу песен...», «Подсолнечное царство» и др.

Стихотворение «Качка в бурю», по-видимому, восходит к поэтической традиции Пушкина, к его «Ариону», в котором поэт иносказательно вспоминал о декабрьской катастрофе: «Погиб и кормщик и пловец! — Лишь я, таинственный певец, на берег выброшен грозою...» В произведении Полонского описание истинного происшествия, случившегося с ним, перерастает в поэтический символ. Поэт, вверившийся кораблю, видит во время бури «золотые сны». «Он средь бушующих созвучий глядит на стан ее певучий и видит творческие сны»,— скажет Блок в одном из стихотворений цикла «Кармен». Он, высоко ценивший «Качку в бурю», с точностью музыкального камертона нащупал верную струну, чистую художническую ноту, прозвучавшую для него, поэтического преемника Полонского, своеобразным профессиональным паролем. «Золотые сны» Полонского — творческие сны; воспоминания о весне жизни дают простор сердцу поэта, окрыленность и свободу его вдохновению.

Однако буря постоянно вторгается в сны и мечтания.

Просыпаюсь... Что случилось? —
«Руль оторван; через нос
Вдоль волна перекатилась,
Унесен матрос!»

Полонский, неизменно ощущавший связь со стихией, с тем бесконечно глубоким и безбрежным океаном, с которым он сравнивал Россию, не мог не чувствовать постоянной антиномии — и взаимозависимости переживаний поэта и состояния природы, поэзии, общественного климата в стране, бурь в прямом и переносном смысле: «Не мои ли страсти поднимают бурю! С бурями бороться не в моей ли власти?..» Подобно Баратынскому, Тютчеву, Фету Полонский пристально всматривался, вдумывался, вслушивался во взаимоотношения человека и вселенной. И разумеется, ему были близки слова и раздумья Тютчева:

Откуда, как разлад возник?
И отчего же в общем хоре
Душа не то поет, что море,
И ропщет мыслящий тростник?

(«Певучесть есть в морских волнах...»)

В пейзажной лирике Тютчева присутствует неизбежный разлад человека и природы, его лирический герой с опаской дерзает касаться «чуждой, запредельной» стихии. У Полонского же нет постоянного, явного разлада; лишь в трагической, предельной ситуации земля и небо представ-

ляются ему враждебными и чуждыми («Безумие горя»). Однако в других его стихотворениях герой и природа образуют своеобразный лирический дуэт.

Соловей поет в затишье сада;
Огоньки потухли за прудом.
Ночь тиха.— Ты, может быть, не рада,
Что с тобой остался я вдвоем?
. . . .
Речь моя волнует и тревожит...
Веселее соловью внимать,
Оттого что соловей не может
Заблуждаться и, любя, страдать...

(«Последний разговор»)

Художник всматривается в чарующие краски ночи, влюбленный в ее «серебряный свет», в «фосфорический луч» луны. Пребывание на Кавказе обострило художническое зрение Полонского, обогатило его палитру. «Тифлис для живописца есть находка»,— писал поэт в стихотворном послании Льву Сергеевичу Пушкину. Недаром принадлежащая Полонскому поэтическая характеристика Тифлиса давно стала хрестоматийной:

Земли, полуднем раскаленной,
Не освежила ночи мгла.
Заснул Тифлис многобалконный;
Гора темна, луна тепла...

(«Старый сазандар»)

Художник переносит ощущение воздушного ночного тепла, разлитого повсюду, на луну, чей теплый цвет как бы аккумулирует свечение южной ночи, простертой над зелеными балконами гористого города. Подобные неожиданные цветовые, световые решения поэтических задач не случайны для Полонского, одаренного живописца, умевшего пристально вглядываться в окружающие его вещи, людей, природу.

3

Невзгоды петербургской жизни тяготили Полонского. Несколько лет поэт жил на случайные журнальные заработки. В 1855 году он стал воспитателем и преподавателем в семье петербургского гражданского губернатора Н. М. Смирнова, мужа Александры Осиповны Россет. Поэта глубоко ранила необходимость этого вынужденного шага. «Слово «гувернер» — клеймо безденежья, а в Петербурге все простят, кроме *явной бедности*» [1]. Чувство социальной неуверенности, неустойчивости сказалось и на взаимоотношени-

---

[1] Голос минувшего, 1919, № 1-4, с. 121.

ях Полонского с А. О. Смирновой-Россет. Общение с этой остроумной, блестящей женщиной во многом было притягательно для Полонского. «Я не раз имел удовольствие,— вспоминал поэт,— по целым часам с ней беседовать по утрам и слышать ее рассказы о Жуковском, Пушкине, Гоголе и Лермонтове и о временах, предшествовавших воцарению императора Николая I» [1]. Однако положение гувернера ставило Полонского в весьма неприятную зависимость от нелегкого характера Александры Осиповны и частых перепадов ее настроений.

Весной 1857 года поэт уезжает с семейством Смирновых за границу, в Баден-Баден. Грустные впечатления от пребывания на этом модном курорте отразились в поэме Полонского «Кузнечик-музыкант».

Сам Полонский называл «Кузнечика-музыканта» «шуткой в виде поэмы». Полонский вольно или невольно продолжил традицию русской ирои-комической поэмы, о которой прежде всего напоминала «Война мышей и лягушек» Жуковского. Герой и героиня Полонского — кузнечик и бабочка, в поэме происходит трагикомическая схватка кузнечика с паучком; «очень злое» племя насекомых во многом воспроизводит нравы и обычаи великосветского общества. Басенная стихия усиливает пародийный подтекст. Сочетание басни с пародией, вероятно, было подсказано писателю гротескным характером пародийных басен Козьмы Пруткова. Полонский экспериментирует, создает произведение оригинального жанра; в оболочке пародии передана драма бедного художника в современном мире. В ткань этого сложного по замыслу и легкого, изящного по воплощению поэтического повествования вплетаются мелодрама и фарс, притча — и как бы неожиданно серьезные и глубокие авторские отступления.

Плачь, родная Муза! Затяни ты песню:
Не о том, как «ходит молодец на Пресню»,
Не о том, как «пряха пряла — не ленилась»,
Не о том, как «Волга-матушка катилась»,—
Спой нам песню так, чтоб туча разразилась
Над широкой нивой, чтоб дождем шумящим
Пробежала сила по листам дрожащим...

Так песенная, некрасовская интонация мощно врывается в нежную и грустную мелодию поэмы. «Какие скорби в твоем бессмертном «Кузнечике», за который хватается и живопись и музыка» [2],— писал Фет Полонскому 1 января 1888 года.

В августе 1857 года Полонский расстается с семейством Смирновых и уезжает в Женеву учиться живописи. Три месяца спустя он уже в Италии. Но ни ласковая южная природа, ни красота итальянских городов не в силах изгнать из его души чувство неприкаянности.

---

[1] Цявловский М. А. Книга воспоминаний о Пушкине. М., 1931, с. 324.

[2] Фет А. А. Сочинения в 2-х томах, т. 2. М., 1982, с. 336.

Снова помчусь я в море шумящее,
Новые пристани ждут меня, странника,
Лишь для тебя, мое сердце скорбящее,
Нет родной пристани, как для изгнанника.
(«Чивита-Векиа», 1858)

В этих стихах слышится отзвук поэтической традиции Лермонтова, оказавшей серьезное влияние на творчество Полонского.

В Риме Полонский встретил литературного мецената графа Г. А. Кушелева-Безбородко и получил от него предложение стать соредактором нового журнала «Русское слово». После недолгих колебаний поэт дал свое согласие.

Из Рима Полонский едет в Париж, где вскоре женится на восемнадцатилетней Елене Васильевне Устюжской, дочери псаломщика при русской церкви. В июне 1860 года молодая жена умирает. История недолгого счастья и ужас потери воплотились в стихотворном цикле Полонского, посвященном жене («Чайка», «Я ль первый отойду...», «Безумие горя», «Когда б любовь твоя...» и др.). И. С. Тургенев писал: «Я не много знаю стихотворений на русском языке, которые по теплоте чувств, по унылой гармонии тона стояли бы выше этой «Чайки». Весь Полонский высказался в нем.

. . . .
Счастье мое, ты — корабль,
Море житейское бьет в тебя бурной волной;
Если погибнешь ты, буду как чайка стонать
над тобой.

Буря обломки твои
Пусть унесет! Но — пока будет пена блестеть,
Дам я волнам покачать себя, прежде чем в
ночь улететь.

Всякий, даже поверхностный, читатель легко заметит струю тайной грусти, разлитую во всех произведениях Полонского; она свойственна многим русским, но у нашего поэта она имеет особое значение. В ней чувствуется некоторое недоверие к себе, к своим силам, к жизни вообще; в ней слышится отзвучие горьких опытов, тяжелых воспоминаний...» [1]

Горьким опытом оказалось и участие поэта в «Русском слове». Почвеннические симпатии Аполлона Григорьева, которому Г. А. Кушелев-Безбородко (редактор-издатель журнала) поручил возглавить критико-библиографический отдел, не встретили сочувствия Полонского. Но главной причиной было недовольство руководством журнала. В июле 1860 года Полонский оставил «Русское слово». В письме к А. Фету он объяснил, почему: «Граф ⟨...⟩ не согласился на мои условия, при которых я брался из-

[1] Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем в 28-ми томах. Сочинения, т. 15. М.—Л., 1968, с. 158—159.

давать журнал. Я хотел или быть независимым редактором в выборе статей и сотрудников, или не быть ничем и не марать своего имени»[1] В этом же году поэт поступает на службу в комитет иностранной цензуры.

4

Писатель ощущал себя на распутье. Резко обострившаяся в начале 1860-х годов идейная борьба побудила Полонского подвести итоги пройденного пути, определить свое место в литературе. Возникла потребность обратиться к истокам собственного интеллектуального возмужания. Проснувшееся в Полонском влечение к истории, к постижению развития русской общественной мысли привело к тому, что внимание писателя сосредоточилось на эпохе двадцатилетней давности, на рубеже 1830—1840-х годов.

Это было время литературно-идеологических поисков. Философские штудии в кружке Станкевича, споры Герцена с Белинским, столкновения между славянофилами и западниками сводились к различным попыткам решения коренных вопросов о прошлом, настоящем и будущем России. Эти годы споров и сомнений, дискуссий и колебаний Полонский изобразил в своем мемуарном романе в стихах «Свежее преданье», опубликованном в первоначальном варианте в журнале «Время» в 1861 году; автор попытался осмыслить давнее и недавнее прошлое, а точнее сороковые годы, сквозь призму начала шестидесятых.

В незабываемые 1840-е годы Полонский был близок к некоторым деятелям кружка Станкевича. Наиболее сильное впечатление произвела на него личность поэта И. П. Клюшникова, послужившего прототипом образа Камкова, центрального героя «Свежего преданья»; однако было бы ошибкой преувеличивать былое влияние Клюшникова на Полонского. Камков — образ собирательный, в чем-то чрезвычайно близкий лирическому героюрассказчику, да и самому Полонскому. В общении Камкова с рассказчиком автор улавливает детали и моменты, характерные именно для молодежи, входившей в кружок Станкевича: «...тогда я думал, что мы боги — сошлись и судим обо всем». О чем происходили споры рассказчика и его героя, Полонский вынужден был умалчивать по цензурным соображениям, но читатель 1860-х годов догадывался о подтексте поэмы, так как писатель без обиняков сравнил Камкова с Рудиным; герой же одноименного тургеневского романа указывал читателю на внутреннее родство Камкова с выдающимися представителями тогдашней студенческой молодежи. Далее Полонский прямо называет имена Белинского и Станкевича, Тургенева и Константина Аксакова, Юрия Самарина и Алексея Хомякова.

В своем стихотворном романе поэт стремился изобразить жизнь московского образованного общества, в котором его Камков, «артист и идеалист», как бы представляет целый круг «чутких предвозвестников славян-

---

[1] Тхоржевский Сергей. Л., «Портреты пером», 1984, с. 448.

ства», радикальных критиков, молодых философов и поэтов, начавший во многом определять общественную атмосферу в 1840-е годы. Круг, из которого вскоре вышли мыслители и идеологи, существенно повлиявшие на развитие общественной мысли и революционного движения в России. Поражение в Крымской войне, революционная ситуация, крестьянская реформа, возвращение декабристов из ссылки, романы И. С. Тургенева, каждый из которых был событием в русской литературе,— вот атмосфера, побуждавшая воспринимать историю Камкова аллюзионно и полемично. «Свежо предание, да верится с трудом». Этот эпиграф, взятый поэтом из «Горя от ума», показывает, какой сложный путь прошло русское общество за последние два десятилетия. Идейные искания 1840-х годов, пронизанные бескорыстным идеализмом, должны были стать, по мнению Полонского, историческим уроком для последующих поколений, побуждая к спорам и размышлениям.

В стихотворном романе Полонского сюжет и фабула играют второстепенную роль по отношению к описанию характера и судьбы Камкова и к авторским лирическим отступлениям. История баронессы и княжны Таптыгиной, их взаимоотношения с центральным персонажем — Камковым являются прежде всего обрамлением, фоном, по которому проходит главный герой этого идеологически насыщенного произведения.

Камков в поэме Полонского назван «героем недавнего преданья», и это отнюдь не случайная обмолвка. В шестидесятые годы поэт отчетливо проявляет все более осознанное стремление к мемуарному жанру в той или иной его форме. Рассказать о событиях двадцатилетней давности, напомнить современникам об исторически предшествовавшей эпохе — такова была, по-видимому, цель поэта. Клюшников и кружок Станкевича в художественном воспроизведении Полонского — это и сожаление о безвозвратно ушедшей молодости, о себе прежнем и «невзрослом», и смягченная временем ирония по отношению к кружку идеалистов, мечтавших переделать мир на основании гегельянских постулатов.

Вероятно, жанровая форма романа в стихах, восходящая к пушкинской традиции, была избрана Полонским потому, что давала возможность развернуть лирические отступления, в которых поэт возвращался к годам университетской юности, когда формировалась его личность и началось его поэтическое поприще.

Идеологическая насыщенность «Свежего преданья» была творчески преобразована Блоком в поэме «Возмездие». Романтический метод Блока, создавшего пронизанный тончайшей диалектикой образ отца героя, во многом восходит к поэтической манере Полонского в «Свежем преданье». И в стихотворном романе Полонского, и в поэме Блока чувствуется дыхание истории; и Полонский, и Блок поглощены проблемой героя, человека гуманитарной культуры, бьющегося среди противоречий эпохи. И Камков, и блоковский отец — люди «странные», с больной душой. И тот, и другой не в силах преодолеть сковывающую их ум и душу власть обстоятельств: и герой сороковых, и герой восьмидесятых годов не могут выявить в услови-

ях «железного века» дремлющую в них колоссальную творческую энергию. Не случайно Блок, продолжая традицию Полонского строить сюжет и развитие идеи на фоне реальных исторических событий и лиц, ввел в первую главу «Возмездия» автора «Свежего преданья». «С простертой дланью вдохновенно Полонский здесь читал стихи». Так творилась литературная летопись эпохи Полонского, донесенная до нашего времени поэзией Блока.

5

«Зачем стихи, зачем не проза?» — спрашивал Полонский самого себя в повествовании о Камкове. В «Свежем преданье» авторские лирические отступления перерастали в лиро-эпические. Роман в стихах послужил для Полонского переходной формой к жанру прозаического романа.

В «Признаниях Сергея Чалыгина» писатель стремился сочетать автобиографическое начало с историческим освещением событий — на этот раз более раннего этапа в развитии русского освободительного движения. Идейным центром произведения Полонского оказались декабристы, хотя связанная с ними сюжетная линия на первый взгляд проходит по периферии романа. В условиях русской подцензурной печати приходилось умалчивать или не договаривать о подробностях декабрьской катастрофы, причем акценты расставлялись писателем с эзоповской ловкостью. Полонский, рискнувший избрать подобную тему, сумел обратить свои слабые стороны (критика порой упрекала его в чрезмерном внимании к мелким деталям быта и субъективным переживаниям) в сильные. Впечатления, чувства и переживания детства Сережи Чалыгина даны крупным планом, а исторические события служат как бы фоном для рассказа о становлении его личности; ничего не упускающий пристальный взор ребенка то устремляется на окружающих людей, то тщательно присматривается к самому себе. Исповедальность Полонского сродни толстовской, но у него иная интонация и точка зрения на мир: маленький герой Полонского менее уверен в себе, не озабочен проблемами comme il faut, зато он более чуток и впечатлителен, менее замкнут на своем «я».

Повествование о Сергее Чалыгине, чье детство и ранние годы отрочества проходят в кругу людей незаурядных, перерастает в роман воспитания, причем автор прибегает к усложненной, «текучей» манере изложения: образ главного героя все время двоится — то это признания ребенка, то размышления зрелого человека с немалым жизненным опытом. В главе XVII автор рассказывает, как мать Сергея пытается разобраться в сложных взаимоотношениях своих домашних; присутствующий при этом сын оценивает поведение матери не так, как это свойственно десятилетнему ребенку: «За минуту она была барыня — и вдруг стала рассуждать так, как бы рассуждал какой-нибудь философ осьмнадцатого века».

«Двоение» главного героя позволило Полонскому ввести в роман множество исторических и литературных подробностей, рассказов о рус-

ском обществе 1820-х годов, о Пушкине, Жуковском и Крылове. Писатель вводит в текст и подтекст повествования устные мемуарные свидетельства. За персонажами книги порой угадываются реальные лица [1].

В романе изображено ночное заседание тайного общества в доме Чалыгиных. Этот самый острый, значительный эпизод передан исключительно через ви́дение маленького Сережи. Мальчик видит в щелку закрытой двери кабинета молодого лысого генерала, который о чем-то говорит; его внимательно слушают сидящие кругом; в конце этого таинственного собрания (мальчику кажется, что все это ему приснилось) все молча поднимают руки. Писатель использует здесь прием «перевернутого бинокля», и то большое и настоящее, что должно было быть завуалировано перед цензурой, показано как бы в отдалении, сквозь призму восприятия ребенка, верящего и не верящего собственным глазам.

Мать Сергея Чалыгина представлена личностью далеко не заурядной. Она близка к декабристам, разделяет их идеи и убеждения, хочет вырастить своего сына гражданином. Это женщина острого ума, цельная, сильная, натура потенциально героическая. Недаром ее смерть в романе совпадает с поражением восстания декабристов, словно символизируя крушение романтических надежд. Полонскому были известны судьбы людей, близких к декабристам, которые, потрясенные 14 декабря, не смогли перенести трагедии на Сенатской площади. Так скончался Сергей Тургенев (с его братом Александром Тургеневым Полонский встречался в Москве).

Роман Полонского остался незавершенным. Писатель предполагал показать дальнейший жизненный путь главного героя, у которого по несчастному стечению обстоятельств исчезают все бумаги о его происхождении. Его пытаются лишить наследства, не принимают в университет, ему грозит рекрутчина. Десять лет бьется герой, и, когда правда наконец торжествует, он уже раздавленный человек. «Что значит в России человек без документов и как вся жизнь от них зависит — вот что я хотел показать»,— писал Полонский Тургеневу.

Вспомним историю русской литературы. «Евгений Онегин» Пушкина, «Демон» Лермонтова, «Мертвые души» Гоголя, «Возмездие» Блока так и не предстали перед читателем в том виде, в каком они рисовались творческому воображению их создателей. То же случилось и с «Свежим преданьем» и с «Признаниями Сергея Чалыгина» Полонского.

6

В 1869 году в журнале «Русский вестник» появляется рассказ Полонского «Женитьба Атуева». Позиция автора определялась двумя отчетливыми тенденциями. Писатель, хорошо знавший Н. В. Шелгунова,

[1] Подробнее об этом см. в комментариях ко второму тому наст. издания.

Л. П. Шелгунову, М. Л. Михайлова и других так называемых «новых людей» 1850—1860-х годов, не мог не симпатизировать творческой активности, прогрессивной этике людей, ощущавших глубокое чувство ответственности за каждый свой поступок, их обязательности, повышенному чувству долга по отношению и к важным общественным вопросам, и к близким людям. Полонский, современник Тургенева, создавшего острозлободневный роман «Отцы и дети», был близок к точке зрения автора повествования о Базарове. И Тургенев, и Полонский принимают честность, искренность, бескомпромиссность современного нигилиста. Однако оба художника отвергают их эстетический нигилизм.

Полонский внимательно всматривается в жизненную позицию своих героев, в поведении которых, по сути дела, нет ничего героического; его персонажи не идеологи движения, а просто люди, захваченные общественными веяниями эпохи. Ни «нигилистка» Людмила Атуева (так ее называет тетушка за уход от мужа), ни сам Атуев, весьма близкий по характеру Аркадию Кирсанову из романа Тургенева «Отцы и дети», ни угловатая, прямолинейная Авдотья Сигарева, которая готовится в акушерки, не страдают, да и не пострадают за свои убеждения, навеянные скорее модой на нигилизм, чем подлинной готовностью переступить «порог», отделяющий слова от дел. Лишь приятель Атуева Тертиев производит более глубокое впечатление; его, вероятно, ждет иная судьба.

Друзья Полонского Шелгуновы и Михайлов были деятелями освободительного движения, и писатель не мог открыто говорить о них по цензурным условиям. Блок в поэме «Возмездие», давая лаконичную и точную зарисовку салона известной общественной деятельницы последних десятилетий прошлого века А. П. Философовой, замечает: «Кто с Анной Павловной был связан,— всяк помянет ее добром (Пока еще молчать обязан язык писателей о том)». И если Полонский не мог писать о своих друзьях так, как они того заслуживали, то ему приходилось прибегать к языку намеков. Образ Людмилы Атуевой, на наш взгляд, «выплыл» в творчестве писателя, вынужденного молчать о Людмиле Шелгуновой. Те, кто хорошо знал Л. П. Шелгунову, очевидно, по замыслу Полонского должны были с полунамека понять, о ком хотел говорить писатель со своими современниками. В рассказе «Женитьба Атуева» и главный герой, и сам автор восхищаются естественностью и достоинством, присущими Людмиле Григорьевне. В стихотворении, обращенном к Л. П. Шелгуновой, Полонский писал, указывая на общность их идеалов:

Ты моему молилась богу,
Я был богов твоих певец.
. . . .
Когда я пел ума свободу,
Неискаженную природу
И слезы избранных сердец.

Несколько лет спустя образ передовой женщины эпохи, бесстрашной революционерки был воссоздан Полонским в стихотворении «Узница»;

в его черновом варианте поэт, говоря о трагической судьбе юной девушки писал:

Мстят ей за бедность ее — без смирения,
Мстят за свободу ума —
Мстят ей за страсть, за порыв нетерпения
И... за любовь без ярма.

Потрясенный гибелью М. Л. Михайлова в Сибири в 1865 году, поэт год спустя опубликовал свои «Стансы», впоследствии перепечатанные с изменением в собрании его сочинений 1885 года:

Новорожденные титаны,
Где ваши тени! — я один
Поклонник ваш, скрывая раны,
Брожу, как тень, среди руин...
В борьбе утраченные силы,
Увы! не скоро оживут...
Молчат далекие могилы,—
Темницы тайн не выдают.

Эти гражданские стихи поэта оказывались созвучными «поре титановских стремлений», давшей миру Белинского и Добролюбова, Чернышевского и Михайлова.

7

Жизненный и исторический опыт Полонского оказал плодотворное воздействие на его лирику, которая вбирала в себя философские раздумья о смысле бытия, о соотношении человека и природы, размышления о неизведанных глубинах человеческой психики, о трагической напряженности исторического процесса, о судьбах народа и «новорожденных титанов».

Чем глубже поэт осознавал окружающий мир, тем настоятельнее он чувствовал необходимость разъяснить современному читателю и критике свою поэтическую позицию. О сложности этой позиции свидетельствует стихотворение «Двойник». Лирическое «я» Полонского здесь облечено в маску человека, напрасно стремящегося уйти от самого себя; двойник поэта, преследующий его в лесной глуши, заявляет в смятении:

...ты видеть мне мешаешь
И не даешь внимать гармонии ночной;
Ты хочешь отравить меня своим сомненьем,
Меня — живой родник поэзии твоей!..

Двойник — поэтическое отражение личности Полонского; отражение несколько «отретушированное», но более или менее точно воплотившее колебания поэта, не перестававшего размышлять о своем назначении, о правильности избранного пути.

Символика его тернистого пути воплотилась в элегическом стихотворении, обращенном к Ф. И. Тютчеву, в котором возникает образ «бедного пешехода», стремящегося к огню, что сберег «задумчивый поэт». Огонь поэзии Тютчева уподобляется ночному костру, напоминающему одинокому путнику о живой жизни в глухой пустынной ночи.

Ночь у Полонского часто создает ту неповторимо насыщенную атмосферу, в которой развертываются драмы, развиваются судьбы его героев. Многоликая, меняющаяся ночь — олицетворение живой природы, питающей почву поэзии Полонского; поэт вслушивается в «гармонический говор струи ключевой» («Отчего я люблю тебя, светлая ночь...»), всматривается в «тени ночи»; с ночью у него особое, интимное общение: ночь — спутница, собеседница, воплощение беспредельной вселенной — постоянно присутствует в мире поэта («Ночь в Крыму», «Ночь на Кавказе», «Ночь в Сорренто», «Холодеющая ночь», «Ночная дума» и др.). «Ползет ночная тишина подслушивать ночные звуки...» В этих стихах возникает образ предельно экспрессивный, переданный с анимистической одухотворенностью, в высшей степени свойственной художнику Полонскому. Тишина — живая, и поэт выразительно передает жизнь ночной природы, развертывающуюся в этой обманчивой тишине.

В стихотворении «Ползет ночная тишина...» ночь обрамляет состояние, душевный настрой лирической героини. Это произведение обращено к приятельнице Полонского Елене Андреевне Штакеншнейдер. Поэту удалось гармонично соединить идею высоких гражданских стремлений с темой вечной, прекрасной природы, не ограждающей человека от борьбы; в окрестностях Петербурга, возведенного «на тундрах» ценой непосильного труда множества людей, нет места самоуспокоенности и благополучному самозабвению.

В лиро-эпической миниатюре Полонского «Белая ночь», которая печаталась в журнале Ф. М. и М. М. Достоевских «Время», тема Медного всадника и противостоящего ему «маленького человека», тщетно блуждающего по Петербургу в поисках счастья, восходит к поэме Пушкина «Медный всадник». Но времена менялись. За прошедшую четверть века поэт видел расцвет и упадок различных общественных направлений. Это были десятилетия, когда самые пылкие надежды сменялись горькими разочарованиями; поэт предостерегает своего героя, «бедного товарища», который «спасенья ищет в жале ядовитом, как эта медная змея под медным всадником, прижатая копытом его несущего коня...».

Скупо очерченная панорама Петербурга, созданная в «Белой ночи», производит впечатление величественное — и гнетущее. Из-за «седых дворцов» золотой купол собора «мерцает в высоте холодной и немой». Восприятие Полонским города «пышного и бедного» было близко Достоевскому, который в «Преступлении и наказании» (часть вторая, гл. II) увидел Петровскую площадь глазами Раскольникова: «Необъяснимым холодом веяло на него всегда от этой великолепной панорамы; духом немым и глухим полна была для него эта пышная картина...»

По литературной традиции раздумья о Петербурге неизбежно связывались в сознании поэта и его современников с размышлениями о судьбах России. Огромный полуторавековой труд по созданию европейского цивилизованного государства, работа, начавшаяся при Петре I, продолжалась и в последующие эпохи. В 1865 году Некрасов в поэме «Железная дорога» воспроизвел картины строительства Николаевской железной дороги; в напряженном осознании той страшной цены, которой было оплачено новое завоевание цивилизации, прорастало зерно исторического возмездия. Три года спустя в «Вестнике Европы» появляется стихотворение Полонского «Миазм» (первоначальное название «Покинутый дом»). В роскошном особняке близ Мойки умер маленький наследник. Потрясенная горем хозяйка-мать видит в опустевшей спальне призрак мужика — одного из тех, на чьих костях воздвигалась «блестящая столица».

«Ты меня не бойся,— что я? мужичонко!
Грязен, беден, сгнил,
Только вздох мой тяжкий твоего ребенка
Словно придушил...»

Это расплата, возмездие Истории! Так в поэтическом сознании Полонского скрещивались две эпохи: в реально-аллегорическом сюжете драматический эпизод из жизни современного Петербурга и трагическая история его создания связаны неразрывно.

Раздумья о русской общественной жизни все настойчивее занимали Полонского. В его творчестве аналитическая мысль, проникнутая поэтическим историзмом, неотделима от горького скепсиса человека середины XIX века, пережившего несколько европейских революций, свидетеля сложнейших, острых событий отечественной истории. Недаром поэт, мечтавший о гармонии и покое, понимал утопическую иллюзорность стремления укрыться от «злой современности» в лесной глуши, в мире сказочных преданий.

Не говори мне, что природа — мать:
Она детей не любит одиноких,
Ожесточенных, так же как жестоких,
Природа не умеет утешать.
И ничего не сделает природа
С таким отшельником, которому нужна
Для счастия законная свобода,
А для свободы — вольная страна.

(«Одному из усталых»)

Пытливый, пристальный взор Полонского стремился разглядеть, откуда взойдет «новая заря свободы истинной...». Он всматривался в далекие времена Нестора-летописца, в эпоху великого Петра, в события Отечественной войны 1812 года, когда пожар Москвы «обжег венцы Наполеона», в славные страницы чешской реформации, в шумную жизнь западноевро-

пейских парламентов, «где борются с трибун народные витии»,— но так и не смог найти ответ на вопрос об истоках идей, которым суждено освободить Россию.

Мне, как поэту, дела нет,
Откуда будет свет, лишь был бы это свет —
Лишь был бы он, как солнце для природы,
Животворящ для духа и свободы,
И разлагал бы все, в чем духа больше нет...

(«Откуда?!»)

8

Имя Полонского обычно связывают с именами Фета, Аполлона Майкова и других поэтов, которых упрекали в недостаточном внимании к злободневным социальным проблемам эпохи. Между тем творчество Полонского, соприкасаясь во многом с поэтической культурой Фета и Майкова, занимает особое место в истории русской поэзии.

Полонский был единомышленником Фета, когда утверждалось право художника на музыкальное восприятие мира, на чувственно-зрительное мироощущение, которое можно сравнить с импрессионистическим. Попытка удержать в поэтическом слове мимолетное настроение рождала полутона, язык полунамеков.

Творческая эволюция Полонского не отличалась той ясностью, которая, как правило, присуща сторонникам определенной литературной партии. В эпоху поляризации идеологических лагерей в русской литературе, в 1850—1870-е годы, Полонский не примыкал открыто ни к какой литературно-общественной группировке. И если еще в 1855 году Некрасов в журнале «Современник» писал о такой черте поэта, как неизменное сочувствие «благородным стремлениям времени» [1], то в последующие годы один лишь Тургенев энергично высказывался в его защиту. Пожалуй, именно ему была особенно близка природа дарования Полонского, за которой скрывалась чуткость к многообразным веяниям времени. Недаром Полонскому принадлежат классические строки, в которых выразилось его представление о назначении поэта:

Писатель — если только он
Волна, а океан — Россия,
Не может быть не возмущен,
Когда возмущена стихия.
Писатель, если только он
Есть нерв великого народа,
Не может быть не поражен,
Когда поражена свобода.

---

[1] Некрасов Н. А. Полн. собр. соч. и писем, в 12-ти томах, т. IX, М., 1950, с. 273.

Однако гражданская позиция Полонского не вызывала положительного отклика у деятелей революционно-демократического лагеря, так как его попытка сохранить независимость в условиях сложной идеологической борьбы воспринималась как мировоззренческая непоследовательность.

Более всего поэта задевали непримиримые, резкие статьи Щедрина [1]. Только поддержка Тургенева помогла Полонскому не потерять душевного равновесия. Отвергая обвинения в несамобытности, безличности и в отсутствии оригинальности писателя, Тургенев утверждал в 1870 году в открытом письме к редактору «С.-Петербургских ведомостей»: «Если про кого должно сказать ⟨...⟩ что он, по выражению А. де Мюссе, пьет хотя из маленького, но из *своего* стакана, так это именно про Полонского. Худо ли, хорошо ли он поет, но поет уж точно по-своему... Талант его представляет особенную, ему лишь одному свойственную смесь простодушной грации, свободной образности языка, на котором еще лежит отблеск пушкинского изящества, и какой-то иногда неловкой, но всегда любезной честности и правдивости впечатлений. Временами, и как бы бессознательно для него самого, он изумляет прозорливостью поэтического взгляда...» [2]

Продолжая литературно-критическую традицию Белинского, Щедрин требовал от поэта прямого и заостренного выражения своих взглядов на современную жизнь.

Автору же «Отцов и детей» импонировала общественная позиция Полонского, позиция передового литератора, сочувствовавшего освободительному движению, хотя и не являвшегося деятельным его участником.

По сути дела, спор шел о том, имеет ли право на существование поэзия, лишенная резко критической направленности.

Еще в 1860 году в первом номере «Русского слова» Полонский поместил стихотворение «Для немногих». Его первая строфа указывала на прямую поэтическую преемственность от Пушкина и Жуковского. Полонский как бы «отталкивается» от вольнолюбивого пафоса молодого Пушкина. «Мне не дал бог бича сатиры...» — утверждает он, принимая пушкинскую же поэтическую декларацию, высказанную в защиту Жуковского: «Ты прав, творишь ты для *немногих*, не для завистливых судей...» Автор стихотворения с названием, столь спорным в контексте эпохи, полемизирует с откровенной тенденциозностью лирики Некрасова. «В моей душе проклятий нет; но в ней звучит родник свободы...» Заявляя о гражданственности своей позиции, Полонский солидаризировался с Некрасовым — и в то же время отрицал общепризнанное радикальной критикой право поэта присваивать себе роль судьи над современным обществом:

Как гражданин, сердцам в ответ
Слова любви свожу на землю —
Но — для немногих я поэт.

---

[1] Отечественные записки, 1869. № 9, с. 46—50.

[2] Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем в 28-ми томах. Сочинения, т. 15. М.—Л., 1968, с. 156, 158.

В цикле стихотворений, обращенных к Некрасову («Поэту-гражданину», «О Н. А. Некрасове», «Блажен озлобленный поэт...»), Полонский пытается рассмотреть сложность и трудность положения поэта-обличителя, который «проповедует любовь враждебным словом отрицанья». Автор стихотворения «Поэту-гражданину», обостренно переживавший свое литературное одиночество, поневоле обращался мыслями к извечной теме поэта и толпы. «Толпа угрюмая, на голос твой призывный не откликаяся, идет...» — писал Полонский, обращаясь к Некрасову — и в то же время к самому себе.

Десятилетие спустя Некрасов в «Элегии» («Пускай нам говорит изменчивая мода...») высказал ту же тревогу: «...но тот, о ком пою в вечерней тишине, кому посвящены мечтания поэта,— увы, не внемлет он — и не дает ответа!»

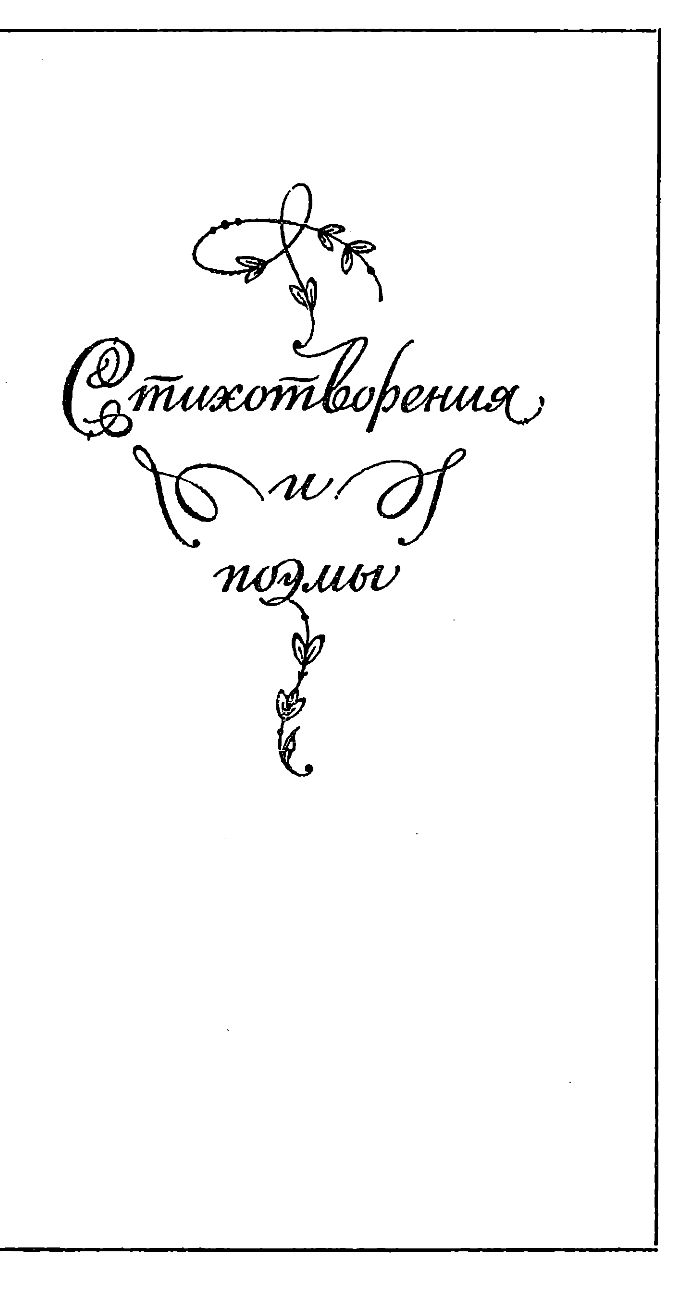
«Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется...» — с горечью утверждал Тютчев.

Время, история, читатели приняли и оценили поэзию Полонского.

Поэт и прозаик Полонский участвовал в литературной жизни страны почти шесть десятилетий. Он умер 18(30) октября 1898 года.

В одной из статей о русской поэзии Блок назвал имя Полонского в числе великих учителей, которые «пролили свет на «бездну века».

И. Мушина


Стихотворения
и
поэмы



* * *

Священный благовест торжественно звучит —
Во храмах фимиам,— во храмах песнопенье;
Молиться я хочу,— но тяжкое сомненье
Святые помыслы души моей мрачит.
И верю я — и вновь не смею верить,
Боюсь довериться чарующей мечте,
Перед самим собой боюсь я лицемерить,
Рассудок бедный мой блуждает в пустоте;
И эту пустоту ничто не озаряет,
Дыханьем бурь мой светоч погашен,
Бездонный мрак на вопль не отвечает,
А жизнь — жизнь тянется, как непонятный сон.

⟨1840⟩

ЖНИЦЫ

Пой, пой, свирель!.. Погас последний луч
денницы...
Вон, в сумраке долин, идут толпами жницы,
На месяце блестят и серп их и коса;
Пыль мягкая чуть-чуть дымится под ногами,
Корзины их шумят тяжелыми снопами,
Далеко звонкие их слышны голоса...
Идут... прошли... чуть слышно их... Бог с ними!
Я жду ее одну, с приветом на устах,
В венке из полевых цветов, с серпом в руках,
Обремененную плодами золотыми...
Пой, пой, свирель!..

3 января 1841

СОЛНЦЕ И МЕСЯЦ

Ночью в колыбель младенца
Месяц луч свой заронил.
«Отчего так светит Месяц?» —
Робко он меня спросил.

В день-деньской устало Солнце,
И сказал ему господь:
«Ляг, засни, и за тобою
Все задремлет, все заснет».

И взмолилось Солнце брату:
«Брат мой, Месяц золотой,
Ты зажги фонарь — и ночью
Обойди ты край земной.

Кто там молится, кто плачет,
Кто мешает людям спать,
Все разведай — и поутру
Приходи и дай мне знать».

Солнце спит, а Месяц ходит,
Сторожит земли покой.
Завтра ж рано-рано к брату
Постучится брат меньшой.

Стук-стук-стук! — отворят двери.
«Солнце, встань! грачи летят,
Петухи давно пропели —
И к заутрене звонят».

Солнце встанет, Солнце спросит:
«Что, голубчик, братец мой,
Как тебя господь-бог носит?
Что ты бледен? что с тобой?»

И начнет рассказ свой Месяц,
Кто и как себя ведет.
Если ночь была спокойна,
Солнце весело взойдет.

Если ж нет — взойдет в тумане,
Ветер дунет, дождь пойдет,
В сад гулять не выйдет няня
И дитя не поведет.

1841

К ДЕМОНУ

Я погибал —
Мой злобный гений
Торжествовал.

Полежаев

И я сын времени, и я
Был на дороге бытия
Встречаем демоном сомненья;
И я, страдая, проклинал
И, отрицая провиденье,
Как благодати ожидал
Последнего ожесточенья.
Мне было жаль волшебных снов,
Отрадных, детских упований
И мне завещанных преданий
От простодушных стариков.
Когда молитвенный мой храм
Лукавый демон опрокинул,
На жертву пагубным мечтам
Он одного меня покинул;
Я долго кликал: где же ты,
Мой искуситель? Дай хоть руку!
Из этой мрачной пустоты
Неси хоть в ад!.. . . . . .
. . . .

И вот, среди мятежных дум,
Среди мучительных сомнений
Установился шаткий ум
И жаждет новых откровений.
И если вновь, о демон мой,
Тебя нечаянно я встречу,
Я на привет холодный твой
Без содрогания отвечу.

Весь мир открыт моим очам,
Я снова горд, могуч, спокоен —
Пускай разрушен прежний храм,
О чем жалеть, когда построен
Другой — не на холме гробов,
Не из разбросанных обломков
Той ветхой храмины отцов,
Где стало тесно для потомков.

И как велик мой новый храм —
Нерукотворен купол вечный,
Где ночью путь проходит млечный,
Где ходит солнце по часам,
Где все живет, горит и дышит,
Где раздается вечный хор,
Который демон мой не слышит,
Который слышит Пифагор.
И, чу, в ответ на эти звуки
Встают . . . .
. . . . И вот
Все Гении земного мира
И все, кому послушна лира,
Мой храм наполнили толпой;
Гомера, Данте и Шекспира
Я слышу голос вековой.
Теперь попробуй, демон мой,
Нарушить этот гимн святой,
Наполнить смрадом это зданье.
О нет! с могуществом своим,
Бессильный, уходи к другим,
И разбивай одни преданья —
Остатки форм без содержанья.

1842

ДОРОГА

Глухая степь — дорога далека,
Вокруг меня волнует ветер поле,
Вдали туман — мне грустно поневоле,
И тайная берет меня тоска.

Как кони ни бегут — мне кажется, лениво
Они бегут. В глазах одно и то ж —
Все степь да степь, за нивой снова нива.
— Зачем, ямщик, ты песни не поешь?

И мне в ответ ямщик мой бородатый:
— Про черный день мы песню бережем.
— Чему ж ты рад? — Недалеко до хаты —
Знакомый шест мелькает за бугром.

И вижу я: навстречу деревушка,
Соломой крыт стоит крестьянский двор,
Стоят скирды.— Знакомая лачужка,
Жива ль *она*, здорова ли с тех пор?

Вот крытый двор. Покой, привет и ужин
Найдет ямщик под кровлею своей.
А я устал — покой давно мне нужен;
Но нет его... Меняют лошадей.

Ну-ну, живей! Долга моя дорога —
Сырая ночь — ни хаты, ни огня —
Ямщик поет — в душе опять тревога —
Про черный день нет песни у меня.

⟨1842⟩

МАСКА

В пестроте, в многолюдстве собранья,
Праздным взором скользя без вниманья,
Злою скукой томимый давно,
У колонн встретил я домино.

Протянув свою ручку-малютку,
Она сжала мою не на шутку,
На лице моем жар заиграл,
Но я милой моей не узнал.

Из-под шелковой розовой маски,
Как две звездочки, теплились глазки —
И на мне остановленный взор
Выражал и любовь и укор.

Наконец она тихо сказала:
«Я давно, я везде вас искала»,—
Изменил речи трепетный звук,
Я узнал трепет милых мне рук.

О, во имя любви простодушной,
Не снимай этой маски бездушной,
Я боюсь, друг мой милый, любя,
В этот миг я боюсь за тебя.

В пестроте, в многолюдстве собранья
Пусть пройдет клевета без вниманья,
И любви откровенной слова
Не подслушает злая молва.

⟨1842⟩

* * *

Пришли и стали тени ночи
На страже у моих дверей!
Смелей глядит мне прямо в очи
Глубокий мрак ее очей;
Над ухом шепчет голос нежный,
И змейкой бьется мне в лицо
Ее волос, моей небрежной
Рукой измятое, кольцо.

Помедли, ночь! густою тьмою
Покрой волшебный мир любви!
Ты, время, дряхлою рукою
Свои часы останови!

Но покачнулись тени ночи,
Бегут, шатаяся, назад.
Ее потупленные очи
Уже глядят и не глядят;
В моих руках рука застыла,
Стыдливо на моей груди
Она лицо свое сокрыла...
О солнце, солнце! Погоди!

1842

НА МОГИЛЕ

Сто лет пройдет, сто лет; — забытая могила,
Вчера закрытая, травою порастет.
И плуг пройдет по ней, и прах, давно остылый,
Могущественный дуб корнями обовьет —
Он гордо зашумит вершиною густою;
Под тень его любовники придут
И сядут отдыхать вечернею порою,
Посмотрят вдаль, поникнув головою,
И темных листьев шум, задумавшись, поймут.

⟨1842⟩

К NN

Кто поневоле оторвал
От сердца с болью нестерпимой
Любимых дум предмет любимый,
Кто постепенно разрушал
Свои святые убежденья
И, как ночное привиденье,
На их развалинах стонал —
Пускай надменно презирать,
Негодовать и отрицать
Он грустным пользуется правом;
Он дорого его купил:
Ценою напряженных сил,
Ценой труда в поту кровавом.
И пусть ему с тоской в очах
Внимает молодое племя,
Быть может, в злых его речах
Таится благ грядущих семя.

А ты, что видел жизнь во сне,
И не насытился вполне,
И не страдал святым страданьем!
Не потому ли осмеять
Ты рад любовь — святыню нашу,—
Что сам не в силах приподнять
И смело выпить эту чашу?
Поверь — затерянный в толпе,
Ты скоро наконец судьбе
Протянешь руку; постепенно,
В тревоге мелочных забот,
Твой голос дерзкий и надменный
Неповторяемо замрет.

⟨1843⟩

ВЕЧЕР

Зари догорающей пламя
Рассыпало по небу искры,
Сквозит лучезарное море;
Затих по дороге прибрежной
Бубенчиков говор нестройный,
Погонщиков звонкая песня
В дремучем лесу затерялась,

В прозрачном тумане мелькнула
И скрылась крикливая чайка.
Качается белая пена
У серого камня, как в люльке
Заснувший ребенок. Как перлы,
Росы освежительной капли
Повисли на листьях каштана,
И в каждой росинке трепещет
Зари догорающей пламя.

⟨1843⟩

ТИШЬ

Душный зной над океаном,
Небеса без облаков;
Сонный воздух не колышет
Ни волны, ни парусов.
Мореплаватель, сердито
В даль пустую не гляди;
В тишине, быть может, буря
Притаилась, погоди!

⟨1843⟩

УЗНИК

Меня тяжелый давит свод,
Большая цепь на мне гремит.
Меня то ветром опахнет,
То все вокруг меня горит!
И, головой припав к стене,
Я слышу, как больной во сне,
Когда он спит, раскрыв глаза,—
Что по земле идет гроза.

Налетный ветер за окном,
Листы крапивы шевеля,
Густое облако с дождем
Несет на сонные поля.
И божьи звезды не хотят
В мою темницу бросить взгляд;
Одна, играя по стене,
Сверкает молния в окне.

И мне отраден этот луч,
Когда стремительным огнем
Он вырывается из туч...
Я так и жду, что божий гром
Мои оковы разобьет,
Все двери настежь распахнет
И опрокинет сторожей
Тюрьмы безвыходной моей.

И я пойду, пойду опять,
Пойду бродить в густых лесах,
Степной дорогою блуждать,
Толкаться в шумных городах...
Пойду среди живых людей,
Вновь полный жизни и страстей,
Забыть позор моих цепей.

⟨1844⟩

ЗИМНИЙ ПУТЬ

Ночь холодная мутно глядит
Под рогожу кибитки моей,
Под полозьями поле скрипит,
Под дугой колокольчик гремит,
А ямщик погоняет коней.

За горами, лесами, в дыму облаков
Светит пасмурный призрак луны.
Вой протяжный голодных волков
Раздается в тумане дремучих лесов.—
Мне мерещатся странные сны.

Мне все чудится: будто скамейка стоит,
На скамейке старуха сидит,
До полуночи пряжу прядет,
Мне любимые сказки мои говорит,
Колыбельные песни поет.

И я вижу во сне, как на волке верхом
Еду я по тропинке лесной
Воевать с чародеем-царем
В ту страну, где царевна сидит под замком,
Изнывая за крепкой стеной.

Там стеклянный дворец окружают сады,
Там жар-птицы поют по ночам
И клюют золотые плоды,
Там журчит ключ живой и ключ мертвой воды —
И не веришь и веришь очам.

А холодная ночь так же мутно глядит
Под рогожу кибитки моей,
Под полозьями поле скрипит,
Под дугой колокольчик гремит,
И ямщик погоняет коней.

⟨1844⟩

ВСТРЕЧА

Вчера мы встретились; — она остановилась —
Я также — мы в глаза друг другу посмотрели.
О боже, как она с тех пор переменилась;
В глазах потух огонь, и щеки побледнели.
И долго на нее глядел я молча строго —
Мне руку протянув, бедняжка улыбнулась;
Я говорить хотел — она же ради бога
Велела мне молчать, и тут же отвернулась,
И брови сдвинула, и выдернула руку,
И молвила: «Прощайте, до свиданья»,
А я хотел сказать: «На вечную разлуку
Прощай, *погибшее, но милое созданье*».

⟨1844⟩

ДИАМЕЯ

О, скажи мне одно только, кем из богов
Ты была создана? кто провел эту бровь?
Кто зажег этот взгляд? кто дал волю кудрям
Так роскошно змеиться по белым плечам?

О, скажи, Диамея, тебе ли самой
Иль тому божеству, что гордится тобой
Как созданьем, я должен из мрамора храм
Вознести на холме и возжечь фимиам!

⟨1844⟩

КУМИР

Не сотвори себе кумира;
Но, верный сердцу одному,
Я был готов все блага мира
Отдать кумиру моему.
Кумир немой, кумир суровый,
Он мне сиял, как божество,
И я клялся его оковы
Влачить до гроба моего.

Полубезумен и тревожен,
С печалью скорби на челе,
В цепях я мнил, что рай возможен
Не в небесах, а на земле.—
Так, чем свобода безнадежней,
Чем наши цепи тяжелей,
Тем ярче блеск надежды прежней
Иль идеал грядущих дней.

Но я разбил кумир надменный,
Кумир развенчанный — упал,
И я же, раб его смиренный,
Его обломки растоптал.
И без любви, без упованья,
Не призывая тайных сил,
Я глубоко мои страданья
В самом себе похоронил.

⟨1844⟩

* * *

Посмотри — какая мгла
В глубине долин легла!
Под ее прозрачной дымкой
В сонном сумраке ракит
Тускло озеро блестит.
Бледный месяц невидимкой,
В тесном сонме сизых туч,
Без приюта в небе ходит
И, сквозя, на все наводит
Фосфорический свой луч.

⟨1844⟩

НОЧЬ В ГОРАХ ШОТЛАНДИИ

Спишь ли ты, брат мой?
Уж ночь остыла;
В холодный, серебряный блеск
Потонули вершины
Громадных
Синеющих гор.

И тихо, и ясно,
И слышно, как с гулом
Катится в бездну
Оторванный камень.
И видно, как ходит
Под облаками
На отдаленном
Голом утесе
Дикий козленок.

Спишь ли ты, брат мой?
Гуще и гуще
Становится цвет полуночного неба.
Ярче и ярче
Горят планеты.
Грозно сверкает во мраке
Меч Ориона.

Встань, брат!
Из замка
Невидимой лютни
Воздушное пенье
Принес и унес свежий ветер.
Встань, брат!
Ответный
Пронзительно-резкий
Звук медного рога
Трижды в горах раздавался,
И трижды
Орлы просыпались на гнездах.

⟨1844⟩

ЛУННЫЙ СВЕТ

На скамье, в тени прозрачной
Тихо шепчущих листов,
Слышу — ночь идет, и — слышу
Перекличку петухов.
Далеко мелькают звезды,
Облака озарены,
И дрожа тихонько льется
Свет волшебный от луны.

Жизни лучшие мгновенья —
Сердца жаркие мечты,
Роковые впечатленья
Зла, добра и красоты;
Все, что близко, что далеко,
Все, что грустно и смешно,
Все, что спит в душе глубоко,
В этот миг озарено.

Отчего ж былого счастья
Мне теперь ничуть не жаль,
Отчего былая радость
Безотрадна, как печаль,
Отчего печаль былая
Так свежа и так ярка? —
Непонятное блаженство!
Непонятная тоска!

⟨1844⟩

* * *

Уже над ельником из-за вершин колючих
Сияло золото вечерних облаков,
Когда я рвал веслом густую сеть пловучих
Болотных трав и водяных цветов.

То окружая нас, то снова расступаясь,
Сухими листьями шумели тростники;
И наш челнок шел, медленно качаясь,
Меж топких берегов извилистой реки.

От праздной клеветы и злобы черни светской
В тот вечер, наконец, мы были далеко —
И смело ты могла с доверчивостью детской
Себя высказывать свободно и легко.

И голос твой пророческий был сладок,
Так много в нем дрожало тайных слез,
И мне пленительным казался беспорядок
Одежды траурной и светло-русых кос.

Но грудь моя тоской невольною сжималась,
Я в глубину глядел, как тысяча корней
Болотных трав невидимо сплеталась,
Подобно тысяче живых зеленых змей.

И мир иной мелькал передо мною —
Не тот прекрасный мир, в котором ты жила,
И жизнь казалась мне суровой глубиною
С поверхностью, которая светла.

⟨1844⟩

ИЗ КОРАНА

Скажи строптивым, малодушным,
Коварно-злым и непослушным,
Что в неразумии своем
Меня слепцы лишь не находят,
И не идут прямым путем,
А ощупью в потемках бродят.

Не спрячут их запоры башен —
Везде найдет их Азраил;
Придет незваный, бледен, страшен —
И изо всех ударит сил...
И вздрогнут каменные стены,
И подогнутся их колены.

Пророк, напомни маловерным,
Что я приду нелицемерным
Судом судить, и будет течь
Река огня в тот день,— и будут
Их на цепях железных жечь.
Напомни им — да не забудут.

⟨1844⟩

ПРОГУЛКА ВЕРХОМ

Я еду городом — почти
Все окна настежь — у соседки
В окошке расцвели цветы,
И канарейка свищет в клетке.
Я еду мимо — сквозь листы
Китайских розанов мелькает
Рукав кисейный, и сверкает
Сережка; а глаза горят,
И, любопытные, глядят
На проходящих.
Вот нараспашку полупьяный
Бурлак по улице идет;
За ним измученный разносчик
Корзину тащит; вон везет,
Стуча колесами, извозчик
Купца с купчихой! — Боже мой,
Как все пестро!
Но что за вой?
Какого бедняка в могилу
Несут на четырех плечах?
О ком, ступая через силу
С младенцем спящим на руках,
Рыдает женщина — не знаю,
И шляпу перед ним снимаю
И мимо еду; — вот стоит
И косо на меня глядит
Толпа старушек богомольных,
А мальчики бумажный змей
Пускают выше колокольных
Крестов на привязи своей;
Взвился — трещит — мой конь пугливый
Прибавил рыси торопливой;
Скачу — навстречу инвалид —
Старик бездомный и бродяга
Безногий — тяжело стучит
По тротуару костылями —
Он оглянулся на коня,
Он с ног до головы меня
Окинул мутными глазами
И, на костыль дубовый свой
Повиснув раненой рукой,
Стал думу думать.
Вот застава.

Мелькает часовой с ружьем —
И зеленеет степь направо,
Налево, прямо и кругом...
Скачу.
Над головою облака
Плывут, сплываются — слегка
Их тронул пурпур золотистой
Авроры вечной; а вдали
На севере, из-под земли,
Встают и тянутся волнистой
Грядой вершины синих гор
И серебрятся. Жадный взор
Границ не ведает, и слышит
Мой чуткий слух, как воздух дышит,
Как опускается роса
И двигается полоса
Вечерней тени,—
Где я? куда меня проворно
Примчал мой конь, как добрый дух,
Покорный талисману,— ух!
Как сердцу моему просторно!..

⟨1844⟩

ВЫЗОВ

За окном в тени мелькает
Русая головка.
Ты не спишь, мое мученье!
Ты не спишь, плутовка!

Выходи ж ко мне навстречу!
С жаждой поцелуя,
К сердцу сердце молодое
Пламенно прижму я.

Ты не бойся, если звезды
Слишком ярко светят;
Я плащом тебя одену
Так, что не заметят!

Если сторож нас окликнет —
Назовись солдатом;
Если спросят, с кем была ты,—
Отвечай, что с братом!

Под надзором богомолки —
Ведь тюрьма наскучит;
А неволя поневоле
Хитрости научит!

1844, октябрь

ТЕНИ

По небу синему тучки плывут,
По лугу тени широко бегут;
Тени ль толпой на меня налетят —
Дальние горы под солнцем блестят;
Солнце ль внезапно меня озарит —
Тень по горам полосами бежит.
Так на душе человека порой
Думы, как тени, проходят толпой;
Так иногда вдруг тепло и светло
Ясная мысль озаряет чело.

1845

ПРОЩАЙ

Прощай!.. О да, прощай! Мне грустно...
Моих страданий передать
Я не могу тебе изустно
И не могу, как раб, молчать.

Мы не привыкли лицемерить —
Не доверяя ничему,
Мы не хотели слепо верить
Больному сердцу своему.

И в час прощального привета,
Сгорая пламенем святым,
Друг другу вечного обета
Мы легковерно не дадим.

Быть может,— грустное мечтанье! —
На длинном жизненном пути,
В час равнодушного свиданья
Мы вспомним грустное *прости*.

Тогда мы улыбнемся оба,
Друг другу отдадим поклон —
И вновь простимся, чтоб до гроба
Нас не тревожил счастья сон.

1845

МАЯК

Вон светит зарево над морем! за скалой
Мелькают полосы румяного тумана —
То месяц огненный, ночной товарищ мой,
Уходит в темные пучины океана.

Прости!.. Я звезд ищу, их прежнего следа
Ищу я,— по распутьям ночи ясной
Я видел в сонме звезд красавица звезда
Текла,— но, видно, луч ее потух в напрасной
Борьбе с туманами, которых путь ненастный
По небу тянется, как черная гряда.

Лучи небесные, прощайте!.. Взор блуждает.—
Где берега? — где море? — где восток!..
Как в сумрачной степи пустынный огонек,
Один маяк вдали едва-едва мелькает —
И светится вдали, как огненный глазок.

Один маяк вдали — и нет ему затменья,
И дела нет ему до мрачных облаков,
Как будто видит он ночное приближенье
К нему издалека идущих парусов.
Горит — а на меня наводит утомленье
Печальный шум невидимых валов.

1845

ВАЛЬС «ЛУЧ НАДЕЖДЫ»

Надежды вальс зовет, звучит —
И, замирая, занывает;
Он тихо к сердцу подступает
И сердцу громко говорит:

Среди бесчисленных забав,
Среди страданий быстротечных —
Каких страстей ты хочешь вечных,
Каких ты хочешь вечных прав?

Напрасных благ не ожидай!
Живи, кружась под эти звуки,
И тайных ран глухие муки
Не раздражай, а усыпляй!

Когда ж красавица пройдет
Перед тобой под маской черной
И руку с нежностью притворной
Многозначительно пожмет,—

Тогда ослепни и пылай! —
Лови летучие мгновенья
И на пустые уверенья
Минутным жаром отвечай!

1845

ПОСЛЕДНИЙ РАЗГОВОР

Соловей поет в затишье сада;
Огоньки потухли за прудом.
Ночь тиха.— Ты, может быть, не рада,
Что с тобой остался я вдвоем?

Я б и сам желал с тобой расстаться;
Да мне жаль покинуть ту скамью,
Где мечтам ты любишь предаваться
И внимать ночному соловью.

Не смущайся! Ни о том, что́ было,
Ни о том, как мог бы я любить,
Ни о том, как это сердце ныло,—
Я с тобой не стану говорить.

Речь моя волнует и тревожит...
Веселее соловью внимать,
Оттого что соловей не может
Заблуждаться и, любя, страдать...

Но и он затих во мраке ночи,
Улетел, счастливец, на покой...
Пожелай и мне спокойной ночи
До приятного свидания с тобой!

Пожелай мне ночи не заметить
И другим очнуться в небесах,
Где б я мог тебя достойно встретить
С соловьиной песней на устах!

1845

УТРО

Вверх, по недоступным
Крутизнам встающих
Гор, туман восходит
Из долин цветущих;

Он, как дым, уходит
В небеса родные,
В облака свиваясь
Ярко-золотые —
И рассеяваясь.

Луч зари с лазурью
На волнах трепещет;
На востоке солнце,
Разгораясь, блещет.

И сияет утро,
Утро молодое...
Ты ли это, небо
Хмурое, ночное?

Ни единой тучки
На лазурном небе!
Ни единой мысли
О насущном хлебе!

О, в ответ природе
Улыбнись, от века
Обреченный скорби
Гений человека!

Улыбнись природе!
Верь знаменованью!
Нет конца стремленью —
Есть конец страданью!

1845

* * *

Ах, как у нас хорошо на балконе, мой милый! смотри —
Озеро светит внизу, отражая сиянье зари;
Белый там нежится лебедь, в объятьях стихии родной,
И не расстанется с ней, как и ты, друг мой милый, со мной...
Сколько ты мне ни толкуй, что родная стихия твоя —
Мир, а не жаркое сердце, не грудь молодая моя!

1845

ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ НЕМАН

Вот Руси граница, вот Неман. Французы
Наводят понтоны: работа кипит...
И с грохотом катятся медные пушки,
И стонет земля от копыт.

Чу! бьют в барабаны... Склоняют знамена;
Как гром далеко раздается: «Vivat!»
За кем на конях короли-адъютанты
В парадных мундирах летят?

Надвинув свою треугольную шляпу,
Все в том же походном своем сюртуке,
На белом коне проскакал император
С подзорной трубою в руке.

Чело его ясно, движенья спокойны,
В лице не видать сокровенных забот.
Коня на скаку осадил он, и видит —
За Неманом туча встает...

И думает он: «Эта темная туча
Моей светозарной звезды не затмит!»
И мнится ему в то же время — сверкая,
Из тучи перст божий грозит...

И, душу волнуя, предчувствие шепчет:
«Сомнет знамена твои русский народ!»
«Вперед! — говорят ему слава и гений.—
Вперед, император, вперед!»

И лик его бледен, движенья тревожны,
И шагом он едет, и молча глядит,
Как к Неману катятся медные пушки
И стонут мосты от копыт.

1845(?)

ПТИЧКА

Пахнет полем воздух чистый...
В безмятежной тишине
Песни птички голосистой
Раздаются в вышине.

Есть у ней своя подруга,
Есть у ней приют ночной,
Средь некошеного луга,
Под росистою травой.

В небесах, но не для неба,
Вся полна живых забот,
Для земли, не ради хлеба,
Птичка весело поет.

Внемля ей, невольно стыдно
И досадно, что порой
Сердцу гордому завидна
Доля птички полевой!

1845(?)

* * *

Когда я люблю,
Мне тогда не до песен,
Когда мир любви мне становится тесен,
Тогда я пою!

Первая половина 1840-х годов

ПРОГУЛКА ПО ТИФЛИСУ

(Письмо к Льву Сергеевичу Пушкину)

Как полдень — так у нас стреляет пушка.
Покуда эхо гул свой тяжко по горам
Разносит, молча вынимая
Часы, мы наблюдаем: стрелка часовая
Ушла или верна по солнечным часам?
Потом до двух — мы заняты делами;
Но так как все они решаются не нами,
Спокойно можем мы обедать — есть плоды
И жажду утолять, не трогая воды.
В собранье пусто: членов непременных
Четыре человека каждый день
Встречать наскучило; читать газеты лень;
Журналы запоздали; нет военных;
Все в экспедиции,— и там пока в горах
Не дальше, может быть, как только в ста
верстах,
Идет резня (Шамиль воюет),
Для нас решительно войны не существует.
После обеда мы играем роль богов,
И, неспособные заняться даже вздором,
Завесив окна коленкором,
Лежим...
Кто развалившись на диване,
Кто растянувшись на ковре...
Воображать себя заснувшим в теплой бане —
Приятно, потому что на дворе
Невыносимо жарко.— Мостовая,
Где из-под ног вчера скакала саранча,
Становится порядком горяча
И жжет подошву.— Солнце, раскаляя
Слои окрестных скал, изволит наконец

Так натопить Тифлис, что еле дышишь,
Все видишь не глядя и слушая не слышишь;
Когда-то ночь придет! — дождемся ли, творец! —
Вот ночь не ночь — а все же наконец
Пора очнуться.— Тихий, благодатный
Нисходит вечер, час весьма благоприятный
Для той прогулки, от которой ждать
Отрады — первая в Тифлисе благодать.

Куда ж идти? Иду через Мухранский
Овражный мост, и прямо на Армянский
Базар являюсь — там народ,
Поднявшись на заре, для дел, нужды и лени,
На узких тротуарах ищет тени,
Гуляет, спит, работает и пьет.—
Народ особенный! Я здесь люблю толкаться —
И молча наблюдать — и молча любоваться
Картинами, каких, конечно, никогда
Мне прежде видеть не случалось;
Их не видать — невелика беда,
Но видеть весело, пока не стосковалась
Душа по тем степям, которых вид один,
Бывало, наводил тоску и даже сплин.
Но... я не знаю что — привычка, может статься,
Бродя в толпе, на лицах различать
Следы разврата, бедности безгласной
Или корысти слишком ясной,
Невежества угрюмую печать
Убавила во мне тот жар напрасный,
С которым некогда я рад был вопрошать
Последнего из всех забытых братий.
Я знаю, что нужда не в силах разделять
Ни чувств насыщенных, ни развитых понятий,
Что наша связь давно разорвана с толпой,
Что лучшие мечты — источники страданья —
Для благородных душ осталися мечтой...
Итак, чтоб не входить в бесплодные мечтанья,
Я поскорей примусь за описанье.—
С чего начать?!. Представьте, я брожу
По улицам — а где, и сам не знаю,
Тифлис оригинальным нахожу,
По крайней мере, не скучаю;
Представьте, наконец,— я в улицу вхожу
Кривую, тесную — под старыми домами
Направо и налево лавок ряд —

Вот караван-сарай, восточными коврами
Увешан пыльный вход, узоры их пестрят —
Но я иду от них сквозными воротами
На низкий дворик, устланный плитами,
С бассейном без воды, и слышу, как шумит
Волна в Куре,— куда она спешит,
Неугомонная, живая?..
Не знает, что вдали от этих берегов
Ей не видать других цветущих городов,
Как не видать земного рая!
Что никогда оттуда, где шумят
Каспийские валы, гнилой камыш качая,
К решеткам караван-сарая
Не воротиться ей назад!
Спешу на улицу — и вижу: виноград
Висит тяжелыми, лиловыми кистями,
Поспел — купите фунт — бакальщик рад...
Вот перец и миндаль, а вон табак турецкий
Насыпан кучами — кальяны — чубуки —
Кинжалы — канау́с — бумажные платки,
Товар персидский и замоскворецкий!
Дешевый все товар из самых дорогих!

Иду я дальше; множество портных
Сидят на низеньких подмостках в меховых
Остроконечных шапках, рукава утюжат,
Обводят обшлага черкески заказной
Иль праздничной чухи [1] тесьмою золотой,
Усердно шьют — и мне усердно служат:
Из медных утюгов огонь я достаю,
Чтоб тут же закурить потухшую мою
Сигару — здесь курить начальство позволяет;
Пожаров никогда в Тифлисе не бывает,
В Тифлисе просто нечему гореть,
Здесь только можно загореть,
Что, вероятно, всякий знает.
Вот, вижу я, цирюльня, у дверей
Круглится голова; поджав босые ноги,
Сидит благочестивый на пороге
Татарин, голову его бородобрей
Нагнул поближе к свету — выбрил — поскорей
Тряпицей вытер — и к окошку

[1] Чуха — грузинский кафтан с откидными рукавами. (*Примеч. Я. П. Полонского.*)

Сушить повесил грязную ветошку —
Чего ж вам больше!.. Вот кофейня, два купца —
Два персианина играют молча в шашки,
Хозяин смотрит, сумрачный с лица,
А между тем бичо [1] переменяет чашки.
В пяти шагах, желая аппетит
Свой утолить у небольшой харчевни,
Сошлись работники, грузины из деревни;
Котлы кипят — горячий пар валит —
Лепешек масляных еще дымятся глыбы,
Кувшин с вином под лавкою стоит,
А с потолка висят хвосты копченой рыбы.
Вот на полу какой-то кладовой
(Вы здешние дома, конечно, не забыли)
Два армянина, завязав от пыли
Глаза платком, натянутой струной
Перебивают шерсть. Насупротив, у лавки,
Где как-то меньше толкотни и давки,
Уселся на скамье худой, невзрачный жид
И на станке тесьму и позументы
Прилежно ткет; за ним, на сундуке,
Откинув рукава, сидит в архалуке
Меняла, в сладостной надежде на проценты!
Но вот базар еще теснее —
Разноплеменная толпа еще пестрее.
Я слышу скрип и шум и крики — хабарда! [2]
Вот нищий подошел ко мне, склонясь на посох;
Вот буйволы идут, рога свои склоня;
Тяжелая арба скрипит на двух колесах;
Вот скачет конь, упрямого коня
Стегает плеть; налево, с бурдюками,
Знать, из Кахетии с вином,
Дощатый воз плетется, и на нем
Торчит возница с красными усами [3].
А вон ослы вразброд идут,
В кошелках уголья несут
И машут длинными ушами;
На одного из них уселися верхом
В лохмотьях два полунагих ребенка,
А третий сзади глупого осленка
Немилосердно бьет хлыстом...

---

[1] Бичо — по-грузински мальчик. (*Примеч. Я. П. Полонского.*)

[2] Хабарда — берегись! (*Примеч. Я. П. Полонского.*)

[3] На Востоке есть обычай красить себе бороду и усы. (*Примеч. Я. П. Полонского.*)

Тифлис для живописца есть находка.
Взгляните, например: изорванный чекмень,
Башлык, нагая грудь, беспечная походка,
В чертах лица задумчивая лень,
Кинжал — и странное в глазах одушевленье!
Вот, например, живое воплощенье
Труда — муша [1] по улице идет;
Огромный шкаф, перекрестив ремнями,
Он на спину взвалил и медленно несет,
Согнувшись в угол, пот ручьями
По загорелому лицу его течет,
Он исподлобья смотрит и дает
Дорогу... Не могу дорисовать картины! —
Представьте, что в глазах мешаются ослы,
Ковры, солдаты, буйволы, грузины,
Муши, балконы, осетины,
Татары,— наконец, я слышу крик муллы —
И наконец, под минаретом
Свожу знакомство с новым светом —
И чувствую, что на чужом пиру...
Налево мост идет через Куру,
А вон крутой подъем к заставе Эриванской;
Вот, вижу, караван подходит шемаханский;
Как великан, идет передовой верблюд,
За ним гуськом его товарищи идут —
Раздули ноздри и глядят спесиво;
Их шеи длинные навытяжку стоят,
На них бубенчики нестройные звенят,
С горбов висит космами грива;
Огромные тюки качая на спине,
Рабы Востока тяжестию ноши
Гордятся и блаженствуют вполне;
А я глотаю пыль — иду — и в стороне
Вдруг слышу — деревянные подкоши [2]
Стучат — идет татарка в белой простыне;
Толпа грузинских жен спешит укрыться в бане,
А я спешу назад — спешу куда-нибудь,
Чтоб только чистым воздухом дохнуть,
Что невозможно на Майдане [3].
Где я — творец! — какие там сидят
Фигуры на стенах! — перебирают четки —

---

[1] Муша — носильщик. (*Примеч. Я. П. Полонского.*)
[2] Подкоши — башмаки без задков. (*Примеч. Я. П. Полонского.*)
[3] Майдан — базарная площадь. (*Примеч. Я. П. Полонского.*)

И неподвижно вниз глядят;
Внизу овраг — на дне его шумят
Горячие ключи.— Неужели назад
Идти?.. Ого! над самой головою
Я слышу разговор, а может быть, и брань —
Но... пусть бранят! — теперь передо мною
Открылся чудный вид. Отсюда, из-за бань,
Мне виден замок за Курою...
И мнится мне, что каменный карниз
Крутого берега с нависшими домами,
С балконами, решетками, столбами,
Как декорация в волшебный бенефис,
Роскошно освещен бенгальскими огнями.
Отсюда вижу я — за синими горами
Заря, как жертвенник, пылает, и Тифлис
Приветствует прощальными лучами.
О, как блистательно проходит этот час!
Великолепная для непривычных глаз
Картина! Вспомните всю массу этих зданий,
Всю эту смесь развалин без преданий —
Домов, построенных, быть может, из руин,
Садов, опутанных ветвями винограда,
И этих куполов, которых вид один
Напомнит вам предместья Цареграда,
И согласитесь, что нарисовать
Тифлис не моему перу.— К тому ж, признаться,
Мне самому пришлось недолго любоваться;
Я как-то вздумал догадаться,
Что на чужом дворе невыгодно стоять:
Где улица, где двор, в иных местах Тифлиса
Не разберешь...

Но вот уж сумерки сгущаются в глуши
Садов — и застилают переулки;
В глухие дальние забрел я закоулки —
И ни одной мужской души!
Вот женщина зашла на низенькую кровлю;
Вдали звучит протяжная зурна́ —
Как видно, здесь крикливую торговлю
Семейная сменила тишина.
Вот у калитки две старухи...
Сошлись и шепчутся и городские слухи
Передают друг другу. Вон скамья
Стоит, никем не занятая,
Меж тем как на земле почтенная семья

Сидит, беспечно отдыхая...
Не стану женщин вам описывать наряд,
Их легкое, как воздух, покрывало,
Косицы черные и любопытный взгляд,
В котором много блеску, жизни мало...
Повсюду я спешу ловить
Рой самых свежих впечатлений;
Но, признаюсь вам, надо жить
В Тифлисе — наблюдать — любить —
И ненавидеть, чтоб судить
Или дождаться вдохновений...

1846

ЗАТВОРНИЦА

В одной знакомой улице —
Я помню старый дом,
С высокой, темной лестницей,
С завешенным окном.
Там огонек, как звездочка,
До полночи светил,
И ветер занавескою
Тихонько шевелил.
Никто не знал, какая там
Затворница жила,
Какая сила тайная
Меня туда влекла.
И что за чудо-девушка
В заветный час ночной
Меня встречала, бледная,
С распущенной косой.
Какие речи детские
Она твердила мне:
О жизни неизведанной,
О дальней стороне.
Как не по-детски пламенно,
Прильнув к устам моим,
Она, дрожа, шептала мне:
«Послушай, убежим!
Мы будем птицы вольные —
Забудем гордый свет...
Где нет людей прощающих,
Туда возврата нет...»

И тихо слезы капали —
        И поцелуй звучал —
И ветер занавескою
        Тревожно колыхал.

Тифлис,
1846, июля 20

ГРУЗИНКА

Вчера грузинку ты увидел в первый раз
        На кровле, устланной коврами,
Она была в шелку и в галунах, и газ
        Прозрачный вился за плечами.
Сегодня, бедная, под белою чадрой,
        Скользя тропинкою нагорной,
Через пролом стены, к ручью, над головой
        Она несет кувшин узорный.
Но не спеши за ней, усталый путник мой,—
        Не увлекись пустым мечтаньем!
Мираж не утолит томящей жажды в зной
        И не навеет снов журчаньем.
1846

ТАТАРСКАЯ ПЕСНЯ [1]

Посв. Г. П. Данилевскому

Он у каменной башни стоял под стеной;
И я помню, на нем был кафтан дорогой;
        И мелькала, под красным сукном,
        Голубая рубашка на нем...
Презирайте за то, что его я люблю!
        Злые люди, грозите судом —
Я суда не боюсь и вины не таю!

        Не бросай в меня ка́мнями!..
        Я и так уже ранена...

---

[1] Татарская песня эта была доставлена покойным Абаз-Кули-Ханом одному польскому поэту, Ладо-Заблоцкому. Он перевел эту песню по-польски, прозой; я, как умел, русскими стихами... *(Примеч. Я. П. Полонского.)*

Золотая граната растет под стеной;
Всех плодов не достать никакою рукой;
Всех красивых мужчин для чего
Стала б я привораживать! Но
Приютила б я к сердцу, во мраке ночей
Приголубила б только его —
И уж больше любви мне не нужно ничьей!

Не бросай в меня камнями!..
Я и так уже ранена...

Разлучили, сгубили нас горы, холмы
Эриванские! Вечно холодной зимы
Вечным снегом покрыты оне!
Говорят, на чужой стороне
Девы Грузии блеском своей красоты
Увлекают сердца... Обо мне
В той стране, милый мой, не забудешь ли ты?

Не бросай в меня камнями!..
Я и так уже ранена...

Говорят, злая весть к нам оттуда пришла,
За горами кровавая битва была;
Там засада была... Говорят,
Будто наших сарбазов [1] отряд
Истреблен ненавистной изменою... Чу!
Кто-то скачет... копыта стучат...
Пыль столбом... я дрожу и молитву шепчу...

Не бросай в меня камнями!..
Я и так уже ранена...

1846

НИЩИЙ

Знавал я нищего: как тень,
С утра, бывало, целый день
Старик под окнами бродил
И подаяния просил...

---

[1] Сарбазы — персидские солдаты. *(Примеч. Я. П. Полонского.)*

Но все, что в день ни собирал,
Бывало, к ночи раздавал
Больным, калекам и слепцам —
Таким же нищим, как и сам.

В наш век таков иной поэт.
Утратив веру юных лет,
Как нищий старец изнурен,
Духовной пищи просит он.—
И все, что жизнь ему ни шлет,
Он с благодарностью берет —
И душу делит пополам
С такими ж нищими, как сам...

Декабрь 1846

ВНУТРЕННИЙ ГОЛОС

Когда душа твоя, страдая,
Полна любви,— а между тем
Ты любишь, сам не понимая,
Кого ты любишь и зачем,—

Из глубины, откуда бьется
Пульс жизни сердца твоего,
Мой голос смутно раздается:
Услышь его! пойми его!

Кто я? — меня не видит око...
Но — близкий сердцу, как печаль,—
Я, как мечта, ношусь далеко,
Зову и — увлекаю вдаль.

Я не доступный мыслям праздным,—
Я тот, кто в благости своей
Законы дал звездам алмазным,
Свободу дал душе твоей.

Живой источник мыслей тайных,
Свой вечный свет вливая в них,
Мне мало дела до случайных
Тревог и радостей твоих.

Но, бесконечно всюду вея,
Хочу, чтоб жизнь была полна,
В твоей душе вопросы сея,
Дышу на эти семена —

И говорю: на почве скудной
Дай вызреть божьим семенам,
В день благодатный жатвы трудной
Я за дела твои воздам.

1847

ГОРНАЯ ДОРОГА В ГРУЗИИ

Вижу, как тяжек мой путь,
Как бесполезен мой повод!
Кони натужили грудь,
Солнце печет, жалит овод.

Что ты, лихой проводник,
Сверху кричишь мне: за мною!
Ты с малолетства привык
Рыскать с ружьем за спиною.

Я же так рано устал!
Скучны мне виды природы —
Остовы глинистых скал,
Рощей поникшие своды!

Глухо, безлюдно кругом...
Тяжко на эти вершины,
Вечным объятые сном,
Облокотились руины.

Спят!.. и едва ли от них
Странник дождется ответа!
Вряд ли порадует их
Голос родного привета!

Нет ли? — скажи, проводник,—
Нет ли преданья?! — Рукою
Шапку надвинул старик
И покачал головою.

Вижу — потоки бегут —
Книзу проносится пена,
Через потоки бредут
Кони, в воде по колена.

Рад бы и я утолить
Жажду — в тени приютиться,
Рад бы с коня соскочить —
Руки сложить и забыться.

Некуда спрыгнуть с седла!
Слева — отвесные стены,
Справа — деревья и мгла,
Шум и сверкание пены.

Рад бы помчаться стрелой!
Рад бы скакать! — невозможно!
Конь мой идет осторожно,
Пробует камни ногой.

И осторожность заслуга!
Конь мой собой дорожит.
Вот поднимается с юга
Ветер,— пустыня шумит.
Мне же далекого друга
Голос как будто звучит:

«Друг мой! зачем ты желаешь
Лучших путей? путь один...»
Ну, конь! иди сам как знаешь —
Здесь я не твой господин!

⟨1848⟩

ГРУЗИНСКАЯ ПЕСНЯ

Всякий раз как под буркой, порою ночной,
Беспробудно я сплю до звезды заревой,

Три видения райских слетают ко мне —
Три красавицы чудных я вижу во сне.

Как у первой красавицы очи блестят,
Так и звезды во мраке ночном не горят;

У второй, как поднимет ресницы свои,
Очи зорко глядят, как глаза у змеи.

Никогда не была ночь в горах так темна,
Как у третьей темна черных глаз глубина.

И когда на заре улетает мой сон,
Не вставая, гляжу я в пустой небосклон —

Все гляжу да все думаю молча о том:
Кабы деньги да деньги, построил бы дом!

Окружил бы его я высокой стеной,
Заключил бы я в нем трех красавиц со мной —

От утра до утра им бы песни я пел!
От зари до зари им бы в очи глядел!

⟨1848⟩

ГРУЗИНСКАЯ НОЧЬ

Грузинская ночь — я твоим упиваюсь дыханьем!
Мне так хорошо здесь под этим прохладным навесом,
Под этим навесом уютной нацваловой [1] сакли.
На мягком ковре я лежу под косматою буркой,
Не слышу ни лая собак, ни ослиного крику,
Ни дикого пенья под жалобный говор чингури [2].
Заснул мой хозяин — потухла светильня в железном
Висячем ковше... Вот луна! — и я рад, что сгорело
Кунжутное [3] масло в моей деревенской лампаде...
Иные лампады зажглись, я иную гармонию слышу.
О боже! какой резонанс! Чу! какая-то птица —
Ночная, болотная птица поет в отдаленьи...
И голос ее точно флейты отрывистый, чистый,
Рыдающий звук — вечно та же и та же
В размер повторенная нота — уныло и тихо
Звучит. — Не она ли мне спать не дает! Не она ли
Напела мне на душу грусть! Я смыкаю ресницы,
А думы несутся одна за другой, беспрестанно,
Как волны потока, бегущего с гор по ущелью.

---

[1] Нацвал — деревенский староста. *(Примеч. Я. П. Полонского.)*
[2] Чингури — струнный инструмент. *(Примеч. Я. П. Полонского.)*
[3] Кунжут — растение. *(Примеч. Я. П. Полонского.)*

Но волны потока затем ли бегут по ущелью,
Чтоб только достигнуть предела и слиться с волнами
Безбрежного моря! — нет, прежде чем моря достигнуть,
Они на долину спешат, напоить виноградные лозы
И нивы — надежду древнейшего в мире народа.
А вы, мои думы! — вы, прежде чем в вечность
Умчитесь, в полете своем захватив мириады
Миров,— вы скажите, ужель суждено вам
Носиться бесплодно над этою чудной страною,
Так страстно любимого солнцем и — выжженной солнцем!

⟨1848⟩

ТАТАРКА

На коне, в тени черешни,
Я стою — смотрю, как вешний
Ветерок волнует рис;
По дороге ехать жарко —
Ни души — одна татарка
По оврагу сходит вниз.

Вот сошла — и у канавы
На обломок серой лавы
Ставит кованый кувшин;
Подбоченилась лениво
И косится боязливо:
Нет ли около мужчин.

Я заметил беспокойный
Взгляд — щеки румянец знойный —
Черный локон у виска.
О аллах! в твоей пустыне
Я подобного доныне
Не видал еще цветка!

Но татарка встрепенулась
И пугливо завернулась
Руйбянды [1] своей концом.
Торопливо придержала
Свой кувшин и грубо стала
От меня назад лицом.

---

[1] Руйбянда, или рубанда — женская повязка, закрывающая лицо до самых глаз. *(Примеч. Я. П. Полонского.)*

Неучтив обычай края!
Но, обычай проклиная,
    Быть в долгу я не хочу
(Может быть, догадлив был я).
Сам себе лицо закрыл я
    Пыльной шапкой и — скачу.

Впрочем, как не обернуться!
Вижу (как не улыбнуться!) —
    На меня она глядит —
И смеется — вот уловка!
Догадалася плутовка,
    Что никто не сторожит!

⟨1848⟩

В ИМЕРЕТИИ

    Царя Вахтанга[1] ветхие страницы
    Перебирая в памяти моей,
    Иду я в терем доблестной царицы,
В развалину — приют неведомых теней.
    Уже заря, как зарево пожара,
На гребни темных скал бросает жаркий свет!
    Заря, леса и скалы!.. О Тамара!
    Не здесь ли пел твой пламенный поэт!
Дыша, я чувствую, что здесь земля — кладбище,
    А небеса — покров почиющих царей;
И между тем нигде природа, как жилище
Творца, не может быть ни лучше, ни пышней.
    Кругом, как божия ограда,
Заоблачный хребет далеко манит взор,
    Там спят леса под говор водопада;
    А здесь миндаль, и лозы винограда,
    И дикого плюща живой ковер.
    О, здесь бы жить — любить и наслаждаться;
    Но по горам какой-то демон злой,
Блуждая, не дает ни сердцу забываться,
    Ни бедный ум согреть мечтой,—
Незримый дух! Он всюду бьет тревогу;
    Везде кричит: сюда, сюда!
Здесь нужно вам в скалах пробить дорогу!

---

[1] Царь Вахтанг — грузинский летописец. *(Примеч. Я. П. Полонского.)*

Здесь реку запрудить! там строить города!
Никто не жнет плодов, не сея! —
Ужасный дух! от каждого пигмея
Готов он требовать гигантского труда!
Тамары нет... О Русь! еще ли ты не в силах,
Поднявши меч и заступ и топор,
Развить и жизнь и мысль на царственных могилах,
Чтоб успокоить духа гор!

⟨1848⟩

ПОСЛЕ ПРАЗДНИКА

Вчера к развалинам, вдоль этого ущелья,
Скакали всадники — и были зажжены
Костры — и до утра был слышен гул веселья —
Пальба, и барабан, и вой зурны.

Из уст в уста ходила азарпеша [1],
И хлопали в ладоши сотни рук,
Когда ты шла, Майко́, сердца и взоры теша,
Плясать по выбору застенчивых подруг.

Сегодня вновь безлюдное ущелье
Глядит пустыней,— мирная пальба
Затихла — выспалось похмелье —
И съехала с горы последняя арба!

Не все же праздновать! — веселый пир народный
Прошел, как сон... Так некогда любовь
Моя прошла — пыл сердца благородный
Простыл, давно простыл; но не простыла кровь!

Как после праздника в глотке вина отраду
Находит иногда гуляка удалой,
Так рад я был внимательному взгляду
Моей Майко, плясуньи молодой!

Что ж медлю я... Бичо! ты, конюх мой проворный!
Коня!! — Ее арбу два буйвола с трудом
Везут.— Догоним... Вон играет ветер горный
Катибы [2] бархатной пунцовым рукавом.

⟨1849⟩

[1] Азарпеша — чаша для вина. *(Примеч. Я. П. Полонского.)*
[2] Катиба — женская одежда с откидными рукавами. *(Примеч. Я. П. Полонского.)*

НЕ ЖДИ

Я не приду к тебе... Не жди меня! Недаром,
Едва потухло зарево зари,
Всю ночь зурна звучит за Авлабаром [1],
Всю ночь за банями поют сазандари [2].

Здесь теплый свет луны позолотил балконы,
Там углубились тени в виноградный сад,
Здесь тополи стоят, как темные колонны,
А там, вдали, костры веселые горят,—

Пойду бродить! — Послушаю, как льется
Нагорный ключ во мгле заснувших Саллалак [3],
Где звонкий голос твой так часто раздается,
Где часто, вижу я, мелькает твой личак [4].

Не ты ли там стоишь на кровле под чадрою,
В сиянье месячном?! — Не жди меня, не жди!
Ночь слишком хороша, чтоб я провел с тобою
Часы, когда душе простора нет в груди;

Когда сама душа — сама душа не знает,
Какой любви, каких еще чудес
Просить или желать — но просит — но желает —
Но молится пред образом небес.

И чувствует, что уголок твой душен,
Что не тебе моим моленьям отвечать,—
Не жди! — я в эту ночь к соблазнам
равнодушен —
Я в эту ночь к тебе не буду ревновать.

⟨1849⟩

---

[1] Авлабар — часть города Тифлиса. *(Примеч. Я. П. Полонского.)*
[2] Сазандар — певец. *(Примеч. Я. П. Полонского.)*
[3] Саллалаки — юго-западная часть Тифлиса. *(Примеч. Я. П. Полонского.)*
[4] Личак — головной убор грузинки в виде длинной вуали, обыкновенно откинутой назад. *(Примеч. Я. П. Полонского.)*

КАХЕТИНЦУ [1]

Я знаю, там, за вашими горами,
По старине, в саду, в тени кудрявых лоз,
Ты любишь пить с веселыми гостями,
И уставлять ковры букетами из роз!

И весело тебе, когда рабы сбирают
Ваш виноград — когда по целым дням
В давильнях толкотня — и мутные стекают
Струи вина, журча по длинным желобам...

Ты любишь пулями встречать гостей незваных —
Лезгин, из ближних гор забравшихся в сады,
И любишь гарцевать, когда толпой на рьяных
Конях спешите вы на пир в Аллаверды.

И весело тебе, что твой кинжал с насечкой,
Что меткое ружье в оправе дорогой —
И что твой конь звенит серебряной уздечкой,
Когда он ржет и пляшет под тобой.

И любишь ты встречать, неведомый доныне,
В теплицах Севера воспитанный цветок;
Она [2] у вас теперь цветет в родной долине,
И не скрывается, чтоб каждый видеть мог,

Чтоб каждый мог забыть, смотря с благоговеньем
На кроткие небесные черты,
И праздность — и вино с его самозабвеньем —
И месть — и ненависть — и буйные мечты.

⟨1849⟩

АГБАР

1

Крадется ночью татарин Агбар
К сакле, заснувшей под тенью чинар.

---

[1] Князю Д. А. Чавчавадзе, брату Н. А. Грибоедовой. *(Примеч. Я. П. Полонского.)*

[2] Княгиня А. И. Чавчавадзе, урожденная княжна Грузинская. *(Примеч. Я. П. Полонского.)*

Вот миновал он колючий плетень;
Видит, на сакле колышется тень.

Как не узнать ему,— даром что ночь,
Как не узнать Агаларову дочь![1]

Мрачно.— В ауле огней не видать;
Лютые псы перестали ворчать.

Ясные звезды потупили взор —
Слушают звезды ночной разговор.

«Солнце мое! — стал Агбар говорить.—
Я за тебя рад себя погубить!»

«Что ж ты! зачем не украдешь меня?»
«Рад бы укра⟨сть⟩ я,— да нету коня...

Завтра пошлю я к отцу твоему,
Бедный калым[2] предложу я ему.

Двадцать последних монет серебра,
Пару волов, два узорных ковра...»

«Тише!.. Прощай!» — И во мраке чинар
Скрылся проворный татарин Агбар.

2

Солнце печет темя каменных гор.
Голову клонит на мягкий ковер

И отдыхает под тенью чинар
В шапке косматой старик Агалар.

Неподалеку, в закрытых сенях,
Жены мотают шелки на станках.

Возле на камне старуха сидит,
Сдвинула брови и в землю глядит.

---

[1] Агалары — татары-помещики. (*Примеч. Я. П. Полонского.*)
[2] Калым — подарки жениха отцу невесты. (*Примеч. Я. П. Полонского.*)

«Пару волов? У меня тридцать пар!
Что мне волы! — говорит Агалар.—

Мало ли есть у князей табунов!
Мало ли там дорогих жеребцов!

Пусть уведет он, хоть в эту же ночь,
Пару коней — я отдам ему дочь.

Знаю, недавно проехал в Ганжу [1]
Русский чиновник, а кто — не скажу.

Есть у него дорогое ружье...
Если ружье это будет мое,

Если украдет хоть в эту же ночь,
Пусть принесет — я отдам ему дочь.

Мало того, есть купец армянин...
Деньги везет,— едет сдуру один...»

И, усмехнувшись, лукавый старик
Начал дремать — головою поник.

Встала старуха, накрылась чадрой
И поплелась потихоньку домой.

3

Светит луна, как далекий пожар;
Ветер качает вершины чинар;

Листья чинар беспокойно шумят;
Лютые псы у соседа ворчат.

Вновь на свиданье Агбар удалой
Крадется к сакле знакомой тропой.

Жаркое сердце забилось в груди —
Кто мог шепнуть ей: красавица, жди!

Ясные звезды потупили взор —
Слушают звезды ночной разговор:

---

[1] Ганжа — гор. Елисаветполь. *(Примеч. Я. П. Полонского.)*

«Где пропадал ты, возлюбленный мой!»
«Я не пропал — я пришел за тобой».

«Каждую ночь я ходила сюда...
Милый! — скажи мне — какая беда?»

«В эту неделю украл я коня;
Добрый товарищ нас ждет у плетня;

В эту неделю украл я ружье;
Да не в ружье все богатство мое!

Им я убил армянина купца...
Деньги достал по совету отца.

Им и отца я убью в эту ночь,
Если украсть помешает мне дочь...»

⟨1849⟩

В ИМЕРЕТИИ

Риона шум и леса тень,
Плющ, виноград и цвет граната,
Прохладный ключ и знойный день,
И воздух, полный аромата,
Кругом лесистые холмы,
Хребты, покрытые снегами,—
Надолго ль встретилися мы?
Надолго ль я останусь с вами?

Или, как мимолетный сон,
Мелькнули вы передо мною —
И мне уже определен
Безвестный путь... или судьбою
Мне будет снова суждено
Сюда надолго возвратиться —
И тем, что временно дано,
Уже навеки насладиться?

И не того бы я хотел...
На лоне матери-природы
В труде разумном бы провел
Я увядающие годы,

И здесь иные семена,
Иные мысли б я посеял;
Тебя бы, дивная страна,
В уме и сердце я лелеял!

Когда же под безвестный кров
Взойдет земляк с страны родимой —
Его б в тени моих садов
Встречал я мыслию любимой;
Я б говорил: иди сюда —
Взгляни, как радостно слиянье
Природы дивной и труда
Без угнетенья и страданья!

Кутаис. Мая 23. 1850

ИМЕРЕТИН

О! было время, труд полезный
Имеретин позабывал.
Меняя плуг и серп железный
На ружья, шашку и кинжал.

Вражда стучалась в наши двери,
Мы прятались куда кто мог,
Иль, кровожадные, как звери,
Шли на врага, взведя курок.

Костры сигнал нам подавали:
По высотам сторожевым
Мы ночью зарева искали,
А днем разглядывали дым.

Нас ночью глушь лесов пугала;
На страже сидя у дверей,
Мы принимали плач шакала
За плач украденных детей.

Как часто ветра шум привольный,
Треск сучьев, лошадиный топ
Меня бросал то в жар невольный,
То в лихорадочный озноб.

В ножи играли дети наши
И бегали обнажены,
И, дна не видя горькой чаши,
Не ждали мы конца войны.

И равнодушно мы сносили
Наш плен и наш позор, когда
Красавиц наших уводили
На трапезонтские суда.

Мы знали, дома ждал их голод;
Мы знали, брачную постель
Их замела бы в зимний холод
Неугомонная метель.

Жилища наши стали бедны,
И обеднели алтари,
Где перед битвами молебны
Служили некогда цари.

Но, закаленные бедами,
Не закалили мы сердец.
Как над младенцами, над нами
Небесный сжалился отец.

Потухло зарево пожаров,
Угомонилася вражда;
Пленно-продавцев янычаров
Исчезли грозные суда.

Единоверному народу
Вручили мы свою судьбу,
Он дал нам полную свободу
Начать бескровную борьбу —

Борьбу с сохой, борьбу с лопатой,
С шелкомотальным колесом...
И стал богат наш дом дощатый
Мотками шелку и вином.

Рубли в карманах завелися,
Висят замки на сундуках,
И с песнями до Кутаиса
Мы русских возим в каюка́х.

⟨1850⟩

НАД РАЗВАЛИНАМИ В ИМЕРЕТИИ

Когда на листья винограда
Слетала влажная прохлада
С недосягаемых вершин;
Когда вечерний звон Гелата
В румяных сумерках заката,
Смутив пустыни грустный сон,
Перелетал через Рион,—
Здесь на кладбищах, позабытых
Потомством, посреди долин,
Во мгле плющами перевитых
Каштанов, лавров и раин [1],
Мне снился рой теней, покрытых
Струями крови, пылью битв,—
Мужей и жен, душой сгоревших
В страстях — и в небо улетевших,
Как дым, без мысли и молитв...
Но тщетно посреди видений
Мой ум наставника искал:
В их тесноте народный гений
Лучом бессмертья не сиял!

И проносился рой духов,
Как бы ища своих следов,
Над прахом тел, давно истлевших,
Под грудами не уцелевших
Соборов, башен и дворцов.

В устах, для мира охладевших,
На все звучал один ответ:
«Здесь было царство — царство пало...
Мы жили здесь — и нас не стало...
Но не скорби о нас, поэт!
Мы пили в жизни полной чашей;
Но вам из гроба своего,
В усладу бедной жизни вашей,
Не завещали ничего!..»

И пронеслись... Но сквозь туманы
Протекших лет передо мной
Неотразимой красотой

---

[1] Раина — дерево. (*Примеч. Я. П. Полонского.*)

Мелькает образ Дареджаны...[1]
В ее глазах — любовь и мгла,
Тоска на мраморе чела,
В груди огонь желаний скрытых —
И возмутительных страстей
Зараза — и коварный змей
В улыбке уст полураскрытых.

1850 (Кутаис)

СТАРЫЙ САЗАНДАР[2]

Земли, полуднем раскаленной,
Не освежила ночи мгла.
Заснул Тифлис многобалконный;
Гора темна, луна тепла...

Кура шумит, толкаясь в темный
Обрыв скалы живой волной...
На той скале есть домик скромный,
С крыльцом над самой крутизной.

Там, никого не потревожа,
Я разостлать могу ковер,
Там целый день, спокойно лежа,
Могу смотреть на цепи гор:

Гор не видать — вся даль одета
Лиловой мглой; лишь мост висит,
Чернеет башня минарета,
Да тополь в воздухе дрожит.

Хозяин мой хоть брови хмурит,
А, право, рад, что я в гостях...
Я все молчу, а он все курит,
На лоб надвинувши папах.

---

[1] Дареджана — дочь индийского царя, воспетая грузинским поэтом Шота Руставелем в его поэме «Барсова кожа». Некоторые думают, что Шота Руставель под именем Дареджаны воспевает царицу Тамару. *(Примеч. Я. П. Полонского.)*

[2] Сазандар — певец. *(Примеч. Я. П. Полонского.)*

Усы седые, взгляд сердитый,
Суровый вид, но песен жар
Еще таит в груди разбитой
Мой престарелый сазандар.

Вот, медных струн перстом касаясь,
Поет он, словно песнь его
Способна, дико оживляясь,
Быть эхом сердца моего!

«Молись, кунак[1], чтоб дух твой крепнул;
Не плачь; пока весь этот мир
И не оглох и не ослепнул,
Ты званый гость на божий пир.

Пока у нас довольно хлеба
И есть еще кувшин вина,
Не раздражай слезами неба
И знай — тоска твоя грешна.

Гляди — еще цела за нами
Та сакля, где тому назад
Полвека жадными глазами
Ловил я сердцу милый взгляд.

Тогда мне мир казался тесен;
Я умирал, когда не мог
На празднике,— во имя песен,
Переступить ее порог.

Вот с этой старою чингури[2]
При ней, бывало, на дворе
Я пел, как птица после бури
Хвалебный гимн поет заре.

Теперь я стар; она — далеко!
И где? — не ведаю; но верь,
Что дальше той, о ком глубоко
Ты, может быть, грустишь теперь...

---

[1] Кунак — друг, приятель, кум. *(Примеч. Я. П. Полонского.)*
[2] Чингури — струнный инструмент. *(Примеч. Я. П. Полонского.)*

Твое мученье — за горами,
Твоя любовь — в родном краю;
Моя — над этими звездами
У бога ждет меня в раю!»

И вновь молчит старик угрюмый;
На край лохматого ковра
Склонясь, он внемлет с важной думой,
Как под скалой шумит Кура.

Ему былое время снится...
А мне?.. Я не скажу ему,
Что сердце гостя не стремится
За эти горы ни к кому;

Что мне в огромном этом мире
Невесело; что, может быть,
Я лишний гость на этом пире,
Где собралися есть и пить;

Что песен дар меня тревожит,
А песням некому внимать,
И что на старости, быть может,
Меня в раю не будут ждать!

1850 (?)

КАЧКА В БУРЮ

(Посв. М. Л. Михайлову)

Гром и шум. Корабль качает;
Море темное кипит;
Ветер парус обрывает
И в снастях свистит.

Помрачился свод небесный,
И, вверяясь кораблю,
Я дремлю в каюте тесной...
Закачало — сплю.

Вижу я во сне: качает
Няня колыбель мою
И тихонько запевает —
«Баюшки-баю!»

Свет лампады на подушках;
На гардинах свет луны...
О каких-то все игрушках
Золотые сны.

Просыпаюсь... Что случилось?
Что такое? Новый шквал? —
«Плохо — стеньга обломилась,
Рулевой упал».

Что же делать? что могу я?
И, вверяясь кораблю,
Вновь я лег, и вновь дремлю я...
Закачало — сплю.

Снится мне: я свеж и молод.
Я влюблен, мечты кипят...
От зари роскошный холод
Проникает в сад.

Скоро ночь — темнеют ели...
Слышу ласково-живой,
Тихий лепет: «На качели
Сядем, милый мой!»

Стан ее полувоздушный
Обвила моя рука,
И качается послушно
Зыбкая доска...

Просыпаюсь... Что случилось? —
«Руль оторван; через нос
Вдоль волна перекатилась,
Унесен матрос!»

Что же делать? Будь что будет!
В руки бога отдаюсь:
Если смерть меня разбудит —
Я не здесь проснусь.

Пароход «Тамань»
Сентябрь 1850

НОЧЬ НА ВОСТОЧНОМ БЕРЕГУ ЧЕРНОГО МОРЯ

Чу! — выстрел — встань! Быть может, нападенье...
Не разбудить ли казаков?..
Быть может, пароход заходит в укрепленье
Подать письмо с родимых берегов.
Открой окно! — Ни зги! Желанных парусов
Кто в эту ночь увидит приближенье?
Луну заволокла громада облоков.—
Не гром ли? — Нет — не гром — игра воображенья.
— Зачем проснулись мы, увы, кто скажет нам!
Одни валы шумят и плачут без ответа...

Так часто, в наши дни, в немой душе поэта
Проходят образы, незримые очам,
Но вожделенные — подобно парусам,
Идущим в пристань до рассвета.

Пароход «Тамань». 1850 года

НОЧЬ

Отчего я люблю тебя, светлая ночь,—
Так люблю, что страдая любуюсь тобой!
И за что я люблю тебя, тихая ночь!
Ты не мне, ты другим посылаешь покой!..

Чтó мне звезды — луна — небосклон — облака —
Этот свет, что, скользя на холодный гранит,
Превращает в алмазы росинки цветка,
И, как путь золотой, через море бежит?
Ночь! — за что мне любить твой серебряный свет!
Усладит ли он горечь скрываемых слез,
Даст ли жадному сердцу желанный ответ,
Разрешит ли сомненья тяжелый вопрос!

Что мне сумрак холмов — трепет сонных листов —
Моря темного вечно-шумящий прибой —
Голоса насекомых во мраке садов —
Гармонический говор струи ключевой?
Ночь! — за что мне любить твой таинственный шум!
Освежит ли он знойную бездну души,
Заглушит ли он бурю мятежную дум —
Все, что жарче впотьмах и слышнее в тиши!

Сам не знаю, за что я люблю тебя, ночь,—
Так люблю, что страдая любуюсь тобой!
Сам не знаю, за что я люблю тебя, ночь,—
Оттого, может быть, что далек мой покой! —

30 августа 1850
Массандра, на южном берегу Крыма

* * *

Не мои ли страсти
Поднимают бурю?
С бурями бороться
Не в моей ли власти?

Пронеслася буря —
И дождем и градом
Пролилася туча
Над зеленым садом.

Боже! на листочках
Облетевшей розы
Как алмазы блещут
Не мои ли слезы?

Или у природы,
Как у сердца в жизни,
Есть своя улыбка
И свои невзгоды?

1850

САТАР [1]

Сатар! Сатар! твой плач гортанный —
Рыдающий, глухой, молящий, дикий крик —
Под звуки чианур и трели барабанной
Мне сердце растерзал и в душу мне проник.

Не знаю, что́ поешь, я слов не понимаю;
Я с детства к музыке привык совсем иной;

[1] Сатар — имя известного в Тифлисе персидского певца. (*Примеч. Я. П. Полонского.*)

Но ты поешь всю ночь на кровле земляной,
И весь Тифлис молчит — и я тебе внимаю,
Как будто издали, с востока, брат больной
Через тебя мне шлет упрек иль ропот свой.

Не знаю, что́ поешь — быть может, песнь Кярама,
Того певца любви, кого сожгла любовь;
Быть может, к мести ты взываешь — кровь за кровь,—
Быть может, славишь ты кровавый меч Ислама —
Те дни, когда пред ним дрожали тьмы рабов...
Не знаю,— слышу вопль — и мне не нужно слов!

1851

САЯТ-НОВА [1]

Много песков поглощают моря, унося их волнами,
Но берега их сыпучими вечно покрыты песками.

Много и пе́сен умчит навсегда невозвратное время —
Новые встанут певцы, и услышит их новое племя.

Если погибну я, знаю, что мир мои песни забудет;
Но для тебя, нежный друг мой, другого певца уж не будет.

Если погибну я, знаю, что свет не заметит утраты;
Ты только вспомнишь те песни, под звуки которых цвела ты.

Я просветил твое сердце — а ты, ты мой ум помрачила;
Я улыбаться учил — а ты плакать меня научила.
Так, если смолкну я, страстно любя тебя, друг благородный,
Где — разреши мне последний вопрос мой,— где будет холодный
Прах мой покоиться? там ли — в далеких пределах чужбины;
Здесь ли, в саду у тебя, близ тебя, под навесом раины?..

1851

[1] Саят-Нова — аноним одного из армянских певцов прошлого столетия. (*Примеч. Я. П. Полонского.*)

ТАМАРА И ПЕВЕЦ ЕЕ ШОТА РУСТАВЕЛЬ

В Замке Роз [1], под зеленою сенью плющей,
В диадеме, на троне Тамара сидит.
На мосту слышен топот коней;
Над воротами сторож трубит;
И толпа ей покорных князей
Собирается к ней.

О внезапной войне им она говорит —
О грозе, что с востока идет,
И на битву их шлет,
И ответа их ждет,
И как солнце красою блестит.
Молодые вожди, завернув в башлыки
Свои медные шлемы,— стоят —
И внимают тому, что отцы старики
Ей в ответ говорят.

В их толпе лишь один не похож на других —
И зачем во дворец,
В византийской одежде, мечтательно-тих,
В это время явился певец?

Не царицу Иверии в сонме князей,
Божество красоты молча видит он в ней —
Каждый звук ее голоса в нем
Разливается жгучим огнем,
Каждый взгляд ее темных очей
Зарождает в нем тысячу змей,
И — восторженный — думает он:
Не роскошный ли видит он сон...
И какой нужно голос иметь,
Чтоб Тамару воспеть?..

Вдохновенным молчаньем своим
Показался он странен другим.
И упал на него испытующий взгляд,
И насмешки мучительный яд
В его сердце проник — и, любовью палим
И тоскою томим,
Из дворца удалиться он рад.

---

[1] Замок Роз — по-грузински Вардис-цихе — развалины его невдалеке от Кутаиса. *(Примеч. Я. П. Полонского.)*

Отпустили толпу; — сторож громко трубит; —
На мосту слышен топот копыт;
На окрестных горах зажжены
Роковые сигналы войны —
И гонцы, улетая на борзых конях,
Исчезают в окрестных горах...

С грустной думой Тамара на троне сидит —
Не снимает Тамара венца,—
Провожает глазами толпу — и велит
Воротить молодого певца.

И послышался царственный голос жены:
«Руставель! Руставель! ты один из мужей
Родился не в защиту страны:
Кто не любит войны —
Не являйся мне в сонме князей.
Но ты любишь дела и победы мои:
Я готова тебя при дворе принимать.
Меньше пой о любви —

О безумной любви — и тебя награждать
Я готова за песни твои».
И, бледнея, поник Руставель головой
Перед гордой царицей обширных земель.
И, смутившись душой,
Как безумец, собой
Не владея, сказал Руставель:

«О царица! чтоб не был я в сонме князей,
Навсегда удалиться ты мне повели —
Все равно! — образ твой
Унесу я с собой
До последних пределов земли.
Буду петь про любовь — ты не станешь внимать —
Но клянусь! — на возвышенный голос любви
Звезды будут лучами играть,
И пустыня, как нежная мать,
Мне раскроет объятья свои!

Удаляюсь — прости! Без обидных наград
Довершу я созданье мое:
Но его затвердят
Внуки наших внучат —
Да прославится имя твое!»

12 февраля 1851

КН. С. А. Г—НОЙ

У нее, как у гитаны,
Взгляд как молния блестит;
Как у польской резвой панны,
Голос ласково звучит;
Как у юноши от раны,
Томен цвет ее ланит.

Есть возможность не влюбиться
В красоту ее очей,
Есть возможность не смутиться
От приветливых речей.
Но других любить решиться
Нет возможности при ней.

5 марта 1851

ВЫБОР УСТА-БАША[1]

Базары спят... Едва взошла
Передрассветная денница.—
И что за шум на той горе!
Тифлисских нищих на заре
Куда плетется вереница?

Как будто на церковный звон
Слепца ведет его вожатый,
Как будто свадьбы ждать богатой,
Или богатых похорон
К монастырю бредут босые
В косматых шапках старики,
Сложить на камни гробовые
Свои порожние мешки.
Не за копеечной добычей —
Чтоб завести иной обычай,
К монастырю, на этот раз,
Ватага нищих собралась.
Иная мучит их забота:
Забыв про медные гроши,
Они шумят: «Вай, вай! кого-то
Мы изберем в уста-баши!..»

---

[1] **Уста-баш** — то же, что голова или старшина. (*Примеч. Я. П. Полонского.*)

Восстав от сна, Тифлис хохочет
Над их оборванной толпой;
Прослыть в народе головой
У нищих каждый нищий хочет,—
Бранятся, спорят и шумят...

Один Гито, в дырявой шапке,
Прикрыв от ветра и дождей
Узлами обветшалой тряпки
Загар нагих своих плечей,
Стоит, свой посох упирая
В заржавый мох могильных плит,
И, грустно говору внимая,
Молчанье мертвое хранит.

«Гито, Гито! скажи хоть слово...
И будь над нами уста-баш!..»
«Нет, братья! — молвил он сурово.—
Спасибо вам за выбор ваш.

Пусть выбор наш решает счастье:
Я укажу вам дом один,
Где вечно мрачный, как ненастье,
Живет богатый армянин.
Как мы, такой же бессемейный,
Похоронив недавно дочь,
Живет он жизнию келейной,
Считает деньги день и ночь.
Кто, братья, к празднику Христову,
Во имя божеских наград,
Хоть пол-абаза на обнову
Своих изорванных заплат
У скряги выплачет,— недаром,
Как самый счастливый из нас,
Он будет править всем амкаром [1],
И я послушаюся вас!»
И все в ответ сказали разом:
«Быть по совету твоему!
Навел ты нас на путь, на разум!»
И каждый взял свою суму...
Совет Гито пропал недаром;
Богатый армянин живет

[1] Амкар — община, в состав которой входят ремесленники, торговцы и другие. (*Примеч. Я. П. Полонского.*)

И до сего дня за базаром,
Гоняя нищих от ворот.—
Гито улегся на кладбище...
И вот, прошло уж много лет
С тех пор... Вай, вай! у братьи нищей
Уста-баши все нет как нет!..

1851

КАРАВАН

(Отрывок из восточной повести)

1

Какая ночь — не ночь, а рай!
Ночные звезды искры мечут.
Вставай, привратник, отворяй
Ворота в караван-сарай:
В горах бубенчики лепечут.

2

Луна светла, как трон аллы.
Как тени длинные, шагают
Верблюды по краям скалы;
На них ружейные стволы
То пропадают, то мелькают.

3

Вдали развалина стоит,
В туман серебряный повита.
Внизу клокочет и бежит
Ручей по склону черных плит,—
По дну ручья стучат копыта.

4

То едет сам Тамур-Гассан
В тени дремучего оврага.
И вот, к луке нагнув свой стан,
Он в гору скачет, как шайтан.
Куда, герой? куда, бродяга?

5

Поводья брошены — висят;
Ружье в чехле; подобно звеньям
Стальным, бренчит его булат;
Порывист конь, стуча скользят
Его копыта по каменьям.

6

Суровый всадник горд и смел.
Откуда и куда он скачет?
Что́ он, как хан разбогател?
Или нажиться не успел —
И жизнь по-прежнему маячит?

7

Вставай, привратник, отворяй
Ворота в караван-сарай!
Готовь ночлег для каравана,
И в гости жди, и угощай
Разбойника Тамур-Гассана!

8

Далеко слух идет о нем!
Тамур-Гассану нипочем
Отбить быков, связать чабана [1].
Рука с нацеленным ружьем
Дрожит при имени Гассана.

9

Он может пулей влет пронзить
Орла; клыкастому кабану
Свиную морду раскроить.
Влететь в табун, коня скрутить
И покорить его аркану.

[1] Чабан — пастух. *(Примеч. Я. П. Полонского.)*

10

Широк руки его размах...
Как лев, взмахнув косматой гривой,
Храпит и, с пеной на губах,
Напрасно в двадцати шагах
Из петли рвется конь ретивый —

11

Как раз могучая рука
Смирит порыв его свободный,
И будет гнать его, пока
Следа копыт его река
Не захлестнет волной холодной.

12

На черте — а не на коне —
Гассан везде поспел; в огне
Он не горит, в воде не тонет;
Задумает о табуне —
Табун его — как раз угонит.

13

Он подползет к нему, как змей,
В дыму вечернего тумана,
С двумя из опытных друзей.
Он выстрелом спугнет коней,
Пасущихся среди бурьяна.

14

Вперед помчится и свистит —
И вот, гонимый слева, справа,
Табун, шарахнувшись, летит,
Летит, как буря — степь дрожит...
Пропал табун — Гассану слава.

15

Молва недаром бережет
Его от пули и булата;
Он в двух империях живет
И с каждой в дань себе берет
Коней, оружие и злато.

16

Всем жутко от его проказ
От Каменки[1] до Арарата;
И сам слыхал я, как не раз
Давали казакам наказ:
«Словить его, связать, ребята!»

17

Хотя, конечно, весть о нем
Не доходила до султана;
Но... дорого была в одном
Ауле мстительным купцом
Оценена башка Гассана...

18

Давно завидя караван,
Его догнал Тамур-Гассан,
И вслед за ним поехал шагом,
И долго он пугал армян,
Пока не скрылся за оврагом.

19

Идет верблюдов длинный ряд,
Раздулись ноздри их, глотают
Окрестных рощей аромат;
На их горбах ковры висят,
Шесты торчат, стволы мелькают.

---

[1] Каменка — военное поселение. *(Примеч. Я. П. Полонского.)*

20

Весь караван вооружен;
Разбой он выстрелами встретит.
А где ж Гассан?! — Эге! уж он
На той горе, где разложен
Костер, как жертвенник, и светит.

21

Гассан узнал родимый край...
Он шепчет тексты из Корана.
Вставай, хозяин, отворяй
Ворота в караван-сарай!
Меджид, встречай Тамур-Гассана!

22

Меджид выходит из ворот;
Не суетится, не хлопочет;
Он гостя втайне узнает,
И руку на сердце кладет,
И, опустив глаза, бормочет:

23

«Аллас-алла! слезай с коня:
Его сведем мы к водопою,
Ему насыплем ячменя;
А ты у мирного огня
Свою главу склони к покою.

24

Костер мой сердце веселит;
Моя старуха плов сварит...»
Гассан ему в ответ: «Попоной
Накрой коня, возьми! Я сыт...»
И сел на бурке запыленной —

25

Сел и ослабил пояс свой,
И рукава назад откинул,
И стал вертеть перед собой
Кинжал с насечкой золотой,
Потом в ножны его задвинул.

26

Не так ли иногда вертит
Ребенок куклой расписною!
Ее заботливо хранит,
Тихонько с нею говорит
И даже спать кладет с собою.

27

Тамур нередко был душой
Далек от подвигов злодейских,
Но там, где дрябл закон немой,
Там, где народ привык разбой
Считать не хуже дел судейских,—

28

Там часто, местию горя,
Вдруг из ребенка-дикаря
Наездник грозный вырастает —
И что же? — песнь сазандаря
Его отвагу прославляет!

29

И он везде найдет друзей,
Под кровом каждого аула,
И не боится он цепей...
Все берегут его; злодей
Нигде не спит без караула.

30

В народе знают, что Гассан
Хоть и в горах живет скитальцем,
Сам по себе такой же хан,
Возьмет червонцы у армян,
Но бедняка не тронет пальцем.

31

Даст богомольцу золотой
И с богом в путь его проводит.
И вот, в умах толпы слепой
Он — то разбойник, то святой,
То дух, который всюду бродит.

32

Молчанье робкое храня,
Меджид по сумрачной площадке
Повел Гассанова коня,
И конь, уздечкою звеня,
Плодил в уме его догадки.

33

«Узнал ли ты меня?» — спросил
Его Гассан, скрестивши руки.
И лик его спокоен был,
И тих был голос, но таил
В себе магические звуки.

34

И бледен стал Меджид седой.
«Ты гость мой: за тебя я душу
Готов отдать, клянусь аллой! —
Шептал Меджид.— Изменой злой
Гостеприимства не нарушу!

35

Тебя не выдам никому:
Глух буду — нем!.. клянусь пророком!
Доверься слову моему!»
И стал Гассан смотреть ему
В глаза спокойно-зорким оком.

36

И молвил: «Вспомни! прошлый год
Тебя едва я не повесил...
Но, слушай,— караван идет...
Мне в эту ночь его дает
Судьба — он мой! молчи, будь весел!..»

37

Луна по-прежнему была
Светла, как лампа, и лила
Свой свет на каменные груды —
И ночь была, как день, светла —
И шли — все ближе шли верблюды...

1851 (?)

НА ПУТИ ИЗ-ЗА КАВКАЗА

I

Неприступный, горами заставленный,
Ты, Кавказ, наш воинственный край,—
Ты, наш город Тифлис знойно-каменный,
Светлой Грузии солнце, прощай!

Душу, к битвам житейским готовую,
Я за снежный несу перевал,
Я Казбек миновал, я Крестовую
Миновал — недалеко Дарьял.

Слышу Терека волны тревожные
В мутной пене по камням шумят —
Колокольчик звенит — и надежные
Кони юношу к северу мчат.

Выси гор, в облака погруженные,
Расступитесь! — приволье станиц —
Расстилаются степи зеленые —
Я простору не вижу границ.

И душа на простор вырывается
Из-под власти кавказских громад —
Колокольчик звенит-заливается...
Кони юношу к северу мчат.

Погоняй! гаснет день за курганами,
С вышек молча глядят казаки —
Красный месяц встает за туманами,
Недалеко дрожат огоньки —

В стороне слышу карканье ворона —
Различаю впотьмах труп коня —
Погоняй, погоняй! тень Печорина
По следам догоняет меня...

II

Ты, с которой так много страдания
Терпеливо я прожил душой,
Без надежды на мир и свидание
Навсегда я простился с тобой.

Но боюсь — если путь мой протянется —
Из родимых полей в край чужой —
Одинокое сердце оглянется
И сожмется знакомой тоской.—

Вспомнит домик твой — дворик, увешанный
Виноградными лозами — тень,—
Где, твоим лепетаньем утешенный,
Я вдавался в беспечную лень.

Вспомнит роз аромат над канавою,
Бубна звон в поздний вечера час,
Твой личак — и улыбку лукавую,
И огонь соблазняющих глаз.

Все, что было обманом, изменою,
Что лежало на мне словно цепь,
Все исчезло из памяти с пеною
Горных рек, вытекающих в степь.

10 июня 1851

ВРЕМЕНИ

Зачем до сей поры тебя изображают
С седыми прядями на сморщенных висках,
Тогда как у тебя на юных раменах
Лишь только крылья отрастают?
О время, пестун наш! — на слабых помочах
Ты к истине ведешь людей слепое племя
И в бездну вечности роняешь их, как бремя,
И бремя новое выносишь на плечах.
Счастливый грек тебя, как смерти, ужасался,
Он в руки дал тебе песочные часы,
Косой вооружил и в страхе повергался
Пред лезвием твоей сверкающей косы.

А мы, среди своих попыток и усилий
Склонив перед тобой бесславное чело,
Твердим: когда-нибудь, авось, погибнет зло
От веянья твоих неслышно-мощных крылий!
Лети скорей, крылатое, скорей!
Нам в душу новыми надеждами повей!
Иль уж губи всех тех, которым ты пророчишь
Один бесплодный путь, и делай все, что хочешь!
Скорей мое чело морщинами изрой
И выветри скорей с лица румянец мой
И обреки меня холодному забвенью...
Что за беда! Другому поколенью
Ты наши лучшие надежды передашь,
Твердя ему в урок удел печальный наш.
Своекорыстие — и все, что сердце губит,
Невежество — и все, что гасит ум,
Мне беспрестанно в уши трубит:
«Живи без чувства и без дум!»
Вполне постигли мы бесплодные стремленья
К добру, к отрадному сочувствию людей.
И, выстрадав одно лишь право на презренье,
Мы говорим в порыве нетерпенья:
«О время! улетай скорей!»

Ноябрь 1851

* * *

Когда я слышу твой певучий голосок,
Дитя, мне кажется, залетный ветерок
Несет ко мне родной долины звуки,
Шум рощи, колокол знакомого села
И голос той, которая звала
Меня проститься с ней в последний час разлуки.

1851

РЫБАК

Вольный перевод из Гете

(Посв. А. Н. Майкову)

Волна бежит, шумит, колышет
Едва заметный поплавок.
Рыбак поник и жадно дышит
Прохладой, глядя на поток.
В нем сердце сладко замирает —
Он видит: женщина из вод,
Их рассекая, выплывает
Вся на поверхность и поет —

Поет с тоскою беспокойной:
«Зачем народ ты вольный мой
Манишь из волн на берег знойный
Приманкой хитрости людской?
Ах, если б знал ты, как привольно
Быть рыбкой в холоде речном!
Ты б не остался добровольно
С холма следить за поплавком.

Светила любят, над морями
Склонясь, уйти в пучину вод;
Их, надышавшихся волнами,
Не лучезарней ли восход?
Не ярче ли лазурь трепещет
На персях шепчущей волны?
Ты сам — гляди, как лик твой блещет
В прохладе ясной глубины!»

Волна бежит, шумит, сверкает,
Рыбак поник над глубиной:
Невольный жар овладевает
В нем замирающей душой.
Она поет — рыбак несмело
Скользит к воде; его нога
Ушла в поток... Волна вскипела,
И — опустели берега.

⟨1852⟩

ФИНСКИЙ БЕРЕГ

(Посв. М. Е. Кублицкому)

Лес да волны — берег дикий,
А у моря домик бедный.
Лес шумит; в сырые окна
Светит солнца призрак бледный.

Словно зверь голодный воя,
Ветер ставнями шатает.
А хозяйки дочь с усмешкой
Настежь двери отворяет.

Я за ней слежу глазами,
Говорю с упреком: «Где ты
Пропадала? Сядь хоть нынче
Доплетать свои браслеты!»[1]

И, окошко протирая
Рукавом своим суконным,
Говорит она лениво
Тихим голосом и сонным:

«Для чего плести браслеты?
Господину не в охоту
Ехать морем к утру, в город,
Продавать мою работу!»

---

[1] В Финляндии девушки простого класса плетут из волос цепочки шнурки, браслеты и продают их проезжающим. *(Примеч. Я. П. Полонского.)*

«А скажи-ка, помнишь, ночью,
Как погода бушевала,
Из сеней укравши весла,
Ты куда от нас пропала?

В эту пору над заливом
Что мелькало? не платок ли?
И зачем, когда вернулась,
Башмаки твои подмокли?»

Равнодушно дочь хозяйки
Обернулась и сказала:
«Как не помнить! Я на остров
В эту ночь ладью гоняла...

И сосед меня на камне
Ждал, а ночь была лихая,—
Там ему был нужен хворост,
И ему его свезла я,—

На мысу в ночную бурю
Там костер горит и светит;
А зачем костер? — на это
Каждый вам рыбак ответит...»

Пристыженный, стал я думать,
Грустно голову понуря:
Там, где любят помогая,
Там сердца сближает буря...

1852. Пароход «Гелламо»

ВЕСНА

Воротилась весна, воротилась!
Под окном я встречаю весну.
Просыпаются силы земные,
А усталого клонит ко сну.

И напрасно черемухи запах
Мне приносит ночной ветерок;
Я сижу и тружусь; сердце плачет,
А нужда задает мне урок.

Ты, любовь — праздной жизни подруга,—
Не сумела ужиться с трудом...
Со слезами со мной ты простилась —
И другим улыбнулась тайком...

⟨1853⟩

ПИСЬМО

Уж ночь. Я к ней пишу. Окно отворено;
Шум городской затих; над лампой мошки вьются.
Встаю — гашу огонь; хожу — гляжу в окно:
Как низко облака над кровлями несутся!
От этих облаков не будет и следа
В час утра — а моей любви живые грезы,
Задумчивой любви привет, слова и слезы
Еще из-под пера не улетят... О да!
Пусть буря в эту ночь промчится; пусть потоки
Дождя всю ночь шумят и брызжут на гранит,—
Заветного письма ни буря не умчит,
Ни дождь не смоет эти строки.
Среди невежд она свои проводит дни,
Среди степных невежд... Пропустят ли они
Нераспечатанным мое письмо к ней в руки?
Не осмеют ли каждую строку,
Где так невольно я высказывал тоску
Души, подавленной насилием разлуки?
Она сама что скажет? Изорвет
Мое письмо при всех, с притворною досадой,
Или, измяв его, потом тайком прочтет
И вспомнит обо мне с мучительной отрадой?..
Нужда — невежество — родные и — любовь!..
Какая злость порой мою волнует кровь!
Но ты молчи пока — молчи, мое посланье,
Чтоб за мое негодованье
Не отомстили ей тюремщики ее,
Ценители покорного страданья.

⟨1853⟩

ПЕСНЯ ЦЫГАНКИ

Мой костер в тумане светит;
Искры гаснут на лету...
Ночью нас никто не встретит;
Мы простимся на мосту.

Ночь пройдет — и спозаранок
В степь, далеко, милый мой,
Я уйду с толпой цыганок
За кибиткой кочевой.

На прощанье шаль с каймою
Ты на мне узлом стяни:
Как концы ее, с тобою
Мы сходились в эти дни.

Кто-то мне судьбу предскажет?
Кто-то завтра, сокол мой,
На груди моей развяжет
Узел, стянутый тобой?

Вспоминай, коли другая,
Друга милого любя,
Будет песни петь, играя
На коленях у тебя!

Мой костер в тумане светит;
Искры гаснут на лету...
Ночью нас никто не встретит;
Мы простимся на мосту.

1853 (?)

ВОСПОМИНАНИЕ

Как быстро пароход летел, рулю послушный;
Как тяжко колебал в волнах он грудь свою —
И как я долго ждал душой неравнодушной,
Чтоб отворилась дверь твоей каюты душной,
Чтоб ты взошла на ют и села на скамью.
Дул ветер; сизыми грядами
Катились волны; небеса
Пурпурными светились облаками;

Труба хрипела; дым клоками
Летел,— и ты с кормы глядела вместе с нами,
Как опускали паруса...

Я помню — ты была бледна, без покрывала;
Зловещая заря свой пламень отражала
В зрачках твоих глубоко-темных глаз...
Как вдруг ты на меня взглянула и сказала:
«Дай бог, чтоб буря поднялась!»
«Зачем?» — с невольным изумленьем
Тебя я шепотом спросил...
Но бог не внял твоим моленьям
И море в ночь угомонил.

Над палубой луна сияла так приветно —
Я лунный свет ловил на пальцах рук твоих...
И ночь бессонная промчалась незаметно
Под мерный стук движений паровых.
Ты намекала мне на ранние сомненья,
На повесть грустную непонятой любви.
На бесполезные стремленья,
И на потребность утешенья,
И на страдания свои.

Случайный друг, друг только для одной
Прекрасной ночи, голос твой
Еще мне памятен; но где ты, я не знаю.
Года умчали молодость мою,
В житейском море я один блуждаю —
То к мирной пристани гоню мою ладью,
То снова парус поднимаю.
Увижусь ли когда-нибудь с тобой?
Узнаю ли тебя среди толпы людской?
Напомню ли тебе о нашей встрече?
К чему напоминать!.. Те пламенные речи,
Те призраки, что увлекали нас,
Давно их нет! И я не раз,
Над жизнию смеяться вслух не смея,
Смеялся внутренно, воображая час,
Когда на палубе сказала ты, бледнея:
«Дай бог, чтоб буря поднялась!»

1853

* * *

Жизнь движется вперед походкою неровной;
Ее намеренья ужели ты постиг!
Чтоб высказать себя, жизнь ловит миг условный;
Ужели от тебя зависит этот миг?
Жизнь, терпеливая, привыкла к испытаньям —
Не ведает конца и не спешит к концу.
Поэт! Не верь ее тоскливым ожиданьям,
И верь с трудом ее веселому лицу.

1853

БРЕД

Твой светлый лик вчера являлся мне
В каком-то странном полусне.
Ты на меня смотрела с состраданьем,
Как будто перед расставаньем.

Лаская слух, звучал мне голос твой:
«Не умирай, о милый мой!
Не уноси с собой в поток забвенья
Твою любовь — твои стремленья.

Еще не все изведано тобой
Под этим солнцем и луной.
Ты погибал, в холодной тьме блуждая,—
Блуждал, любви моей не зная.

Дай сердце мне! Его я сберегу:
Здесь на земле я все могу...
Могу к труду твои направить руки,
Могу твои прославить муки.

Приди ко мне! Склонись на грудь мою!
Узнай, как я тебя люблю!..»
И в полусне, твоим речам внимая,
Я плакал, недоумевая...

Как счастия земного сон живой,
Ты, вся любовь, была со мной,
И нежные твои лобзал я руки —
И трепетал, боясь разлуки...

1853

ПОСЛЕДНИЙ ВЫВОД

(Посвящается А. Нов.....ву)

Первоначальных лет неясные стремленья,
И все, чему найти не мог я выраженья;
Безумной юности неосторожный пыл,
И все, чем сердце я навеки отравил;
Возвышенных надежд несбыточные грезы,
И та действительность, к которой я привык;
Смешным неверием осмеянные слезы,
И внутренней борьбы никем не слышный крик;
Все прежние мечты, все страсти, все желанья,
Все равнодушие к тому, чего уж нет,—
Все вместе, как одно всецелое страданье,
Могло б в сердцах людей найти себе ответ...
Но я не жду его, я не прошу ответа;
И все, что скажут мне, я знаю наперед:
«Мы так же, как и ты, похожи на Гамлета;
Ты так же, как и мы, немножко Дон Кихот».

1853

КОЛОКОЛЬЧИК

Улеглася метелица... путь озарен...
Ночь глядит миллионами тусклых очей...
Погружай меня в сон, колокольчика звон!
Выноси меня, тройка усталых коней!

Мутный дым облаков и холодная даль
Начинают яснеть; белый призрак луны
Смотрит в душу мою — и былую печаль
Наряжает в забытые сны.

То вдруг слышится мне — страстный голос поет,
С колокольчиком дружно звеня:
«Ах, когда-то, когда-то мой милый придет —
Отдохнуть на груди у меня!

У меня ли не жизнь!.. чуть заря на стекле
Начинает лучами с морозом играть,
Самовар мой кипит на дубовом столе,
И трещит моя печь, озаряя в угле,
За цветной занавеской кровать!..

У меня ли не жизнь!.. ночью ль ставень открыт,
По стене бродит месяца луч золотой,
Забушует ли вьюга — лампада горит,
И, когда я дремлю, мое сердце не спит
Все по нем изнывая тоской».

То вдруг слышится мне, тот же голос поет,
С колокольчиком грустно звеня:
«Где-то старый мой друг?.. Я боюсь, он войдет
И, ласкаясь, обнимет меня!

Что за жизнь у меня! и тесна, и темна,
И скучна моя горница; дует в окно.
За окошком растет только вишня одна,
Да и та за промерзлым стеклом не видна
И, быть может, погибла давно!..

Что за жизнь!.. полинял пестрый полога цвет,
Я больная брожу и не еду к родным,
Побранить меня некому — милого нет,
Лишь старуха ворчит, как приходит сосед,
Оттого, что мне весело с ним!..»

1854

РЫЦАРСКАЯ ОШИБКА

Dans leur naïve ignorance, les pélérins lorsqu'une ville ou un château se présentait à leurs yeux, demandaient si c'était là Jerusalem.

Michaud. Hist des Craisades[1].

Видит чайка, утром рано
С криком по морю порхая,
Как выходит из тумана
Кораблей каких-то стая.

Видит аист, божья птица,
Глядя с башни, как заливом
Кораблей плывет станица
В отдаленье молчаливом.

[1] «Когда глазам пилигримов представлялся какой-нибудь город или замок, они, в своем наивном неведении, спрашивали, не Иерусалим ли это». Мишо. История крестовых походов *(фр.)*.

То плывут сыны Клермона,
Ищут Иерусалима;
Бурей смяты их знамена,
Вера их неодолима.

С ними в край обетованный,
Пресвятой поклявшись девой,
Мчится сам Раймонд, венчанный
На турнире королевой.

Все они, подъяв суровый
Долг бороться с Магометом,
Потекли в поход крестовый,
За Петром-анахоретом.

Вот у мачт они толпятся —
И глядят на край пучины,
Сердцем к Франции стремятся,
Духом ищут Палестины.

И глазам не доверяют,
Видят: замки, рощи, горы
Из-за волн вдали мелькают
В золотых лучах Авроры.

Словно чудо вырастает
Яркий купол над водою,
— Крест ли там над ним сияет
Путеводною звездою?

Что за город по вершинам
Разбросал сады и стены —
«Кормчий! где мы? говори нам,
Если нет в тебе измены.

И они, скрестивши руки,
Слышат, тихо над волнами
Льются сладостные звуки —
Даль гудит колоколами.

Кормчий-грек, одной рукою
Крестит грудь — и, молчаливо
Возвышаясь над кормою,
Руль ворочает лениво.

«Матерь божия! царица!»
Раздалось в толпах нестройных:
«Искупителя гробница
Здесь в руках у недостойных.

«Мы сподвижники Христовы,
Ненавистники Корана,
Мы идем, на смерть готовы,
Разгромить престол султана».

«Здесь султанов нет! — невольно
Вскрикнул кормчий.— Се Акрополь».
«Что?» — и грек самодовольно
Произнес: «Константинополь».

⟨1854⟩

СМЕРТЬ МАЛЮТКИ

Свою куклу раздела малютка
И покрыла ее лоскутком;
А сама нарядилась, как кукла,
И недетским забылася сном.

И не видит малютка из гроба —
В этот солнечный день, при свечах,
Как хорош ее маленький гробик,
Под парчой золотою, в цветах.

А уж как бы она любовалась,
Если б только могли разбудить!
Милый друг, будем плакать, как дети,
Чтоб недетское горе забыть...

1854

В ГЛУШИ

Для кого расцвела? для чего развилась?
Для кого это небо — лазурь ее глаз,
Эта роскошь — волнистые кудри до плеч,
Эта музыка — уст ее тихая речь?

Ясно может она своим чутким умом
Слышать голос души в разговоре простом;
И для мира любви и для мира искусств
Много в сердце у ней незатронутых чувств.

Прикоснется ли клавиш — заплачет рояль...
На ланитах — огонь, на ресницах — печаль...
Подойдет ли к окну — безотчетно-грустна,
В безответную даль долго смотрит она.

Что звенит там вдали — и звенит и зовет?
И зачем там в степи пыль столбами встает?
И зачем та река широко разлилась?
Оттого ль разлилась, что весна началась?

И откуда, откуда тот ветер летит,
Что, стряхая росу, по цветам шелестит.
Дышит запахом лип и, концами ветвей
Помавая, влечет в сумрак влажных аллей?

Не природа ли тайно с душой говорит?
Сердце ль просит любви и без раны болит?
И на грудь тихо падают слезы из глаз...
Для кого расцвела? для чего развилась?

⟨1855⟩

* * *

Свет восходящих звезд — вся ночь, когда она
Светла без месяца, без облаков темна,
    Заключена в глазах твоих чудесных.
При них теряюсь я — и не могу понять,
И словом не могу понятным передать
    Волнений, сердцу неизвестных.
Я верю иногда, что мне в глазах твоих
    Читать любовь — была б отрада.
А иногда мне страшно возле них,
    Как темной ночью возле клада.
Что выражает мне твой непонятный взгляд,
Когда глаза твои глядят и не глядят
    Из-под ресниц тяжеловесных?

Не так ли две звезды — две путницы небесных,
Не зная, чьи мечты за ними вслед текут,—
Горят — не греют — но... влекут.

⟨1855⟩

У АСПАЗИИ

Гость

Что б это значило — вижу, сегодня ты
Дом свой, как храм, убрала:
Между колонн занавесы приподняты,
Благоухает смола.
Цитра настроена; свитки разбросаны;
У посыпающих пол
Смуглых рабынь твоих косы расчесаны...
Ставят амфоры на стол.
Ты же бледна,— словно всеми забытая,
Молча стоишь у дверей.

Аспазия

Площадь отсюда видна мне, покрытая
Тенью сквозных галерей.
Шум ее замер — и это молчание
В полдень так странно, что вновь
Сердце мне мучит тоска ожидания,
Радость, тревога, любовь.
Буйных Афин тишину изучила я:
Это — Перикл говорит;
Если бледна и молчит его милая,
Значит, весь город молчит...
Чу! шум на площади — рукоплескания —
Друга венчает народ —
Но и в лавровом венке из собрания
Он к этой двери придет.

⟨1855⟩

ПЧЕЛА

Пчела, погибшая с последними цветами,
Недаром чистыми янтарными сотами
Ты, с помощью сестер, свой улей убрала.
Ту руку, что тебя все лето берегла,
Обогатила ты сладчайшими дарами.

А я, собравши плод с цветов господней нивы,
Я рано, до зари, вернулся в сад родной;
Но опрокинутым нашел я улей мой...
Где цвел подсолнечник — растут кусты крапивы,
И некуда сложить мне ноши дорогой...

1855

* * *

Моя судьба, старуха, нянька злая,
И безобразная, и глупая, за мной
Следит весь день и, под руку толкая,
Надоедает мне своею болтовней.
Когда-то в карты мне она гадала
И мне сулила много светлых дней;
Я, как ребенок, верил ей сначала,
Доверчив был и уживался с ней.
То штопая, то делая заплаты,
Она не раз при мне ворчала на беду:
«Вот погоди! как будем мы богаты,
        Я от тебя сама уйду...»
А между тем несутся дни и годы —
Старуха все еще в моем углу ворчит,
Во все мешается, хлопочет и, свободы
        Лишая разум, сердце злит.
И жизнь моя невольно, как-то странно
        Слилась с ее житьем-бытьем,
И где бы ни был я, один ли — беспрестанно
        Мне кажется: мы с ней вдвоем.
Проснусь ли я душою, озаренный
Внезапной мыслию иль новой красотой,
Плаксивое лицо старухи раздраженной,
Как желтое пятно, мелькает предо мной.
Хочу любить... «Нет,— говорит,— не вправе,
Не смеешь ты, не должен ты любить».
Уединясь, мечтаю ли о славе,
Она, как мальчика, придет меня дразнить.
И болен я — и нет мне сил подняться,
И слышу я: старуха головой
Качая, говорит, что вряд ли мне дождаться
        Когда-нибудь судьбы иной.

1855

НА ЧЕРНОМ МОРЕ

Отрадней сна, товарищ мой,
Мне побеседовать с тобой:
Сердитый вал к нам в люки бьет;
Фонарь скрипит над головой;
И тяжко стонет пароход,
Как умирающий больной.

Ты так же ранен, как и я...
Но эти раны жгут меня
И в то же время холодят:
Не спас меня хирурга нож,
Но ты меня моложе, брат,
И ты меня переживешь.

Едва ли, впрочем, этот Крым,
И этот гул, и этот дым,
И эти кучи смрадных тел
Забудешь ты когда-нибудь,
Куда бы ты ни полетел
Душой и телом отдохнуть.

На лоне мира и любви
Ты вспомнишь,— ужас! — ты в крови
Топтал товарищей своих,
Ты слышал их предсмертный хрип,
Ты, раненный, близ ран моих
Лежал, страдал и — не погиб.

Какой ценой, ты вспомнишь, брат,
Купили мы развалин ряд!
Для человеческих ушей
Гром неестественный гремел,
Когда мы лезли из траншей
На вал, скользя по грудам тел.

Но грянул взрыв — последний взрыв...
И я без чувств упал в обрыв.
Когда ж очнулся... Боже мой!
Какая тишь была вокруг!
И страшен город был немой,
И страшно нем был мой испуг.

Стена была обагрена...
Дым застилал, как пелена,
Небесный свод — и от земли
Тяжелый поднимался пар...
Вдали пылали корабли,
И отражал залив пожар.

Ликуйте, гордые умы!
Могилу храбрых взяли мы...
Коварной славы сладкий дым,
Ты горек нам, ты дорог нам!
Но — фимиам необходим
Кумиру и его жрецам.

Когда ты снова посетишь
Наш императорский Париж,
Смутит тебя победный крик,
Как пляска после похорон,
Как сумасшедшего язык,
Как смех, в котором слышен стон.

Пускай наш новый полубог
Вкушает славу!.. Я б не мог...
Я для иного был рожден,
Иные цели смел таить,
И был, как бурей, увлечен
Туда, где я не мог любить...

И где, казалось бы, не след
Мне умереть в чаду побед...
Но — умираю... Все, что я
Любил когда-то, в эту ночь
Как будто около меня
Стоит и не отходит прочь.

Я вижу — вот моя семья...
Вот мать... вот нежная моя
Подруга... дети... Боже мой!
А это кто?! Иль это бред?..
Какой-то призрак роковой —
В блестящей мантии скелет...

Ужели смерть? Зачем она,
Грозя, кричит: «Пылай, война!
Враждуйте, племена всех стран!

Вот вам республика и трон,
И христианство, и Коран,
Мадзини и Наполеон!»

Скажи, что значу я пред ней
Со всею гордостью моей?..
Ее десница мне на грудь
Легла — и я как тряпка смят!
Освободи, брат! дай вздохнуть!..
А-га! да ты уж умер, брат!

Июля 20 дня 1855

* * *

Нет, нет! не оттого признаньем медлю я,
Что я боюсь — она не отзовется
Мне на мою любовь, холодный смех тая,
Что старая печаль, как лютая змея,
Опять в душе моей проснется!
Друг! разрушать мечты уж я привык давно,
И сердце у меня готово к новым ранам;
Не в первый раз мне суждено
Быть самому себе тираном.
Но... если я любим... но если с первых слов
Она сама мне бросится на шею!..
Сказать ли, отчего я медлю и робею?
Кто перед женщиной, рыдая, пасть готов,
Тот не готов еще назвать ее своею;
Кто с юных лет страстей обуздывал язык,
Кто приучен людьми не верить их участью,
Кто к лицемерию привык —
Тому нужна привычка к счастью.
Так, если б грешнику нежданно отворен
Был рай небесный — долго б он
Не мог войти в него, растерян и смущен,
Измученной душой как бы не доверяя
Гостеприимной сени рая.

1855

ПРОСТИ

Пора... Прости! Никто не ведал
Глубоких тайн моих страстей,
И никому я права не дал
Заплакать на груди моей.

Любви прекрасным upованьям
Рассудком положа предел,
Страдая сам, твоим страданьям
Я отозваться не хотел.

Искал я счастья, но поверить
Не смел я счастью своему;
Мне было легче лицемерить,
Чем верить сердцу твоему.

‹1855›

ЗВЕЗДЫ

Посреди светил ночных,
Далеко мерцающих,
Из туманов млечными
Пятнами блуждающих
И переплывающих
Небеса полярные,
Новые созиждутся
Звезды светозарные.

Так и вы, туманные
Мысли, тихо носитесь,
И неизъяснимые
В душу глухо проситесь,
Так и вы над нашими
Темными могилами
Загоритесь некогда
Яркими светилами.

‹1856›

* * *

Мое сердце — родник; моя песня — волна,
Пропадая вдали,— разливается...
Под грозой — моя песня, как туча, темна,
На заре — в ней заря отражается.
Если ж вдруг вспыхнут искры нежданной любви
Или на сердце горе накопится —
В лоно песни моей льются слезы мои,
И волна уносить их торопится.

⟨1856⟩

* * *

— Подойди ко мне, старушка,
Я давно тебя ждала,—
И косматая, в лохмотьях,
К ней цыганка подошла.
— Я скажу тебе всю правду;
Дай лишь на руку взглянуть:
Берегись, тебя твой милый
Замышляет обмануть...

И она в открытом поле
Сорвала себе цветок,
И лепечет, обрывая
Каждый белый лепесток:
— Любит — нет — не любит — любит,—
И, оборванный кругом,
«Да» сказал цветок ей томным,
Сердцу внятным языком.

На устах ее — улыбка,
В сердце — слезы и гроза.
С упоением и грустью
Он глядит в ее глаза.
Говорит она: обман твой
Я предвижу — и не лгу,
Что тебя возненавидеть
И хочу и не могу.

Он глядит все так же грустно,
Но лицо его горит...
Он, к плечу ее устами
Припадая, говорит:

— Берегись меня! — я знаю,
Что тебя я погублю,
Оттого что я безумно,
Горячо тебя люблю!..

⟨1856⟩

И. С. АКСАКОВУ

Когда мне в сердце бьет, звеня, как меч тяжелый,
Твой жесткий, беспощадный стих,
С невольным трепетом я внемлю невеселой,
Холодной правде слов твоих.

В негодование души твоей вникая,
Собрат, пойму ли я тебя?
На смелый голос твой откликнуться желая,
Каким стихом откликнусь я?

Не внемля шепоту соблазна, строгий гений
Ведет тебя иным путем,
Туда, где нет уже ни жарких увлечений,
Ни примирения со злом.

И если ты блуждал — с тобой мы врозь блуждали:
Я силы сердца не щадил;
Ты — не щадил труда; и оба мы страдали:
Ты больше мыслил, я — любил.

Общественного зла ты корень изучая,
Стоял над ним с ножом, как врач;
Я выжал сок его, пил — душу отравляя
И заглушая сердца плач.

К чему оно влеклось, кого оно согрело?
Зачем измучено борьбой?
О брат! пойму ли я при звуках лиры, смело,
Законно поднятой тобой?

Быть может, знать добро не значит зла не видеть,
Любить — не значит тосковать...
Что искренно нельзя и тьмы возненавидеть
Тому, кто сам не мог сиять...

Вот почему, когда звенит, как меч тяжелый,
Твой жесткий, беспощадный стих,
С невольным трепетом я внемлю невеселой,
Холодной правде слов твоих.

Июнь 1856 г. СПб.

НА ПУТИ ИЗ ГОСТЕЙ

Славный мороз. Ночь была бы светла,
Да застилает сиянье
Месяца душу гнетущая мгла —
Жизни застывшей дыханье.
Слышится города шорох ночной,
Снег подметенный скрипит под ногой...
Дальних огней вижу мутные звезды
Да запертые подъезды...
Боже мой! боже мой!
Поздно приду я домой!

Что же в гостях удержало меня?
Или мне было привольно
В сладком забвеньи бесплодного дня
Мучить себя добровольно?
Скучно и глупо без цели болтать...
И не охотник я в карты играть,
Даже, признаться, не радует ужин:
Да и кому я там нужен!
Боже мой! боже мой!
Поздно приду я домой!

Мери сегодня была весела
И грациозно-любезна;
Но хоть она и умна и мила —
Нравиться ей бесполезно.
Слушать — так, право, на горе мое
Бредит героями... но до нее
Мне далеко, потому что невеста
Ищет доходного места.
Боже мой! боже мой!
Поздно приду я домой!

Олимпиада простее сестры...
Впрочем — глаза с поволокой,
Листа играет; во время игры

Пальцы взлетают высоко,
Клавиши так и стучат и гремят...
Все, будто в страхе каком-то, молчат...
Правду сказать, мастера ее руки
На музыкальные штуки!
Боже мой! боже мой!
Поздно приду я домой!

Виктор стихи нам сегодня прочел:
Дамы остались довольны;
Только старик отчего-то нашел,
Что чересчур мысли вольны,
Что молодежь нынче стала писать
Так, что не следует вслух и читать.
Вот и прочел я стихи эти снова,—
Ну, и не понял ни слова!
Боже мой! боже мой!
Поздно приду я домой!

Гости бывают там разных сортов:
В дом приезжают — вертятся,
И комплимент у них мигом готов,
Из дому едут — бранятся.
Что занимает их — трудно понять,
Все обо всем они могут сказать.
Каждый себя самолюбьем измучил,
Каждому каждый наскучил.
Боже мой! боже мой!
Поздно приду я домой!

В люди как будто невольно идешь:
Все будто ищешь чего-то,
Вот-вот не нынче, так завтра найдешь...
Одолевает зевота,
Скука томит... А проклятый червяк
В сердце уняться не хочет никак:
Или он старую рану тревожит,
Или он новую гложет.
Боже мой! боже мой!
Поздно приду я домой!

Много есть чудных, прекрасных людей,
Светлых умом и вполне благородных,
Но и они, вроде бледных теней,
Меркнут душою в гостиных холодных.

Есть у нас так называемый свет,
Есть даже люди, а общества нет;
Русская мысль в одиночку созрела,
Да и гуляет без дела.
Боже мой! боже мой!
Поздно приду я домой!

Вот, вижу, дворник сидит у ворот,
В шубе да в шапке лохматой:
Точно медведь; на устах его лед,
Снег в бороде, в рукавице лопата...
Спит ли он, так ли, прижавшись, сидит,
Думает думу, морозы бранит,
Или, как я же, бесплодно мечтает,
Или меня поджидает?
Боже мой! боже мой!
Поздно приду я домой!

⟨1856⟩

СОЛОВЬИНАЯ ЛЮБОВЬ

В те дни, как я был соловьем,
Порхающим с ветки на ветку,
Любил я поглядывать зорким глазком
В окно, на богатую клетку.

В той клетке, я помню, жила
Такая красавица-птичка,
Что видеть ее страсть невольно влекла,
Насильно тянула привычка.

Слезами во мраке ночей
Питал я блаженные грезы,
И пел про любовь, и в затишье аллей,—
И звуки дрожали, как слезы.

И к месяцу я ревновал...
И часто к затворнице сонной
Я страстные вздохи свои посылал
По ветру, в струе благовонной.

Нередко внимала заря
Моей серенаде прощальной —
В тот час, как, проснувшись, малютка моя
Плескалася в ванне хрустальной.

Однажды гроза пронеслась...
Вдруг, вижу,— окно нараспашку,
И клетка, о радость! сама отперлась,
Чтоб выпустить бедную пташку.

И стал я красавицу звать
На солнце, в зеленые сени —
Туда, где уютные гнезда качать
Слетаются влажные тени.

«Покинь золотую тюрьму!
Будь голосу бога послушна!» —
Я звал... но к свободе, бог весть почему,
Осталась она равнодушна.

Бедняжка, я видел потом,
Клевала отборные зерна —
Потом щебетала — не знаю о чем —
Так грустно и так непритворно!

О том ли грустила она,
Что крылышки доля связала?
О том ли, что, рано промчавшись, весна
Навек мои песни умчала?

1856

ТУМАН

Какой туман! ни солнца нет, ни тучи!
Деревья облеклись в какой-то дым плавучий;
И тянется сырой, бревенчатый забор
Вдоль грязной улицы, обманывая взор...
Вот нашей осени унылая картина!
Нет, что ни говори, здесь грустно без хлопот;
Меня здесь под ярмо сама природа гнет...
Недаром — эта блажь, бессонница, кручина,
Холодный сон души, или страстей обман,
Иль робость школьника, который перед носом
Учителя стоит, запуганный вопросом;

Недаром иногда сквозь сеющий туман
Все, чем жила душа, мне кажется хаосом.
О, где ты? где, покинутая мной
В те дни, когда я жил не сердцем, а мечтой
И к подвигам себя берег в часы досуга? —
Откликнись! воротись, утешь названьем друга! —
Но — я на севере, а ты под солнцем юга —
И мой тяжелый вздох к тебе не долетит.

1856

НА КОРАБЛЕ

Стихает. Ночь темна. Свисти, чтоб мы не спали!..
Еще вчерашняя гроза не унялась:
Те ж волны бурные, что с вечера плескали,
Не закачав, еще качают нас.
В безлунном мраке мы дорогу потеряли,
Разбитым фонарем не освещен компас.
Неси огня! звони, свисти, чтоб мы не спали! —
Еще вчерашняя гроза не унялась...
Наш флаг порывисто и беспокойно веет;
Наш капитан впотьмах стоит, раздумья полн...

Заря!.. друзья, заря! Глядите, как яснеет —
И капитан, и мы, и гребни черных волн.
Кто болен, кто устал, кто бодр еще, кто плачет,
Что бурей сломано, разбито, снесено —
Все ясно: божий день, вставая, зла не прячет...
Но — не погибли мы!.. и много спасено...
Мы мачты укрепим, мы паруса подтянем,
Мы нашим топотом встревожим праздных лень —
И дальше в путь пойдем, и дружно песню грянем:
Господь, благослови грядущий день!

1856

* * *

Не сердце разбудить, не праздный ум затмить —
Не это значит дать поэту вдохновенье.
Сказать ли Вам, что значит вдохновить?
Уму и сердцу дать такое настроенье,
Чтоб вся душа могла звучать,
Как арфа от прикосновенья...

Сказать ли Вам, что значит вдохновлять? —
Мгновенью жизни дать значенье
И песню музы оправдать.

1856

* * *

She walks in beauty like the night.
Byron [1]

Тень ангела прошла с величием царицы:
В ней были мрак и свет в одно виденье слиты.
Я видел темные, стыдливые ресницы,
Приподнятую бровь и бледные ланиты.
И с гордой кротостью уста ее молчали,
И мнилось, если б вдруг они заговорили,
Так много бы прекрасного сказали,
Так много бы высокого открыли,
Что и самой бы стало ей невольно
И грустно, и смешно, и тягостно, и больно...

Как воплощенное страдание поэта,
Она прошла в толпе с величием смиренья;
Я проводил ее глазами, без привета,
И без восторженных похвал, и без моленья...
С благоговением уста мои молчали —
Но... если б как-нибудь они заговорили,
Так много бы безумного сказали,
Так много бы сердечных язв раскрыли,
Что самому мне стало б вдруг невольно
И стыдно, и смешно, и тягостно, и больно...

⟨1857⟩

НОЧЬ В КРЫМУ

Помнишь, лунное мерцанье,
Шорох моря под скалой,
Сонных листьев колыханье,
И цынцырны [2] стрекотанье
За оградой садовой;

---

[1] Она идет, прекрасная, как ночь. Байрон *(англ.)*.

[2] Цынцырна — татарское слово, то же, что цикада. *(Примеч. Я. П. Полонского.)*

В полумгле нагорным садом
Шли мы,— лавр благоухал;
Грот чернел за виноградом,
И бассейн под водопадом
Переполненный звучал;

Помнишь, свежее дыханье,
Запах розы, говор струй —
Всей природы обаянье,
И невольное слиянье
Уст в нежданный поцелуй.

Эта музыка природы,
Эта музыка души
Мне в иные, злые годы,
После бурь и непогоды,
Ясно слышалась в тиши.

Я внимал — и сердце грелось
С юга веющим теплом,
Легче верилось и пелось...
Я внимал — и мне хотелось
Этой музыки во всем...

⟨1857⟩

А. Н. МАЙКОВУ

Ответ на стихи его:
«Полонский! суждено опять судьбою злою...»

Как, ты грустишь? — помилуй бог!
Скажи мне, Майков, как ты мог,
С детьми играя, тихо гладя
Их по головке, слыша смех
Их вечно-звонкий, вспомнить тех,
Чей гений пал, с судьбой не сладя,
Чей труд погиб...
Как мог ты, глядя
На северные небеса,
Вдруг вспомнить Рима чудеса,
Проникнуться воспоминаньем,
Вообразить, что я стою
Средь Колизея, как в раю,
И подарить меня посланьем?

Мне задушевный твой привет
Был освежительно-отраден.
Но — я еще не в Риме, нет!
В окно я вижу Баден-Баден
И тяжело гляжу на свет.
Хоть мне здорово и приятно
Парным питаться молоком,
Дышать нетопленным теплом
И слушать музыку бесплатно;
Но — если б не было руин,
Плющом повитых, луговин
Зеленых, гор, садов, скамеек,
Холмов и каменных лазеек,—
Здесь на меня нашел бы сплин —
Так надоело мне гулянье,
Куда, расхаживая лень,
Хожу я каждый божий день
На равнодушное свиданье.
И где встречаю, рад не рад,
При свете газовых лампад,
Американцев, итальянцев,
Французов, англичан, голландцев,
И немцев, и немецких жен,
И всем известную графиню,
И полурусскую княгиню,
И русских множество княжон.
Но в этих встречах мало толку,
И в разговорах о *ничем*
Ожесточаюсь я умом,
А сердцем плачу втихомолку.
И эта жизнь меня томит,
И этот Баден, с этим миром,
Который вкруг меня шумит,
Мне кажется большим трактиром,
В котором каждый божий час
Гуляет глупость напоказ.
А ты счастливец! — любишь ты
Домашний мир. Твои мечты
Не знают роковых стремлений;
Зато как много впечатлений
Проходит по душе твоей,
Когда ты с удочкой своей,
Нетерпеливый, вдохновенный,
Идешь на лов уединенный.
Или, раздвинув тростники,

Над золотистыми струями
Стоишь — протер свои очки —
И жадными следишь глазами,
Как шевелятся поплавки.
И весь ты страстное вниманье...
Вот — гнется удочка дугой,
Кружится рыбка над водой —
Плеск — серебро и трепетанье...
О, в этот миг перед тобой
Что значит Рим и все преданья,
Обломки славы мировой!

Но, чу! свисток раздался птичий,
Ночь шелестит во мгле кустов:
Спеши, мой милый рыболов,
Домой с наловленной добычей!
Спеши! — уж божья благодать
На ложе сна детей приемлет,
Твои малютки спят,— и дремлет
Их убаюкавшая мать.
Уже в румяном полусвете,
Там, в сладких грезах полусна,
Тебя ждет милая жена
Иль труд в соседнем кабинете.
Труд благодатный! Труд живой!
Часы, в которые душой
Ты, чуя бога, смело пишешь
И на себе цепей не слышишь.
Люблю я стих широкий твой,
Насквозь пропахнувший смолою
Тех самых сосен, где весною,
В тени от солнца, меж ветвей,
Ты подстерег лесную фею
И где с Каменою твоею
Шептался плещущий ручей.
Я сам люблю твою Камену,
Подругу северных ночей:
Я помню, как неловко с ней
Ты шел на шумную арену
Народных браней и страстей;
Как ей самой неловко было...
Но... олимпийская жена,
Не внемля хохоту зоила,
Тебе осталася верна.
И вновь в объятия природы —

В поля, в леса, туда, где воды
Струятся, где синеет мгла
Из-под шатра дремучей ели,
Туда, где водятся форели,
С тобою весело ушла.
Прости, мой друг! не знай желаний
Моей блуждающей души!
Довольно творческих страданий,
Чтоб не заплесневеть в глуши.
Поверь, не нужно быть в Париже,
Чтоб к истине быть сердцем ближе,
И для того, чтоб созидать,
Не нужно в Риме кочевать.
Следы прекрасного художник
Повсюду видит и — творит,
И фимиам его горит
Везде, где ставит он треножник
И где творец с ним говорит.

Баден-Баден.
Август 1857

УТРАТА

Когда предчувствием разлуки
Мне грустно голос ваш звучал,
Когда, смеясь, я ваши руки
В моих руках отогревал,
Когда дорога яркой далью
Меня манила из глуши —
Я вашей тайною печалью
Гордился в глубине души.

Перед непризнанной любовью
Я весел был в прощальный час,
Но — боже мой! с какою болью
В душе очнулся я без вас!
Какими тягостными снами
Томит, смущая мой покой,
Все недосказанное вами
И недослушанное мной!

Напрасно голос ваш приветный
Звучал мне, как далекий звон,
Из-за пучины: путь заветный

Мне к вам навеки прегражден,—
Забудь же, сердце, образ бледный,
Мелькнувший в памяти твоей,
И вновь у жизни, чувством бедной,
Ищи подобья прежних дней!

1857

ХАНДРА

На старый он диван ничком
Ложился, протянувши ноги,
И говорил, дыша с трудом,
Такие монологи:

«Какая жизнь! о, боже мой!
Какие страшные пигмеи!
Добро б глупцы, добро б злодеи
Неотразимою враждой
Меня терзали,— нет, с глупцами
Я б тратить слов не стал, с врагами
Я б вышел на открытый бой.
Кто бескорыстно правде служит,
Кто за себя стоит — не тужит.
Но как бороться с пустотой
Полуслепой, полуглухой,
Которая мутит и кружит! —
Бороться — рад бы — силы нет.
Под бременем бесплодных лет
Изныл мой дух, увяла радость,
И весь я стал ни то ни се,
И жизнь подчас такая гадость,
Что не глядел бы на нее!
Я только вздор один предвижу,
Какая-то галиматья
Выходит из того, что я
Вседневно слышу или вижу!
Не только некого любить,
Мне даже некого сердить,
Мне даже глупо ненавидеть!
Я точно личность — без лица,
Такого даже нет глупца,
Кто б захотел меня обидеть!
Я вечно ною от заноз,

А разом вспыхнуть не умею,
Когда я плачу — стыдно слез,
Когда смеюсь — за смех краснею,
Какая жизнь! какой хаос!..»

⟨1858⟩

НА БЕРЕГАХ ИТАЛИИ

Я по красному щебню схожу один
К морю сонному,
Словно тучками, мглою далеких вершин
Окаймленному.

Ах! как млеют, вдали замыкая залив,
Выси горные!
Как рисуются здесь, уходя в тень олив,
Козы черные...

Пастухи вдали, на свои жезлы,
С их котомками,
Опершись, стоят на краю скалы —
Над обломками.

Там, у взморья, когда-то стоял чертог
С колоннадами,
И наяды плескались в его порог
Под аркадами.

Там недавно мне снился роскошный сон —
Но... всегда ли я
Ради этих снов забывал твой стон,
О Италия!

Вдохновляемый плачем твоим, я схожу
К морю сонному,
Словно тучками, мглою далеких вершин
Окаймленному.

Там в лазурном тумане толпой встают
Тени бледные.
То не тени встают — по волнам плывут
Пушки медные.

Корабельный флаг отдаленьем скрыт,
Словно дымкою.
Там судьба твоя с фитилем стоит
Невидимкою...

1858

НОЧЬ В СОРРЕНТО

Волшебный край! Сорренто дремлет —
Ум колобродит — сердце внемлет —
Тень Тасса начинает петь.
Луна сияет, море манит,
Ночь по волнам далеко тянет
Свою серебряную сеть.

Волна, скользя, журчит под аркой,
Рыбак зажег свой факел яркий
И мимо берега плывет.
Над морем, с высоты балкона,
Не твой ли голос, примадонна,
Взвился и замер? — Полночь бьет.

Холодной меди бой протяжный,
Будильник совести продажной,
Ты не разбудишь никого!
Одно невежество здесь дышит,
Все исповедует, все слышит,
Не понимая ничего.

Но от полуночного звона
Зачем твой голос, примадонна,
Оборвался и онемел?
Кого ты ждешь, моя синьора?
О! ты не та Элеонора,
Которую Торквато пел!

Кто там, на звон твоей гитары,
Прошел в тени с огнем сигары?
Зачем махнула ты рукой,
Облокотилась на перила,
Лицо и кудри наклонила
И вновь поешь: «О идол мой!»

Объятый трепетом и жаром,
Я чувствую, что здесь недаром
Италия горит в крови.
Луна сияет — море дремлет —
Ум колобродит — сердце внемлет —
Тень Тасса плачет о любви.

⟨1859⟩

ЧИВИТА-ВЕКИА

Встала над морем с казарменной скукою
Крепость, угрюмее моря сурового...
В милом лице я искал пред разлукою,
Нет ли для сердца чего-нибудь нового.

Долго смотрел я, как лодка качалася,—
Ты уплыла — я остался над палубой,
И ничего для меня не осталося,
Кроме неволи с бесплодною жалобой.

Снова помчуся я в море шумящее,
Новые пристани ждут меня, странника;
Лишь для тебя, мое сердце скорбящее,
Нет родной пристани, как для изгнанника.

⟨1859⟩

ХОЛОДЕЮЩАЯ НОЧЬ

(Фантазия)

(Посв. М. Ф. Штакеншнейдер)

Там, под лаврами, на юге —
Странник бедный — только ночь
Мог я взять себе в подруги,
Юга царственную дочь.

И ко мне она сходила
В светлом пурпуре зари,
На пути, в пространствах неба,
Зажигая алтари.

Боже! как она умела
Раны сердца врачевать,
Как она над морем пела!
Как умела вдохновлять!

Но, увы! судьбой на север
Приневоленный идти,
Я сказал подруге-ночи:
«Ненаглядная, прости!»

А она со мной расстаться
Не хотела, не могла —
По утрам, от слез мигая,
Вслед за мной она текла.

То сходила на долину
С томно блещущим челом
И задумчиво стояла
Над моим степным костром;

То со мною ночевала
Над рекою, у скирдов,
Вея тонким ароматом
Рано скошенных лугов.

Но чем дальше я на север
Шел чрез степи и леса,
Незаметно холодела
Ночи южная краса...

То, в туманы облачаясь,
Месяц прятала в кольцо;
То с одежд холодный иней
Отрясала мне в лицо.

Чем я дальше шел на север,
Тем гналась она быстрей,
Раньше день перегоняла,
Уходила все поздней.

И молила, и стонала...
И, дрожа, я молвил ей:
«Ты на севере не можешь
Быть подругою моей».

И, сверкнув, у синей ночи
Помутилися глаза.
И застыла на ресницах
Накипевшая слеза.

И пошла она,— и белым
Замахала рукавом,
И завыла, поднимая
Вихри снежные столбом.

Сквозь метель на север хладный
Я кой-как добрел домой...
Вижу — ночь лежит в долине
Под серебряной парчой...

И беззвучно мне лепечет:
«Погляди, как я мертва!
Сердце глухо, очи тусклы,
Холодеет голова.

Но гляди — все те же звезды
Над моею головой...
Красотой моею мертвой
Полюбуйся, милый мой.

И поверь, что если снова
Ты воротишься на юг,
В прежнем блеске я восстану,
Чтоб принять тебя, мой друг!

С прежней негой над тобою
Я склоню главу мою
И тебе, сквозь сон, над ухом
Песню райскую спою»...

⟨1858⟩

* * *

Корабль пошел навстречу темной ночи...
Я лег на палубу с открытой головой;
Грустя, в обитель звезд вперил я сонны очи,
Как будто в той стране таинственно-немой
Для моего чела венец плетут Плеады,
И зажигают вечные лампады,
И обещают мне бессмертия покой.

Но вот — холодный ветр дохнул над океаном;
Небесные огни подернулись туманом.
И лег я ниц с покрытой головой,
И в смутных грезах мне казалось: подо мной
Наяды с хохотом в пучинный мрак ныряют.
На дне его могилу разгребают —
И обещают мне забвения покой.

⟨1859⟩

ПЕСНЯ

(Посв. Н. В. Гербелю)

Выйду — за оградой
Подышать прохладой.
Горе ночи просит,
Горе сны уносит...
Только сердце бредит:
Будто милый едет,
Едет с позвонками
По степи широкой...
Где ты, друг мой милый,
Друг ты мой далекий?

Ночь свежее дышит —
Вербою колышет,
Дрожью пробирает,
Соловей рыдает.
Высыхайте, слезы!
Улетайте, грезы!
Дальний звон пронесся
За рекой широкой...
Где ты, друг мой милый,
Друг ты мой далекий?

Зорька выплывает —
Заревом играет.
Я через куртину
Проберусь в долину.
Я лицо умою
Водой ключевою...

Вон и домик виден
На горе высокой...
Где ты, друг мой милый,
Друг ты мой далекий?

⟨1859⟩

СУМАСШЕДШИЙ

Кто говорит, что я с ума сошел?!
Напротив...— я гостям радешенек... Садитесь!
Как это вам не грех! неужели я зол!
Не укушу — чего боитесь!

Давило голову — в груди лежал свинец...
Глаза мои горят — но я давно не плачу —
Я все скрывал от вас... Внимайте, наконец,
Я разрешил мою задачу!..

Да, господа! мир обновлен.— Века
К благословенному придвинули нас веку.
Вам скажет всякая приказная строка,
Что счастье нужно человеку.

Народы поднялись и обнажили меч,
Но образумились и обнялись как братья.
Гербы и знамена — все надо было сжечь,
Чтоб только снять печать проклятья.

Настало царствие небесное — светло —
Просторно...— На земле нет ни одной столицы,
Тиранов также нет — и все как сон прошло:
Рабы, оковы и темницы —

Науки царствуют — виденья отошли,
Одни безумцы ими одержимы...
Чу! слышите — поют со всех концов земли
Невидимые херувимы.

Ликуйте! вечную приветствуйте весну!
Свободы райской гимн из сердца так и рвется —
И я тянусь, тянусь, как луч, в одну струну —
Что, если сердце оборвется!!.

1859

ЖЕНЩИНЕ

Когда во мне душа кипела,
Когда она, презрев судьбу,
Рвалась из тесного предела
На свет, на волю, на борьбу,—
Зачем тогда не укротила
Ты дух мой гордый и слепой,
Чтоб даром не погибла сила
В борьбе бесплодной и пустой?

Когда тоскливый, беспокойный,
Без цели — вдаль от суеты
То мчался я по степи знойной,
То лез на снежные хребты,—
Зачем звездою путеводной
Ты не сияла предо мной?
Быть может, гордый и свободный,
Нашел бы я мой путь прямой.

Когда от жизни уставая,
В нетрезвом полузабытьи,
Я повторял: о, жизнь пустая!
О, силы прежние мои! —
Как луч востока благодатный,
Зачем тогда не разбудил
Меня твой голос, сердцу внятный,
И падших сил не обновил?

Когда лампаду трудовую,
Как раб нужды, зажег я вновь
И проклинал страну родную
Без веры в славу и любовь,—
Зачем, когда лампада гасла,
Не ты пришла и в поздний час,
Как друг, спасительного масла
Не ты влила, чтоб свет не гас?

Когда, по слякоти шагая
В туман, я отличал едва
Себя от грязи — так больная
Была туманна голова,—
Зачем от этого ненастья

Ты разум мой не сберегла
И от постыдного участья
Своим участьем не спасла?

Но кто же ты? — к кому упреки!..
Тебя я с юных лет не знал:
Не ты давала мне уроки,
Когда мой слабый ум блуждал,
Не ты любить меня учила,
Когда безумно я любил,
Не ты меня благословила
Бороться до утраты сил.

Шли годы. С упованьем тайным
Расстался я.— К чему ж теперь,
Виденьем светлым и случайным,
Ты к старику стучишься в дверь
И, слезы поздние роняя,
Мне шепчешь: о! как ты грешил!
Как низко падал! — но, святая,
Где ты была, когда я жил?

1859

* * *

По горам две хмурых тучи
Знойным вечером блуждали
И на грудь скалы горючей
К ночи медленно сползали.
Но сошлись — не уступили
Той скалы друг другу даром
И пустыню огласили
Яркой молнии ударом.
Грянул гром — по дебрям влажным
Эхо резко засмеялось,
А скала таким протяжным
Стоном жалобно сказалась,
Так вздохнула, что не смели
Повторить удара тучи
И у ног скалы горючей
Улеглись и обомлели...

1859

ИНАЯ ЗИМА

Я помню, как детьми, с румяными щеками,
По снегу хрупкому мы бегали с тобой —
Нас добрая зима косматыми руками
Ласкала и к огню сгоняла нас клюкой;
А поздним вечером твои сияли глазки
И на тебя глядел из печки огонек,
А няня старая нам сказывала сказки
О том, как жил да был на свете дурачок.

Но та зима от нас ушла с улыбкой мая,
И летний жар простыл — и вот, заслыша вой
Осенней бури, к нам идет зима иная,
Зима бездушная — и уж грозит клюкой.

А няня старая уж ножки протянула —
И спит себе в гробу, и даже не глядит,
Как ты, усталая, к моей груди прильнула,
Как будто слушаешь, что сердце говорит.
А сердце в эту ночь, как няня, в детской ласке
Неравнодушное, раздуло огонек
И на ушко тебе рассказывает сказки
О том, как жил да был на свете дурачок.

⟨1859⟩

ДЛЯ НЕМНОГИХ

Мне не дал бог бича сатиры:
Моя душевная гроза
Едва слышна в аккордах лиры —
Едва видна моя слеза.
Ко мне виденья прилетают,
Мне звезды шлют немой привет;
Но мне немногие внимают —
И для немногих я поэт.

Я не взываю к дальним братьям,
Мои стихи — для их оков
Подобны трепетным объятьям,
Простертым в воздух. Вещих слов
Моих не слушают народы.

В моей душе проклятий нет;
Но в ней журчит родник свободы,
И для немногих я поэт.

Подслушав ропот Немезиды,
Как божеству я верю ей;
Не мне, а ей карать обиды,
Грехи народов и судей.
Меня глубоко возмущает
Все, чем гордится грязный свет...
Но к музам грязь не прилипает,
И — для немногих я поэт.

Когда судьба меня карала —
Увы! всем общая судьба —
Моя душа не уставала,
По силам ей была борьба.
Мой крик, мой плач, мои стенанья
Не проникали в мир сует.
Тая бесплодные страданья,
Я для немногих был поэт.

Я знаю: область есть иная,
Там разум вечного живет —
О жизни там, живым живая
Любовь торжественно поет.
Я, как поэт, ей жадно внемлю,
Как гражданин, сердцам в ответ
Слова любви свожу на землю —
Но — для немногих я поэт.

⟨1859⟩

КАЗАЧКА

Уж осень! кажется, давно ли
Цветущим ландышем дремучий пахнул лес,
И реки, как моря, сливалися по воле
Весною дышащих небес!

Давно ль ладья моя качалась
Там, где теперь скрипят тяжелые возы;
Давно ли жаркая в разливе отражалась
Заря, предвестница грозы!

Я помню — облаков волокна
Сплывалися, и ночь спускалася кругом
На крыльях ветра, а вдали сверкали окна,
И грохотал весенний гром.

И в блеске молний мне казалось
Волшебным островом знакомое село.
Я плыл — горела грудь — ладья моя качалась,
И вырывалося весло.

Я правил к берегу разлива,
И хата, крытая соломою, с крыльцом,
Ко мне навстречу шла, мигая мне пугливо
Уединенным огоньком.

Стихало. Туча громовая
Отодвигалася за дальние плетни;
Пел соловей, а я причаливал, бросая
Весло свое на дно ладьи.

О ночка, золотая ночка,
Как ты свежа была, безлунная, в звездах!
Как ты притихла вдруг, когда ее сорочка
Мелькнула в темных воротах!

Казачка бедная, пугливой
Голубкой ты росла; но ты меня рукой
Манила издали; меня твой взор ревнивый
Мог узнавать во тьме ночной.

Не диво, корень приворотный
Мне за карбованец отец твой навязал,
И уж чего-чего старик словоохотный
Мне про него не насказал.

Когда последний шкалик водки
Хватив, он поклялся, хмельной, на образах,
Ты вышла бледная из-за перегородки
И долго плакала в сенях.

И, недоступная девчина,
Ты в эту ночь пошла, как тень пошла за мной...
Я помню, лес был тих и сонная долина
В росе белелась под луной.

Когда холодными руками
Ты обвила меня и с головы платок
Скатился на плеча,— прильнув к устам устами,
Я страсти одолеть не мог...

На самом деле оправдала
Ты знахарство отца: ни плеть его с тех пор,
Ни брань, ни кулаки, ничто не помогало;
Силен был вражий приговор...

На посиделках опустела
В кругу девчат твоя обычная скамья;
Ты мне лишь одному степные песни пела,
Свои предчувствия тая.

Бедняжка! в корень приворотный
Ты верила, а я — я верил, что весна
Колдует и в гнезде у птички беззаботной,
И у косящата окна.

1859

СНЫ

1

Затворены душные ставни,
Один я лежу, без огня —
Не жаль мне ни ясного солнца,
Ни божьего белого дня.

Мне снилось, румяное солнце
В постели меня застает,
Кидает лучи по окошкам
И молодость к жизни зовет.

И — странно! — во сне мне казалось,
Что будто, пригретый лучом,
Лениво я голову поднял
И стал озираться кругом;

И вижу — толпа за толпою
Снует мимо окон моих.
О глупые люди! куда вы? —
Я думаю, глядя на них.

И сам наконец я за ними
Куда-то спешу из ворот...
И жжет меня полдень, и пыльный
Кругом суетится народ.

И ходят послушные ноги,
И движутся руки мои;
Без мысли язык мой лепечет,
И сердце болит без любви.

И вот уж гляжу я на запад,
Усталою грудью дыша...
Когда-то закатится солнце!
Когда-то проснется душа!

Проснулся: затворены ставни,
Один я лежу, без огня —
Не жаль мне ни ясного солнца,
Ни божьего белого дня!..

2

Мне снилось, легка и воздушна,
Прошла она мимо окна;
И слышу я голос: мой милый!
Спеши! я сегодня одна!..

Слова эти были так нежны
И так нетерпенья полны,
Что сердце мое встрепенулось,
Как птичка навстречу весны.

И радостным сердца движеньем
Себя разбудил я... увы!
Глядела в окно мое полночь,
И слышались крики совы.

И долго лежал я — и дума
Была, как свинец, тяжела.
Неужели в это окошко
Она меня громко звала?

Неужели в это окошко
Другим я когда-то смотрел?
Был ветрен, и молод, и весел,
И многого знать не хотел?

3

Уж утро! — но, боже мой, где я?
В своем ли я нынче уме?
Вчера мне казалось так живо,
Что я засыпаю в тюрьме;

Что кашляет сторож за дверью
И что за туманным стеклом
Луна из-за черной решетки
Сияет холодным серпом;

Что мышка подкралась и скоблет
Ночник мой, потухший в углу,
И что все какая-то птичка
С надворья стучит по стеклу.

Уж утро! — но, боже мой, где я?
Заснул я как будто в тюрьме,
Проснулся как будто свободный,—
В своем ли я нынче уме?

4

Подсолнечное царство

Клонит сон — стихи, прощайте!
Погасай, моя свеча!
Сплю и слышу, будто где-то
Ходит маятник стуча...

Ходит маятник, и сонный,
Чтоб догнать его скорей,
Как по воздуху, иду я
Вдаль за тридевять полей...

И хочу я в тридесятом
Государстве кончить путь,
Чтоб хоть там свободным словом
Облегчить больную грудь.

И я вижу: в тридесятом
Государстве на часах
Сторожа стоят в тумане
С самострелами в руках.

На мосту собака лает,
И в испуге через сад
Я иду под свод каких-то
Фантастических палат.

Узнаю родные стены...
И тайком иду в покой,
Где подсолнечного царства
Царь лежит с своей женой.

Кот мурлычет на лежанке;
Светит лампа — царь не спит,—
И седая из подушек
Борода его торчит.

На глаза колпак напялив,
Шевелит он бородой
И ведет такие речи
Обо мне с своей женой:

«Сокрушил меня царевич;
Кто мне что ни говори,
А, любя стихи да рифмы,
Не годится он в цари.

Я лишу его наследства».
А жена ему в ответ:
«Будет, бедненький, по царству
Он скитаться, как поэт».

«Но,— сказал отец,— дозволим
Мы за это, так и быть,—
Нашей фрейлине с безумцем
Одиночество делить:

У нее в лице любовью
Дышит каждая черта —
У него в стихах недаром
Все любовь да красота».

«Но,— ответила царица,—
Наша фрейлина горда
И отвергнутого нами
Не полюбит никогда».

Ах! — кричу я им,— лишите
Вы меня всего, всего...
Все-то ваше царство вряд ли
Стоит сердца моего!..

Но ужель она, чьи очи
Светят раем,— так горда,
Что отвергнутого вами
Не полюбит никогда?..

5

Тишь и мрак

Я спал — и гнетущего страха
Волненье хотел превозмочь,
И видел я сон — будто светит
Какая-то странная ночь.

Дымясь, неподвижные звезды
В эфире горят, как смола,
И запахом ладана сильно
Ночная пропитана мгла.

И месяц, холодный, как будто
Мертвец, посреди облаков
Стоит над долиной, покрытой
Рядами могильных холмов.

Недвижно поникли деревья;
Далеко стоит тишина:
Природа как будто не дышит
В объятиях мертвого сна.

И весь я вниманье — и сердцем
Далеко я в ночь уношусь,
И жду хоть единого звука —
И крикнуть хочу и — боюсь!

И вдруг с легким треском все небо
Подвинулось — звезды текут —
И катится месяц, как будто
На нем гроб тяжелый везут.

И темные тучи печальным
Над ним балдахином висят,
И красные звезды, как свечи,
Повитые крепом, горят.

И катится месяц все дальше
И дальше в бездонную ночь —
И звезды за ним в бесконечность
Уходят из глаз моих прочь...

Их след, как дымок от фосфора,
Как облачко в черной дали,
Расплылся — и мрак непроглядный
Одел мертвый череп земли.

И стал я блуждать в этом мраке
Один — как слепец. Не ночной —
Могильный был мрак, и повсюду
Была тишина и покой.

Такой был покой и такая
Была тишина, что листок
В лесу покачнись — или капля
Скатись — я услышать бы мог.

То весь замирал я — и долго
Стоял неподвижно,— то бил
Я в землю ногами, не видя
Ни ног, ни земли; то ходил.

Кружась, как помешанный,— падал —
Лежал — сам с собой говорил —
Вставал — щупал воздух руками —
И вдруг — чью-то руку схватил...

И мигом я понял, что это
Была не мужская рука,
У ней были нежные пальцы,
Она была стройно-легка.

И так эту руку схватил я,
Как будто добычу поймал,
И так я был рад, что, казалось,
На время дышать перестал.

«Ага! не один я — не все мы
Пропали! — я думал.— Есть грудь
Другая, которая может
И закричать и вздохнуть».

«О, кто ты? — шептал я,— хоть слово
Скажи мне,— хоть слово! — и мне
Она будет музыкой в этой
Могильной, немой тишине...

Откуда ты шла? — Где застигла
Тебя эта тьма? — говори!
Мне звуки речей твоих будут
Сиянием новой зари».

Молчанье — молчанье — ни слова,
Ни вздоха... Одна лишь рука
Незримая руку мне жала
И трепетала слегка.

Напрасно порывисто, жадно
Уста я устами ловил,
Напрасно лобзал ее в очи
И плечи слезами кропил.

Она предавала все тело
Мучительным ласкам моим;
А я — я шептал: «Умоляю,
Порадуй хоть словом одним».

Молчанье, молчанье — и вот уж
Я сам перестал говорить,
Я помню, во сне, как безумец,
Готов был ее укусить!!

Но в эту минуту, рванувшись,
Как змей ускользнула она,
И стало опять — мрак во мраке —
И в тишине — тишина...

С простертыми долго руками
Ходил я, рыдая, стеня,
Шатаясь — и тьму обнимал я,
И тьма обнимала меня.

Споткнувшись на что-то, я поднял
Какую-то книгу — раскрыл
Страницы — и лег с ней на землю —
И лбом к ней припал — и застыл.

Из книги, мне чудилось, буквы
Всплывали — и ярче огня
Сверкали и в жгучие строки
Слагались в мозгу у меня.

И страшные мысли читал я
В невидимой книге — как вдруг —
На слове «проклятье» очнулся —
И оглянулся вокруг.

О боже мой! где я!! — сквозь щели
Затворенных ставень сквозят
Лучи золотые, то солнца
Глаза золотые глядят.

Глядят и смеются — и сердце
Очнулось — и, жизни привет
Почуя, взыграло, как будто
Впервые увидело свет...

⟨1856—1859⟩

* * *

Ты моя раба, к несчастью!..
Если я одною властью,
Словно милость, дам тебе —
Дам тебе — моей рабе,
Золотой свободы крылья,
Ты неволю проклянешь
И, как дикая орлица,
Улетишь и пропадешь...

Если я, как брат, ликуя,
И любя, и соревнуя

Людям правды и добра,
Дам тебе, моя сестра,
Золотой свободы крылья,
Ты за все меня простишь
И, быть может, как голубка,
Далеко не улетишь?!

1850-е годы

ЧАЙКА

Поднял корабль паруса;
В море спешит он, родной покидая залив,
Буря его догнала и швырнула на каменный риф.

Бьется он грудью об грудь
Скал, опрокинутых вечным прибоем морским,
И белогрудая чайка летает и стонет над ним.

С бурей обломки его
Вдаль унеслись; — чайка села на волны — и вот,
Тихо волна, покачав ее, новой волне отдает.

Вон — отделились опять
Крылья от скачущей пены — и ветра быстрей
Мчится она, упадая в объятья вечерних теней.

Счастье мое, ты — корабль:
Море житейское бьет в тебя бурной волной;
Если погибнешь ты, буду как чайка стонать над тобой.

Буря обломки твои
Пусть унесет! но — пока будет пена блестеть,
Дам я волнам покачать себя, прежде чем в ночь улететь.

⟨1860⟩

* * *

Я ль первый отойду из мира в вечность — ты ли,
Предупредив меня, уйдешь за грань могил,
Поведать небесам страстей земные были,
Невероятные в стране бесплотных сил!

Мы оба поразим своим рассказом небо
Об этой злой земле, где брат мой просит хлеба,
Где золото к вражде — к безумию ведет,
Где ложь всем явная наивно лицемерит,
Где робкое добро себе пощады ждет,
А правда так страшна, что сердце ей не верит,
Где — ненавидя — я боролся и страдал,
Где ты — любя — томилась и страдала;
Но —
Ты скажи, что я не проклинал;
А я скажу, что ты благословляла!..

⟨1860⟩

БЕЗУМИЕ ГОРЯ

(Посв. пам. Ел. П...й)

Когда, держась за ручку гроба,
Мой друг! в могилу я тебя сопровождал —
Я думал: умерли мы оба —
И как безумный — не рыдал.
И представлялось мне два гроба:
Один был твой — он был уютно-мал,
И я его с тупым, бессмысленным вниманьем
В сырую землю опускал;
Другой был мой — он был просторен,
Лазурью, зеленью вокруг меня пестрел,
И солнца диск, к нему прилаженный, как бляха
Роскошно золоченная, горел.
Когда твой гроб исчез, забросанный землею,
Увы! мой — все еще насмешливо сиял,
И озирался я, покинутый тобою,
Душа души моей! — и смутно сознавал,
Как нелегко в моем громадно-пышном гробе
Забыться — умереть настолько, чтоб забыть
Любви утраченное счастье,
Свое ничтожество и — жажду вечно жить.
И порывался я очнуться — встрепенуться —
Подняться — вечную мою гробницу изломать —
Как саван сбросить это небо,
На солнце наступить и звезды разметать —
И ринуться по этому кладбищу,

Покрытому обломками светил,
Туда, где ты — где нет воспоминаний,
Прикованных к ничтожеству могил.

1860

* * *

Я читаю книгу песен,
«Рай любви — змея любовь» —
Ничего не понимаю —
Перечитываю вновь.

Что со мной! — с невольным страхом
В душу крадется тоска...
Словно книгу заслонила
Чья-то мертвая рука —

Словно чья-то тень поникла
За плечом — и в тишине
Тихо плачет — тихо дышит
И дышать мешает мне.

Словно эту книгу песен
Прочитать хотят со мной
Потухающие очи
С накипевшею слезой.

1 марта 1861

* * *

Признаться сказать, я забыл, господа,
Что думает алая роза, когда
Ей где-то во мраке поет соловей,
И даже не знаю, поет ли он ей.
Но знаю, что думает русский мужик,
Который и думать-то вовсе отвык...
Освобождаемый добрым царем,
Все розги да розги он видит кругом,
И думает он: «То-то станут нас бить,
Как мы захотим на свободе-то жить...»

Признаться, забыл я — не знаю, о чем
Беседуют звезды на небе ночном,
И точно ли жаждут упиться росой
Цветы полевые в полуденный зной,
Но знаю, о чем тайно плачет бедняк,
Когда, запирая свой пыльный чердак,
Лежит он, и мрачен, и зол оттого,
Что даже не смеет любить никого,
И зол он на звезды — что с неба глядят,
Как люди глядят — и помочь не хотят.

Я вам признаюсь, что я знать не могу,
Что думает птица, когда на лугу
Холодный туман начинает бродить,
А солнце встает и не смеет светить.
Но знаю — ох, знаю, что мыслит поэт,
Когда для него гаснет солнечный свет.
«Ведь я у цензуры слуга крепостной»,—
Так думает он — и, холодной рукой
Сдавя свою голову, тихо поет,
Когда его музу цензура сечет.

Признаться, не знаю, что думает пес,
Когда птички крадут в навозе овес,
Когда кот пушистым виляет хвостом,
Не знаю, что думают мыши об нем,
Но знаю, что думают слуги царя,
Ближайшие слуги! Усердьем горя,
Они день и ночь молят господа сил,
Чтоб он взволновать им народ пособил:
Дай, боже! царя убедить нам хоть раз,
Что плохо бы было престолу без нас;
Ведь эдакий глупый, презренный народ:
Как хочешь дразни — ничего не берет.

20 марта 1861

* * *

Когда б любовь твоя мне спутницей была,
О, может быть, в огне твоих объятий
Я проклинать не стал бы даже зла,
Я б не слыхал ничьих проклятий! —
Но я один — один,— мне суждено внимать
Оков бряцанью — крику поколений —

Один — я не могу ни сам благословлять,
Ни услыхать благословений! —
То клики торжества... то похоронный звон,—
Все от сомнения влечет меня к сомненью...
Иль, братьям чуждый брат, я буду осужден
Меж них пройти неслышной тенью!
Иль, братьям чуждый брат, без песен, без надежд,
С великой скорбию моих воспоминаний,
Я буду страждущим орудием невежд,
Подпоркою гнилых преданий!

1861

ДАВНИШНЯЯ ПРОСЬБА

Минаев! юный наш поэт,
Литературный обличитель,
Учитель мой и покровитель,
Мне без тебя спасенья нет.

Учи меня — снабди советом,
Как мне писать, как мне не быть
Кабалистическим поэтом,
И чем тебя развеселить.

Как *лучшие свои надежды*
И верованья осмеять,
С тем, чтоб на глупый бред невежды
Благоговейно уповать.

Отделаться от идеала
Искусственных понятий — и
Взять роль искусного нахала
Или войти во вкус свиньи.

Как наплевать в лицо искусству,
С тем, чтоб искуснее писать —
Как, покоряясь только чувству,
В минуту скорби хохотать.

Как злиться мне, когда нет злости,
Хоть ты попробуй разозлить:
Я — злой — готов к тебе же в гости
Приехать и благодарить.

Быть может, с *темным человеком*
Я у тебя кой-как сойдусь,
И вместе с ним за юным веком
Идти в потемках соглашусь.

И стану я о бедном брате
Сквозь видный миру смех рыдать,
И, как на *вздернутом канате,*
На поле фраз начну плясать.

Тогда-то Писарев и чувство,
И мысль в стихе моем найдет,
Он и теперь за мной искусство
Прически делать признает.

За комплимент не принимаю
Действительную похвалу,
Я и теперь изобретаю
Прическу одному ослу.

Искусство есть — а злости мало —
Взбеси меня, мой друг поэт,
И я начну кого попало
Трепать, свистя на целый свет.

Но как трепать?! Учи, советуй,
Я благодарность окажу,
И в дни всеобщей трепки этой
Твою прическу пощажу.

1861

БЕГЛЫЙ

«Ты куда, удалая ты башка?
Уходи ты к лесу темному пока:
Не сегодня — завтра свяжут молодца.
Не ушел ли ты от матери-отца?
Не гулял ли ты за Волгой в степи?
Не сидел ли ты в остроге на цепи?»

«Я сидел и в остроге на цепи,
Я гулял и за Волгой в степи,
Да наскучила мне волюшка моя,
Воля буйная, чужая, не своя.
С горя, братцы, изловить себя я дал —
Из острога, братцы, с радости бежал.

Как в остроге-то послышалося нам,
Что про волю-то читают по церквам,—
Уж откуда сила-силушка взялась:
Цепь железная, и та, вишь, порвалась!
И задумал я на родину бежать;
Божья ночка обещалась покрывать.

Я бежал — ног не чуял под собой...
Очутился на сторонушке родной,
Тут за речкой моя матушка живет,
Не разбойничка, а сына в гости ждет.
Я сначала постучуся у окна —
Выходи, скажу, на улицу, жена!

Ты не спрашивай, в лицо мне не гляди,
От меня, жена, гостинчика не жди.
Много всяких я подарков тебе нес,
Да, вишь, как-то по дороге все растрес;
Я вина не пил — с воды был пьян,
Были деньги — не зашил карман.

Как нам волю-то объявят господа,
Я с воды хмелен не буду никогда;
Как мне землю-то отмерят на миру —
Я в кармане-то зашью себе дыру.
Буду в праздники царев указ читать...
Кто же, братцы, меня может забижать?»

«Ты куда, удалая ты башка?
Уходи ты к лесу темному пока.
Хоть родное-то гнездо недалеко,—
Ночь-то месячна: признать тебя легко.
Знать, тебе в дому хозяином не быть,
По дорогам, значит, велено ловить».

‹1861›

ОДНОМУ ИЗ УСТАЛЫХ

Ожесточила ли тебя людская тупость,
Иль повседневная сует их кутерьма,
Их сердца старческая скупость,
Или ребячество их гордого ума;
Вся эта современность злая,
Вся эта бестолочь живая,

Весь этот сонм тиранов и льстецов,
Иль эта кучка маленьких бойцов,
Самолюбивых и в припадках гнева
Готовых бить направо и налево.
Устал ли ты науку догонять,
Иль гнаться по следам младого поколенья —
Не говори, что хочешь ты бежать,
В глуши искать уединенья.
К чему! — Прошли те дни, когда лесную глушь
Преданье чудными духами населяло,
Когда отшельника незримо навещала
Семья оплаканных им душ,
Когда дитя фантазии народной,
Со дна реки на свет луны холодной
Всплывала и его дразнила наготой
Русалка бледная с зеленою косой;
Когда под шумный говор леса
Пустынник, тихую лампаду засветя,
Молился, а его, как малое дитя,
Хранитель-ангел блюл от беса,
И одиноким не был он,
Бесплотных сил толпой повсюду окружен.
И были для него, как мир, разнообразны
Неизъяснимые то страхи, то соблазны.
Ну, а тебя, товарищ старый мой,
Все эти чудеса займут едва ли!
Мы от мифических годов с тобой отстали
И унесем в пустыню за собой
На дне души разбитой, но живой
Невыносимые воспоминанья,
Неутолимые, законные желанья
И жажду жить и двигаться с толпой.
О! я б и сам желал уединиться,
Но, друг, мы и в глуши не перестанем злиться
И к злой толпе воротимся опять.
Не говори мне, что природа — мать:
Она детей не любит одиноких,
Ожесточенных, так же как жестоких,
Природа не умеет утешать.
И ничего не сделает природа
С таким отшельником, которому нужна
Для счастия законная свобода,
А для свободы — вольная страна.

16 мая 1862

ДВОЙНИК

Я шел и не слыхал, как пели соловьи,
Я не видал, как звезды загорались,
И слушал я шаги — шаги, не знаю чьи,
За мной в лесной глуши неясно повторялись.
Я думал — эхо, зверь, колышется тростник;
Я верить не хотел, дрожа и замирая,
Что по моим следам, на шаг не отставая,
Идет не человек, не зверь, а мой двойник.
То я бежать хотел, пугливо озираясь,
То самого себя, как мальчика, стыдил...
Вдруг злость меня взяла — и, страшно задыхаясь,
Я сам пошел к нему навстречу и спросил:
— Что ты пророчишь мне или зачем пугаешь?
Ты призрак иль обман фантазии больной?
— Ах! — отвечал двойник,— ты видеть мне мешаешь
И не даешь внимать гармонии ночной;
Ты хочешь отравить меня своим сомненьем,
Меня — живой родник поэзии твоей!..—
И, не сводя с меня испуганных очей,
Двойник мой на меня глядел с таким смятеньем,
Как будто *я* к нему среди ночных теней —
Я, а не *он*, ко мне явился привиденьем.

⟨1862⟩

БЕЛАЯ НОЧЬ

Дым потянуло вдаль, повеяло прохладой.
Без тени, без огней, над бледною Невой
Идет ночь белая — лишь купол золотой
Из-за седых дворцов, над круглой колоннадой,
Как мертвеца венец перед лампадой,
Мерцает в высоте холодной и немой.
Скажи, куда идти за счастьем, за отрадой,
Скажи, на что ты зол, товарищ бедный мой?!
Вот — темный монумент вознесся над гранитом...
Иль мысль стесненная твоя
Спасенья ищет в жале ядовитом,
Как эта медная змея
Под медным всадником, прижатая копытом
Его несущего коня...

⟨1862⟩

* * *

(Е. А. Штакеншнейдер)

Ползет ночная тишина
Подслушивать ночные звуки...
Травою пахнет, и влажна
В саду скамья твоя... Больна,
На книжку уронивши руки,
Сидишь ты, в тень погружена,
И говоришь о днях грядущих,
Об угнетенных, о гнетущих,
О роковой растрате сил,
Которых ключ едва пробил
Кору тупого закосненья,
О всем, что губит вдохновенье,
Чем так унижен человек
И что великого презренья
Достойно в наш великий век.

А там — сквозь тень — огни за чаем,
Сквозь окна — музыка... Серпом
Блестит луна, и лес кругом,
С его росой и соловьем,
И ты назвать готова раем
И этот сад, и этот дом.

Страну волков преображая
В подобие земного рая,
Здесь речка вышла из болот,
На тундрах дом возник — и вот
Трудом тяжелым, неустанным
Кругом все ожило, нежданным
Паденьем безмятежных вод
Возмущены ночные тени,
И усыпительно для лени
Однообразно жернова
Шумят,— и лодка у плотины,
И Термуса из белой глины
Вдали мелькает голова...

Здесь точно рай, и ты привыкла
К благополучью своему.
Здесь рай. Зачем же ты поникла
И вновь задумалась к чему?

Иль поняла, что рай твой тесен
Для гражданина и для песен,
Что мысли здесь займут луна,
Цветы, грибы, прогулки летом,
И новой жизни семена
Взойдут, быть может, пустоцветом;
Что в этом маленьком раю
Все измельчает понемногу.
Иные скажут: «Слава богу!»
А ты,— ты, голову свою
Повесив, будешь, как немая
Сидеть и думать: «Боже мой!»
Как хорошо бежать из рая
И окунуться с головой
В жизнь, поднимающую вой,
Как злое море под грозой...»

Мыза Ивановка. 1862

ПОЦЕЛУЙ

И рассудок, и сердце, и память губя,
Я недаром так жарко целую тебя —
Я целую тебя и за ту, перед кем
Я таил мои страсти — был робок и нем,
И за ту, что меня обожгла без огня,
И смеялась, и долго терзала меня.
И за ту, чья любовь мне была бы щитом,
Да, убитая, спит под могильным крестом.
Все, что в сердце моем загоралось для них,
Догорая, пусть гаснет в объятьях твоих.

⟨1863⟩

СТАРЫЙ ОРЕЛ

Еще на солнце я гляжу и не моргаю,
И вижу далеко играющих орлят —
Отлет их жадными глазами провожаю,
И знать хочу — куда они летят...
Но я отяжелел — одрях — не без кручины
Сижу один я на краю стремнины,
У разоренного гнезда,
И только изредка, позабывая годы,
На отдаленный шум их крыл и клич свободы:
«Сюда, сюда! старик, сюда!» —

Я поднимаю машущие крылья,
Хочу лететь насколько хватит сил.
Увы! напрасные усилья!
Я только с камней пыль сметаю взмахом крыл —
И, утомленный, вновь дремлю, сомкнув зеницы,
И жду, когда в горах погаснет красный день,—
За мной появится блуждающая тень
Моей возлюбленной орлицы...

⟨1863⟩

* * *

Твой скромный вид таит в себе
Так много силы страстной воли,
Что не уступишь ты судьбе
Ни шагу без борьбы и боли.

Мгновенья счастья ты трудом
Или болезнями искупишь;
Но пред общественным судом
Ресниц стыдливо не потупишь.

Свет осужден тобою — он
Не может дать тебе закона;
Святая правда — твой закон,
Святая гордость — оборона.

Пускай поэта стих живой
В тебе отзыва не находит,
Поэт, отвергнутый тобой,
Тебя и встретит и проводит.

Осмеянный певец любви
Не осмеет твои порывы —
Откликнется на все призывы,
На все страдания твои.

⟨1863⟩

* * *

Заплетя свои темные косы венцом,
Ты напомнила мне полудетским лицом
Все то счастье, которым мы грезим во сне,
Грезы детской любви ты напомнила мне.

Ты напомнила мне зноем темных очей
Лучезарные тени восточных ночей —
Мрак цветущих садов — бледный лик при луне,—
Бури первых страстей ты напомнила мне.

Ты напомнила мне много милых теней
Простотой, темным цветом одежды твоей.
И могилу, и слезы, и бред в тишине
Одиноких ночей ты напомнила мне.

Все, что в жизни с улыбкой навстречу мне шло,
Все, что время навек от меня унесло,
Все, что гибло, и все, что стремилось любить,—
Ты напомнила мне.— Помоги позабыть!

14 сентября 1864

В АЛЬБОМ К. Ш...

Писатель, если только он
Волна, а океан — Россия,
Не может быть не возмущен,
Когда возмущена стихия.
Писатель, если только он
Есть нерв великого народа,
Не может быть не поражен,
Когда поражена свобода.

1864

* * *

Все, что меня терзало,— все давно
Великодушно прощено
Иль равнодушно позабыто,
И если б сердце не было разбито,
Не ныло от усталости и ран,—
Я б думал: все мечта, все призрак, все обман.
Надежды гибли, слезы высыхали,
Как бури, страсти налетали
И разлетались, как туман,—
И ты, которая, даря меня мечтами,
Была отрадой для души больной,
Унесена — исчезла за горами,
Как облачко с поднявшейся росой...

⟨1864⟩

* * *

Чтобы песня моя разлилась как поток,
Ясной зорьки она дожидается:
Пусть не темная ночь, пусть горящий восток
Отражается в ней, отливается.
Пусть чиликают вольные птицы вокруг,
Сонный лес пусть проснется-нарядится,
И сова — пусть она не тревожит мой слух
И, слепая, подальше усядется.

⟨1864⟩

ЧУЖОЕ ОКНО

Помню, где-то в ночь с проливным дождем
Я бродил и дрог под чужим окном;
За чужим окном было так светло,
Так манил огонь, что я — стук в стекло...
Боже мой! какой поднялся содом!
Как встревожил я благородный дом!
«Кто стучит! — кричат,— убирайся, вор!
Аль не знаешь, где постоялый двор!..»
Ваше сердце мне — тоже дом чужой,
Хоть и светит в нем огонек порой,
Да уж я учен — не возьму ничего,
Чтоб с отчаянья постучать в него...

⟨1864⟩

ВЕК

Век девятнадцатый — мятежный, строгий век —
Идет и говорит: «Бедняжка человек!
О чем задумался? бери перо, пиши:
В твореньях нет творца, в природе нет души.
Твоя вселенная — броженье сил живых,
Но бессознательных,— творящих, но слепых,
Нет цели в вечности; жизнь льется как поток,
И, на ее волнах мелькнувший пузырек,
Ты лопнешь, падая в пространство без небес,—
Туда ж, куда упал и раб твой, и Зевес,
И червь, и твой кумир; фантазию твою
Я разбиваю в прах... покорствуй, я велю!»

Он пишет — век идет; он кончил — век проходит.
Сомненья вновь кипят, ум снова колобродит,—
И снова слушает бедняжка-человек,
Что будет диктовать ему грядущий век...

⟨1864⟩

ЧТО, ЕСЛИ

Что, если на любовь последнюю твою
Она любовью первою ответит
И, как дитя, произнесет: «Люблю»,—
И сумеркам души твоей посветит?
Ее беспечности, смотри, не отрави
        Неугомонным подозреньем;
        К ее ребяческой любви
Не подходи ревнивым привиденьем.
Очнувшись женщиной, в испуге за себя,
Она к другому кинется в объятья
И не захочет понимать тебя,—
И в первый раз услышишь ты проклятья,
        Увы! в последний раз любя.

⟨1864⟩

ПОСЛЕДНИЙ ВЗДОХ

«Поцелуй меня...
Моя грудь в огне...
Я еще люблю...
Наклонись ко мне».
Так в прощальный час
Лепетал и гас
Тихий голос твой,
Словно тающий
В глубине души
Догорающей.
Я дышать не смел —
Я в лицо твое,
Как мертвец, глядел —
Я склонил мой слух...
Но, увы! мой друг,
Твой последний вздох
Мне любви твоей

Досказать не мог.
И не знаю я,
Чем развяжется
Эта жизнь моя!
Где доскажется
Мне любовь твоя!

⟨1864⟩

ПОЭТУ-ГРАЖДАНИНУ

О гражданин с душой наивной!
Боюсь, твой грозный стих судьбы не пошатнет.
Толпа угрюмая, на голос твой призывный
Не откликаяся, идет.

Хоть прокляни — не обернется...
И верь, усталая, в досужный час скорей
Любовной песенке сердечно отзовется,
Чем музе ропщущей твоей.

Хоть плачь — у ней своя задача:
Толпа-работница считает каждый грош;
Дай руки ей свои, дай голову,— но плача
По ней, ты к ней не подойдешь.

Тупая, сильная, не вникнет
В слова, которыми ты любишь поражать,
И к поэтическим страданьям не привыкнет,
Привыкнув иначе страдать.

Оставь напрасные воззванья!
Не хныкай! Голос твой пусть льется из груди,
Как льется музыка,— в цветы ряди страданья,
Любовью — к правде нас веди!

Нет правды без любви к природе,
Любви к природе нет без чувства красоты,
К познанью нет пути нам без пути к свободе,
Труда — без творческой мечты...

⟨1864⟩

* * *

Любви не боялась ты, сердцем созревшая рано:
Поверила ей, отдалась — и грустишь одиноко...
О бедная жертва неволи, страстей и обмана,
Порви ты их грязную сеть и не бойся упрека!

Людские упреки — фальшивая совесть людская...
Не плачь, не горюй, проясни отуманенный взор
твой!
Ведь я не судья, не палач,— хоть и знаю, что злая
Молва подписала — заочно, смеясь — приговор твой.

Но каждый из нас разве не был страстями обманут?
Но разве враги твои могут смеяться до гроба?
И разве друзья твою душу терзать не устанут?..
Без повода к злу у людей выдыхается злоба...

И все, что в тебе было дорого, чисто и свято,
Для любящих будет таким же священным казаться;
И щедрое сердце твое будет так же богато —
И так же ты будешь любить и, любя, улыбаться.

⟨1864⟩

* * *

Рассказать ли тебе, как однажды
Хоронил друг твой сердце свое,
Всех знакомых на пышную тризну
Пригласил он и позвал *ее*.

И в назначенный час панихиды,
При сиянии ламп и свечей,
Вкруг убитого сердца толпою
Собралось много всяких гостей.

И *она* появилась — все так же
Хороша, холодна и мила,
Он с улыбкой красавицу встретил;
Но *она* без улыбки вошла.

Поняла ли *она*, что за праздник
У него на душе в этот день
Иль убитого сердца над нею
Пронеслась молчаливая тень?

Иль боялась *она*, что воскреснет
Это глупое сердце — и вновь
Потревожит ее жаждой счастья —
Пожелает любви за любовь!

В честь убитого сердца заезжий
Музыкант «Marche funèbre» играл,
И гремела рояль — струны пели,
Каждый звук их как будто рыдал.

Его слушая, томные дамы
Опускали задумчивый взгляд,—
Вообще они тронуты были,
Ели дули и пили оршад.

А мужчины стояли поодаль,
Исподлобья глядели на дам,
Вынимали свои папиросы
И курили в дверях фимиам.

В честь убитого сердца какой-то
Балагур притчу нам говорил,
Раздражительно-грустную притчу,—
Но до слез, до упаду смешил.

В два часа появилась закуска,
И никто отказаться не мог
В честь убитого сердца отведать,
Хорошо ли состряпан пирог?

Наконец, слава богу, шампанским
Он *ее* и гостей проводил —
Так, без жалоб, роскошно и шумно
Друг твой сердце свое хоронил.

1864

* * *

Время новое повеяло — смотри,
Время новое повеяло крылом:
У одних глаза вдруг вспыхнули огнем,
Словно луч в лицо ударил от зари,
У других глаза померкли и чело
Потемнело, словно облако нашло...

⟨1865⟩

* * *

Наплывает туча с моря,
Ночь и гром, чего я жду...
Ах! куда, зачем я в гору,
Тяжело дыша, иду!
Али бремя не по силам
Взял я на душу мою...
Холод мысли непреклонный,
Страсти жар неутоленный
И тоску, тоску-змею...

⟨1865⟩

* * *

И в праздности горе, и горе в труде...
Откликнитесь, где вы, счастливые, где?
Довольные, бодрые, где вы?
Кто любит без боли, кто мыслит без страха?
Кого не тревожит упрек или плач?
Суда и позора боится палач —
Свободе мерещится плаха...
Хоть сотую долю тяжелых задач
Реши ты нам, жизнь бестолковая,
Некстати к нам нежная,
Некстати суровая,
Слепая,— беспутно мятежная!..

⟨1865⟩

Ф. И. ТЮТЧЕВУ

Ночной костер зимой у перелеска,
Бог весть кем запален, пылает на бугре,
Вокруг него, полны таинственного блеска,
Деревья в хрусталях и белом серебре;
К нему в глухую ночь и запоздалый пеший
Подсядет, и с сумой приляжет нищий брат,
И богомолец, и, быть может, даже леший;
Но мимо пролетит, кто счастием богат.
К его щеке горячими губами
Прильнула милая,— на что им твой костер!
Их поцелуй обвеян полуснами,
Их кони мчат, минуя косогор.

Кибитка их в сугробе не увязнет,
Дорога лоснится, полозьев след визжит,
За ними эхо по лесу летит,
То издали им жалобно звенит,
То звонким лепетом их колокольчик дразнит.

Так и к тебе, задумчивый поэт,
К огню, что ты сберег на склоне бурных лет,
Счастливец не придет. Огонь под сединами
Не греет юности, летящей с бубенцами
На тройке ухарской, в тот теплый уголок,
Где ждет ее к столу кутил живой кружок
Иль полог, затканный цветами.

Но я — я бедный пешеход,
Один шагаю я, никто меня не ждет...
Глухая ночь меня застигла,
Морозной мглы сверкающие игла
Открытое лицо мое язвят;
Где б ни горел огонь, иду к нему, и рад —
Рад верить, что моя пустыня не безлюдна,
Когда по ней кой-где огни еще горят...
. . . .

1865

НЕИЗВЕСТНОСТЬ

Кто этот гений, что заставит
Очнуться нас от тяжких снов,
Разъединенных мысли сплавит
И силу новую поставит
На место старых рычагов?
Кто упростит задачи сложность?
Кто к совершенству даст возможность
Расчистить миллион дорог?
Кто этот дерзкий полубог?
Кто нечестивец сей блаженный?
Кто гениальный сей глупец?
Пророк-фанатик вдохновенный
Или практический мудрец?..
Придет ли он как утешитель
Иль как могучий, грозный мститель,
Чтоб образумить племена;
Любовь ли в нужды наши вникнет,

Иль ненависть народам кликнет,
Пойдет и сдвинет знамена?
Бог весть! напрасно ум гадает,
А там предтеча, может быть,
Уже проселками шагает,
Глубоко верит и не знает,
Где ночевать, что есть и пить.
Кто знает, может быть, случайно
Он и к тебе уж заходил,
Мечты мечтами заменил
И в молодую душу тайно
Иные думы заронил.

⟨1865⟩

ПЛОХОЙ МЕРТВЕЦ

Схоронил я навек и оплакал
Мое сердце — и что ж наконец!
Чудеса наконец! — Шевелится,
Шевелится в груди мой мертвец...
Что с тобой, мое бедное сердце?
— Жить хочу, выпускай на простор!
Из-за каждой хорошенькой куклы
Стану я умирать, что за вздор!

Мир с тобой, мое бедное сердце!
Я недаром тебя схоронил,
Для кого тебе жить! Что за радость
Трепетать, выбиваться из сил!
Никому ты не нужно — покойся!
— Жить хочу — выпускай на простор!
Из-за каждой хорошенькой куклы
Стану я умирать, что за вздор!

⟨1865⟩

* * *

Слышу я, моей соседки
Днем и ночью, за стеной,
Раздается смех веселый,
Плачет голос молодой —
За моей стеной бездушной

Чью-то душу слышу я,
В струнных звуках чье-то сердце
Долетает до меня.

За стеной поющий голос —
Дух незримый, но живой,
Потому что и без двери
Проникает в угол мой,
Потому что и без слова
Может мне в ночной тиши
На призыв звучать отзывом,
Быть душою для души.

1865

ПОЗДНЯЯ МОЛОДОСТЬ

Лета идут — идут и бременят —
Суровой старости в усах мелькает иней,—
Жизнь многолюдная, как многогрешный ад,
Не откликается — становится пустыней —
Глаза из-под бровей завистливо глядят,
Улыбка на лице морщины выгоняет.
    Куда подчас нехороша
Улыбка старости, которая страдает!
А между тем безумная душа
    Еще кипит, еще желает.

Уже боясь чарующей мечты,
Невольно, может быть, она припоминает,
    При виде каждой красоты,
Когда-то свежие и милые черты
Своих богинь, давно уже отцветших,—
    И мнит из радостей прошедших
Неслыханные радости создать,
Отдаться новым искушеньям —
Последним насладиться наслажденьем,
    Последнее отдать.

Но страсть, лишенная живительной награды,
    Как жалкий и смешной порыв,
Сменяется слезой отчаянной досады
Иль гаснет, тщетные желанья изнурив.
Так музыкант, каким бы в нем огнем
    Ни пламенели памятные звуки,

С разбитой скрипкой, взятой в руки,
Стоит с понуренным челом.
В душе любовь — и слезы — и перуны —
И музыки бушующий поток —
В руках — обломки,— порванные струны
Или надломленный смычок.

⟨1866⟩

СРЕДИ ХАОСА

Я не того боюсь, что время нас изменит,
Что ты полюбишь вновь или простыну я.
Боюсь я — дряблый свет сил свежих не оценит,
Боюсь — каприз судьбы в лохмотья нас оденет,
Не даст прохлады в зной, в мороз не даст огня...

Отдамся ль творчеству в минуты вдохновенья! —
К поэзии чутье утратил гордый век:
В мишурной роскоши он ищет наслажденья,
Гордится пушками — боится разоренья,
И первый враг его — есть честный человек.

Наука ль, озарив рассудок мой, понудит
Сонливые умы толкать на верный след! —
Мой связанный язык, скажи, кого разбудит?
Невежество грозит и долго, долго будет
Грозить, со всех сторон загородивши свет.

Вооружу ли я изнеженные руки
Пилой и топором, чтоб с бедною толпой
Делить поденный труд,— ужели, боже мой!
Тебя утешит, в дни томительной разлуки,
Мечта, что я вернусь голодный иль больной?

Чудес ли ожидать без веры в тайны неба!
Иль верить нам в металл — как в высшее добро?
Но биржа голосит: где наше серебро?!
Богач клянет долги, работник ищет хлеба,
Писатель продает свободное перо.

Покоя ль ожидать! — но там, где наши силы
Стремятся на простор и рвутся из пелен,
Где правды нет еще, а вымыслы постылы,—
Там нет желанного покоя вне могилы,
Там даже сон любви — больной, тревожный сон.

Случайность не творит, не мыслит и не любит,
А мы — мы все рабы случайности слепой,
Она не видит нас и не жалея губит;
Но верит ей толпа, и долго, долго будет
Ловить ее впотьмах и звать ее *судьбой.*

Повалит ли меня случайность та слепая?
Не знаю, но дай бог, чтоб был я одинок,
Чтоб ты не падала, мне руки простирая...
Нет — издали заплачь, и — пусть толпа, толкая
Друг друга, топчет мой, не нужный ей, венок.

⟨1866⟩

ДЕТСКОЕ ГЕРОЙСТВО

Когда я был совсем дитя,
    На палочке скакал я;
Тогда героем не шутя
    Себя воображал я.

Порой рассказы я читал
    Про битвы да походы —
И, восторгаясь, повторял
    Торжественные оды.

Мне говорили, что сильней
    Нет нашего народа;
Что всех ученей и умней
    Поп нашего прихода;

Что всех храбрее генерал,
    Тот самый, что всех раньше
На чай с ученья приезжал
    К какой-то капитанше.

В парадный день, я помню, был
    Развод перед собором —
Коня он ловко осадил
    Перед тамбурмажором.

И с музыкой прошли полки...
    А генерал в коляске
Проехал, кончиком руки
    Дотронувшись до каски.

Поп был наставником моим
Первейшим из мудрейших,
А генерал, с конем своим,
Храбрейшим из первейших.

Я верил славе — и кричал:
«Дрожите, супостаты!»
Себе врагов изобретал —
И братьев брал в солдаты.

Богатыри почти всегда
Детьми боготворимы,
И гордо думал я тогда,
Что все богатыри мы.

И ничего я не щадил
(Такой уж был затейник!) —
Колосьям головы рубил,
В защиту брал репейник.

Потом трубил в бумажный рог,
Кичась неравным боем,
О! для чего всю жизнь не мог
Я быть таким героем!

⟨1866⟩

СПУСТЯ 15 ЛЕТ

Там, где на каменные мысы
Буруны хлещут, а в горах
Сады, плющи и — кипарисы
У светлых лестниц на часах,

Там, где когда-то равнодушный
К весне моих тридцатых лет,
Я не сносил ни лжи бездушной,
Ни деспотизма, ни клевет,—

Не благодатный ветер южный,
Не злого моря бурный вал
Остепенял мой жар недужный,
Мне раны сердца врачевал.

Нет,— я встречал людей с душою,
Счастливых, добрых и простых,
За них мирился я с судьбою
И сердцем счастлив был при них;

Я отдыхал в их тесном круге,
Их ласкам верил как добру,
Я видел брата в каждом друге
И в каждой женщине сестру.

Но и тогда, как будто скован
Их сладко дремлющим умом,
Я втайне не был очарован
Их счастья будничным венцом,—

Иных людей я жаждал встретить,
Иные страсти испытать,
На зов их трепетом ответить,
Торжествовать иль погибать.

Пора титановских стремлений,
Дух бескорыстного труда,
Часы горячих вдохновений,
Куда умчались вы,— куда!

Новорожденные титаны,
Где ваши тени! — я один,
Поклонник ваш, скрывая раны,
Брожу, как тень, среди руин...

В борьбе утраченные силы,
Увы! нескоро оживут...
Молчат далекие могилы,—
Темницы тайн не выдают.

⟨1866⟩

ОРЕЛ И ЗМЕЯ

На горах, под метелями,
Где лишь ели одни вечно зелены,
Сел орел на скалу в тень под елями
И глядит — из расселины
Выползает змея, извивается,
И на темном граните змеиная
Чешуя серебром отливается...

У орла гордый взгляд загорается:
Заиграло, знать, сердце орлиное,
«Высоко ты, змея, забираешься! —
Молвил он,— будешь плакать —
раскаешься!..»

Но змея ему кротко ответила:
«Из-под камня горючего
Я давно тебя в небе заметила
И тебя полюбила, могучего...
Не пугай меня злыми угрозами,
Нет! — бери меня в когти железные,
Познакомь меня с темными грозами
Иль умчи меня в сферы надзвездные».

Засветилися глазки змеиные
Тихим пламенем, по-змеиному,—
Распахнулися крылья орлиные,
Он прижал ее к сердцу орлиному.

Полетел с ней в пространство холодное;
Туча грозная с ним повстречалася:
Изгибаясь, змея подколодная
Под крыло его робко прижалася.

С бурей борются крылья орлиные:
Близко молния где-то ударила...
Он сквозь гром слышит речи змеиные —
Вдруг —
Змея его в сердце ужалила.

И в очах у орла помутилося,
Он от боли упал как подстреленный,
А змея уползла и сокрылася
В глубине, под гранитной расселиной.

⟨1866⟩

ЦЫГАНЫ

Скоро солнце взойдет...
Шевелися, народ,
Шевелись!.. Мы пожитки увязываем...
Надоело нам в зной
У опушки лесной —

Гайда в степь! Мы колеса подмазываем...
Куда туча с дождем,
Куда вихорь столбом,
И куда мы плетемся — не сказываем...
На потеху ребят
Мы ведем медвежат,
Снарядили козу-барабанщицу,
А до панских ворот
Мы пошлем наперед
Ворожить ворожейку-обманщицу.
Ворожейка бойка —
Воровская рука,
Да зато молода, черноокая!
Молода, весела...
Гей! идем до села...
Через поле дорога широкая.
Дождик вымоет нас,
Ветер высушит нас,
И поклонится нам рожь высокая...

23 ноября 1865

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ВРАГ

Господа! я нынче все бранить готов —
Я не в духе — и не в духе потому,
Что один из самых злых моих врагов
Из-за фразы осужден идти в тюрьму...

Признаюсь вам, не из нежности пустой
Чуть не плачу я,— а просто потому,
Что подавлена проклятою тюрьмой
Вся вражда во мне, кипевшая к нему.

Он язвил меня и в прозе, и в стихах;
Но мы бились не за старые долги,
Не за барыню в фальшивых волосах,
Нет! — мы были бескорыстные враги!

Вольной мысли то владыка, то слуга,
Я сбирался беспощадным быть врагом,
Поражая беспощадного врага;
Но — тюрьма его прикрыла, как щитом.

Перед этою защитой я — пигмей...
Или вы еще не знаете, что мы
Легче веруем под музыку цепей
Всякой мысли, выходящей из тюрьмы.

Иль не знаете, что даже злая ложь
Облекается в сияние добра,
Если ей грозит насилья острый нож,
А не сила неподкупного пера.

Я вчера еще перо мое точил,
Я вчера еще кипел и возражал; —
А сегодня ум мой крылья опустил,
Потому что я боец, а не нахал.

Я краснел бы перед вами и собой,
Если б узника да вздумал уличать!
Поневоле он замолк передо мной —
И я должен поневоле замолчать.

Он страдает, оттого что есть семья,—
Я страдаю, оттого что слышу смех:
Но что значит гордость личная моя,
Если истина страдает больше всех!

Нет борьбы, и — ничего не разберешь —
Мысли спутаны случайностью слепой,—
Стала светом недосказанная ложь,
Недосказанная правда стала тьмой.

Что же делать? и кого теперь винить?
Господа, во имя правды и добра —
Не за счастье буду пить я — буду пить
За свободу мне враждебного пера!

1866

НАПРАСНО

Напрасно иногда взывал он к тени милой
И ждал — былое вновь придет и воскресит
Все то, что мертвым сном спит, взятое могилой.
Придет — и усыпит любви волшебной силой
Ту жажду счастья, что проснулась и — томит.

Напрасно он хотел любовь предать забвенью,—
Чтоб ясный свет ее, утраченный навек,
Не раздражал его, подобно впечатленью
Потухшего огня, который красной тенью,
Рябя впотьмах, плывет из-под усталых век.

Напрасно он молил, отдавшись страсти новой:
— Хоть ты приди ко мне с улыбкой на устах!
Чтоб с новой силой мог я к старости суровой
На голове пронесть вражды венец терновый
И крест — тяжелый крест на слабых раменах.

Любовь не шла к нему, как месяц из тумана,
Жизнь в душу веяла, как ветер в зимний день.
Сильней час от часу горела в сердце рана,—
Но в новом образе в мир мрака и обмана
Не возвращалася возлюбленная тень.

1867

МУЗА

В туман и холод, внемля стуку
Колес по мерзлой мостовой,
Тревоги духа, а не скуку
Делил я с музой молодой.

Я с ней делил неволи бремя —
Наследье мрачной старины,
И жажду пересилить время —
Уйти в пророческие сны.
Ее нервического плача
Я был свидетелем не раз —
Так тяжела была для нас
Нам жизнью данная задача!
Бессилья крик иль неудача
Людей, сочувствующих нам,
По девственным ее чертам
Унылой тенью пробегала,
Дрожала бледная рука
И олимпийского венка
С досадой листья обрывала.
Зато печаль моя порой
Ее безжалостно смешила,
Она в венок лавровый свой
Меня, как мальчика, рядила.

Без веры в ясный идеал
Смешно ей было вдохновенье,
И звонкий голос заглушал
Мое рифмованное пенье.
Смешон ей был весь наш Парнас
И нами пойманная кляча —
Давно измученный Пегас;
Но этот смех — предвестник плача —
Ни разу не поссорил нас.

И до сего дня муза эта
Приходит тайно разделять
Тревоги бедного поэта,
Бодрит и учит презирать
Смех гаера и холод света.

⟨1867⟩

ВЛЮБЛЕННЫЙ МЕСЯЦ

(Посв. М. Л. Златковскому)

Моя барышня по садику гуляла,
По дорожке поздно вечером ходила —
С бриллиантиком колечко потеряла,
С белой ручки его, видно, обронила.

Как ложилась на кроватку, спохватилась;
Спохватившись, по коврам его искала...
Не нашла она колечка — обозлилась,—
Меня, бедную, воровкой обозвала.

И не знала я с тоски, куда деваться;
Хоть бы матушка воскресла — заступилась!..
Вышла в садик я тихонько прогуляться,
Увидала ясный месяц — застыдилась.

Слышу, месяц говорит мне — сам сияет:
«Не пугайся меня, красная девица!
Бедный месяц, как и ты, всю ночь блуждает,
И ему под темным пологом не спится.

И недаром в эту ночь я вышел — светел:
Много горя, много девушек видал я,
А как барышню твою вечор заметил,
О каком-то тихом счастье возмечтал я.

Как вечор она по садику гуляла —
Плечи белые, грудь белую раскрыла...—
Ты скажи мне, не по мне ль она скучала,
На сырой песок слезинку уронила?..»

Встрепенулось во мне сердце ретивое...
Наклонилась я к дорожке — увидала
Не слезинку, а колечко дорогое,
И обмолвилась я — месяцу сказала:

«Мою барышню любовь не беспокоит,
Ни по ком она, красавица, не плачет,
Много денег ей колечко это стоит,
Имя ж честное мое не много значит...

И свети ты хоть над целою землею —
Не дождешься ты любви от белоручки!..»
И закапали серебряной росою
Слезы месяца, и спрятался он в тучки.

С той поры, когда я, бедная, горюя,
Выхожу одна поплакать на крылечко,—
«Бедный месяц! бедный месяц! — говорю я,—
Хоть с тобой мне перекинуть дай словечко...»

⟨1868⟩

НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ

Мчится, мчится железный конек!
По железу железо гремит.
Пар клубится, несется дымок;
Мчится, мчится железный конек,
Подхватил, посадил да и мчит.

И лечу я, за делом лечу,—
Дело важное, время не ждет.
Ну, конек! я покуда молчу...
Погоди, соловьем засвищу,
Коли дело-то в гору пойдет...

Вон навстречу несется лесок,
Через балки грохочут мосты,
И цепляется пар за кусты;
Мчится, мчится железный конек,
И мелькают, мелькают шесты...

Вон и родина! Вон в стороне
Тесом крытая кровля встает,
Темный садик, скирды на гумне;
Там старушка одна, чай, по мне
Изнывает, родимого ждет.

Заглянул бы я к ней в уголок,
Отдохнул бы в тени тех берез,
Где так много посеяно грез.
Мчится, мчится железный конек
И, свистя, катит сотни колес.

Вон река — блеск и тень камыша;
Красна девица с горки идет,
По тропинке идет не спеша;
Может быть — золотая душа,
Может быть — красота из красот.

Познакомиться с ней бы я мог,
И не все ж пустяки городить,—
Сам бы мог, наконец, полюбить...
Мчится, мчится железный конек,
И железная тянется нить.

Вон, вдали, на закате пестрят
Колокольни, дома и острог;
Однокашник там мой, говорят,
Вечно борется, жизни не рад...
И к нему завернуть бы я мог...

Поболтал бы я с ним хоть часок!
Хоть немного им прожито лет,
Да немало испы́тано бед...
Мчится, мчится железный конек,
Сеет искры летучие вслед...

И, крутя, их несет ветерок
На росу потемневшей земли,
И сквозь сон мне железный конек
Говорит: «Ты за делом, дружок,
Так ты нежность-то к черту пошли...»

⟨*1868*⟩

МИАЗМ

Дом стоит близ Мойки — вензеля в коронках
Скрасили балкон.
В доме роскошь — мрамор — хоры на колонках —
Расписной плафон.

Шумно было в доме: гости приезжали —
Вечера — балы;
Вдруг все стало тихо — даже перестали
Натирать полы.

Няня в кухне плачет, повар снял передник,
Перевязь — швейцар:
Заболел внезапно маленький наследник —
Судороги, жар...

Вот перед киотом огонек лампадки...
И хозяйка-мать
Приложила ухо к пологу кроватки —
Стонов не слыхать.

«Боже мой! ужели?!. Кажется, что дышит...»
Но на этот раз
Мнимое дыханье только сердце слышит —
Сын ее погас.

«Боже милосердый! Я ли не молилась
За родную кровь!
Я ли не любила! Чем же отплатилась
Мне моя любовь!

Боже! страшный боже! Где ж твои щедроты,
Коли отнял ты
У отца — надежду, у моей заботы —
Лучшие мечты!»

И от взрыва горя в ней иссякли слезы,—
Жалобы напев
Перешел в упреки, в дикие угрозы,
В богохульный гнев.

Вдруг остановилась, дрогнула от страха,
Крестится, глядит:
Видит — промелькнула белая рубаха,
Что-то шелестит.

И мужик косматый, точно из берлоги,
Вылез на простор,
Сел на табурете и босые ноги
Свесил на ковер.

И вздохнул, и молвил: «Ты уж за ребенка
Лучше помолись;
Это я, голубка, глупый мужичонко,—
На меня гневись...»

В ужасе хозяйка — жмурится, читает
«Да воскреснет бог!».
«Няня, няня! Люди! Кто ты? — вопрошает,—
Как войти ты мог?»

«А сквозь щель, голубка! Ведь твое жилище
На моих костях,
Новый дом твой давит старое кладбище —
Наш отпетый прах.

Вызваны мы были при Петре Великом...
Как пришел указ —
Взвыли наши бабы, и ребята криком
Проводили нас —

И, крестясь, мы вышли. С родиной проститься
Жалко было тож —
Подрастали детки, да и колоситься
Начинала рожь...

За спиной-то пилы, топоры несли мы:
Шел не я один,—
К Петрову, голубка, под Москву пришли мы,
А сюда в Ильин.

Истоптал я лапти, началась работа,
Почали спешить:
Лес валить дремучий, засыпать болота,
Сваи колотить —

Годик был тяжелый. За Невою, в лето,
Вырос городок!
Прихватила осень,— я шубенку где-то
Заложил в шинок.

К зиме-то пригнали новых на подмогу;
А я слег в шалаш;
К утру, под рогожей, отморозил ногу,
Умер и — шабаш!

Вот на этом самом месте и зарыли,—
Барыня, поверь,
В те поры тут ночью только волки выли —
То ли, что теперь!

Ге! теперь не то что...— миллион народу...
Стены выше гор...
Из подвальной ямы выкачали воду —
Дали мне простор...

Ты меня не бойся,— что я? мужичонко!
Грязен, беден, сгнил,
Только вздох мой тяжкий твоего ребенка
Словно придушил...»

Он исчез — хозяйку около кроватки
На полу нашли;
Появленье духа к нервной лихорадке,
К бреду отнесли.

Но с тех пор хозяйка в северной столице
Что-то не живет;
Вечно то в деревне, то на юге, в Ницце...
Дом свой продает —

И пустой стоит он, только дождь стучится
В запертой подъезд,
Да в окошках темных по ночам слезится
Отраженье звезд.

1868

* * *

Заря под тучами взошла и загорелась
И смотрит на дорогу сквозь кусты...
Гляди и ты,
Как бледны в их тени поникшие цветы
И как в блестящий пурпур грязь оделась...

⟨1869⟩

* * *

Когда октава за октавой
Неслась и голос твой звучал
Далекой, отзвучавшей славой,—
Верь, не о славе я мечтал!

Нет! воротясь к весне погибшей,
Моя мечта ласкала вновь
Цветущий образ, переживший
В душе погибшую любовь.

Опять остывшей скорби сила
Сжимала сердце — и опять
Меня гармония учила
По-человечески страдать...

⟨1870⟩

ЗА НЕПОГРЕШИМОСТЬ

1

Простительно не понимать,
Что даже солнце не без пятен,
Но... боже! вам ли утверждать,
Что новый догмат непонятен!
Что папа Пий непогрешим,
Что эта истина вне спора,
Пускай об этом спорит Рим,—
Не спорьте, милая синьора!

2

Конечно, пышно он живет,
Рабы — льстецы — куда ни взглянет...
Но в наше время свой народ
Благословлять кто ж даром станет!
Ему нет нужды взятки брать,
Всегда за деньги душу вора
Он может прямо в рай послать,—
Не спорьте, милая синьора!

3

Уж он одрях — все больше спит,
Кровь еле двигается в жилах,
И, потерявши аппетит,
Служить мамону он не в силах.
Скажите же еретикам,
В ответ на их протест проклятый,
Что даже — даже по летам
Непогрешим наш Пий Девятый.

4

Чтоб всепрощенье получить
За кой-какие увлеченья,
Попробуйте его пленить
Лукавой негою смиренья,
Наедине оставшись с ним,
Вы сами скажете, синьора,
Что он, хоть брось, непогрешим —
Непогрешим и без собора.

5

Когда попы ему кадят,
А туфли барыни лобзают,
Когда толпы, за рядом ряд,
Пред ним колени преклоняют,
Он завистью не одержим —
Таких, как он, найдешь нескоро —
И в этом он непогрешим,
Непогрешим и без собора.

6

Он собственного ничего
Своим умом не созидает,
Небесный голос до него
Чрез иезуитов достигает.
Решат они, что он рожден
При кликах ангельского хора,
И он поверит,— ибо он
Непогрешим и без собора.

7

Конечно, властен он проклясть;
Но так как он не простирает
На дураков такую власть,
А умных только раздражает,
То в чем же зло! — Благословим
Безвредность папского задора.
И в этом он непогрешим —
Непогрешим и без собора.

8

Всех римских догматов венец —
Последний догмат: папа римский,
Непогрешимый, как мертвец,
Достоин славы херувимской.
Так суждено — должно так быть:
Кто под грехами изнеможет,
Тот — если б и хотел грешить,
Увы! грешить уже не может.

1870

ПОЛЯРНЫЕ ЛЬДЫ

У нас весна, а там — отбитые волнами,
Плывут громады льдин — плывут они в туман —
Плывут и в ясный день и — тают под лучами,
Роняя слезы в океан.

То буря обдает их пеной и ломает,
То в штиль, когда заря сливается с зарей,
Холодный океан столбами отражает
Всю ночь румянец их больной.

Им жаль полярных стран величья ледяного,
И — тянет их на юг, на этот бережок,
На эти камни, где нам очага родного
Меж сосен слышится дымок.

И не вернуться им в предел родного края,
И к нашим берегам они не доплывут;
Одни лишь вздохи их, к нам с ветром долетая,
Весной дышать нам не дают...

Уж зелень на холмах, уж почки на березах;
Но день нахмурился и — моросит снежок,—
Не так ли мы вчера тонули в теплых грезах...
А нынче веет холодок.

⟨*1870*⟩

* * *

Когда я был в неволе,
Я помню, голос мой
Пел о любви, о славе,
О воле золотой,
И узники вздыхали
В оковах за стеной.

Когда пришла свобода,
И я на тот же лад
Пою,— меня за это
Клевещут и язвят:
«Тюремные все песни
Поешь ты,— говорят.—

Когда ты был в неволе,
Ты за своей стеной
Мог петь о лучшей доле,
О воле золотой,—
И узники вздыхали,
Внимая песне той!..

Теперь ты, брат, на воле,
Другие песни пой,—
Пой о цепях, о злобе,
О дикости людской,
Чтоб мы не задремали,
Внимая песне той».

⟨*1870*⟩

О Н. А. НЕКРАСОВЕ

Я помню, был я с ним знаком
В те дни, когда, больной, он говорил с трудом,
Когда, гражданству нас уча,

Он словно вспыхивал и таял как свеча,
Когда любить его могли
Мы все, лишенные даров и благ земли...

Перед дверями гроба он
Был бодр, невозмутим — был тем, чем сотворен;
С своим поникнувшим челом
Над рифмой — он глядел бойцом, а не рабом,
И верил я ему тогда,
Как вещему певцу страданий и труда.

Теперь пускай кричит молва,
Что это были все слова — слова — слова,—
Что он лишь тешился порой
Литературною игрою козырной,
Что с юных лет его грызет
То зависть жгучая, то ледяной расчет.

Пред запоздалою молвой,
Как вы, я не склонюсь послушной головой;
Ей нипочем сказать уму:
За то, что ты светил, иди скорей во тьму...
Молва и слава — два врага;
Молва мне не судья, и я ей не слуга.

⟨1870⟩

КОРАБЛИКИ

Я, двух корабликов хозяин с юных дней,
Стал снаряжать их в путь: один кораблик мой
Ушел в прошедшее, на поиски людей,
Прославленных молвой,

Другой — заветные мечты мои помчал
В загадочную даль — в туман грядущих дней,
Туда, где братства и свободы идеал,
Но — нет еще людей.

И вот, назад пришли кораблики мои:
Один из них принес мне бледный рой теней,
Борьбу их, казни, стон, мучения любви
Да тяжкий груз идей.

Другой кораблик мой рой призраков принес,
Мечтою созданных, невидимых людей,
С довольством без рабов, с утратами без слез
С любовью без цепей.

И вот, одни из них, как тени прошлых лет,
Мне голосят: увы! для всех один закон,—
К чему стремиться?! знай — без горя жизни нет;
Надежда — глупый сон.

Другие мне в ответ таинственно звучат:
У нас иная жизнь! У нас иной закон...
Не верь отжившим, пусть плывут они назад,—
Былое — глупый сон!

1870

ОТКУДА?!

Откуда же взойдет та новая заря
Свободы истинной — любви и пониманья?
Из-за ограды ли того монастыря,
Где Нестор набожно писал свои сказанья?
Из-за кремля ли, смявшего татар
И посрамившего сарматские знамена,
Из-за того кремля, которого пожар
Обжег венцы Наполеона?
Из-за Невы ль, увенчанной Петром,
Тем императором, который не жезлом
Ивана Грозного владел, а топором:
На запад просеки рубил и строил флоты,
К труду с престола шел, к престолу от труда
И не чуждался никогда
Ни ученической, ни черновой работы? —
Оттуда ли, где хитрый иезуит,
Престола папского орудие и щит,
Во имя нетерпимости и братства,
Кичась, расшатывал основы государства?
Оттуда ли, где Гус, за чашу крест подняв,
Учил на площадях когда-то славной Праги,
Где Жижка страшно мстил за поруганье прав,
Мечом тушил костры и, цепи оборвав,
Внушал страдальцам дух отваги?
Или от Запада, где партии шумят,
Где борются с трибун народные витии,

Где от искусства к нам несется аромат,
Где от наук целебно-жгучий яд,
Того гляди, коснется язв России?..
. . . .

Мне, как поэту, дела нет,
Откуда будет свет, лишь был бы это свет —
Лишь был бы он, как солнце для природы,
Животворящ для духа и свободы,
И разлагал бы все, в чем духа больше нет...

⟨1870⟩

ВЛОЖИ СВОЙ МЕЧ [1]

(Немецкому народу)

Недаром создал ты порядок, полный сил,
И воспитал в себе отвагу:
Твой враг, как пленник,— отдал шпагу,
Как император — скипетр уронил;
Во всеоружии ты встал и отрезвил
Вольнолюбивое, слепое племя —
И опасения свои угомонил,—
Так, *совершил ты все, что подсказало время.*
Довольно! Зло войны должно иметь предел...
И если слава — твой удел,
То будешь истинно великою державой,
Гнушаясь варварскою славой
Над пеплом городов, среди кровавых тел...

«Довольно!! — говорили мы,
С младенчества тобой повитые умы,
Недальновидные соседи,—
Довольно пороху, каленой стали, меди,
Свинцу и чугуна,— их гул, их дым и гром
Сливает реки слез с победным торжеством;
Твои трофеи — символы печали,
Тоски и ужасов».— «Довольно!» — восклицали
Все, для которых идеал
То человечности, то правды, то свободы
Ты так роскошно в блеск и звуки облекал,
Когда к лобзанью призывал
Устами Шиллера весь мир и все народы.

---

[1] Писано во время осады Парижа в 1870 г. *(Примеч. Я. П. Полонского.)*

. . . .

Все изменилось! —

Юноши твои

Уже не жаждут мировой любви,

Искусство их — военное искусство...

(Наука с увлеченьем пушки льет...)

. . . .

И тот лишь у тебя великий патриот,

Кто из презрительного чувства

К другим народам говорит,

Что сам господь тебе велит

Восток и Запад онемечить!

. . . .

С почетом принял ты под свой покров того,

Кто мог — и смел тебе недавно поперечить,

Кто думал произвол собой увековечить

И пал от произвола своего,—

С почетом принял — и, клевретами его

Обезоруженный, народ пошел калечить.

Венчая славою безнравственный успех,

Инстинктам дикаря послушен,

Теперь ты, как палач, стоишь в виду у всех

И к воплям жертвы равнодушен.

Ты ей на горло наступил,

Ты в ней одобрил дух измены,

Ты, как на плахе, раздробил

Ее трепещущие члены...

На мертвые тела жен, стариков, детей

Косясь, внесешь ли ты в Париж грабеж повальный

Или почтишь их тризной погребальной

И лицемерный гимн споешь царю царей?!.

О просвещеннейший народ!

О наш великий просветитель!

Знай, если Франция падет,—

С ее могилы встанет мститель.

Он проскользнет к тебе, как змей,

Он даст тебе понять всю силу

Полураздавленных идей,

Не поместившихся в могилу...

Он, Немезида наших дней,

Тебе,— едва лишь из трофеев

Ты выкроишь венки для всех своих страстей,—

Руками тысячи пигмеев

Расставит тысячи сетей...

И если ты — хоть это знаешь,

Свои надежды возлагаешь
На мудрость собственных детей,—
Чтоб эта мудрость не зачахла,
Скорей вложи твой меч и руку ту отмой,
Которая грозой пороховой,
Кровавым запахом пропахла...

⟨1870⟩

ЧТО С НЕЙ?

1

Когда из пелен порывалась она,
Молилась и жарко мечтала,
Растленная жизнь, зла и грязи полна,
Ей раны свои обнажала.

И в лучшие дни, как цвела красота,
Мечты ее вяли и вяли;
Ни ласковых слов не шептали уста,
Ни детских молитв не шептали.

Пытливым огнем из-под темных ресниц
Мерцая, в ней мысль загоралась,
В те дни много-много запретных страниц
В бессонные ночи читалось...

Ее жажда правды томила до слез;
На Западе бури шумели,
И к нам проникал за вопросом вопрос,
Как ветер свистя в наши щели...

От этого вольного ветра спасти
Нельзя лицемерной морали,
Когда люди свято велят нам блюсти
Все то, что они попирали...

2

И дух отрицанья ее посетил,—
Он понял, какая в ней сила;
Он юную душу настолько пленил,
Насколько душа та — изныла;

Науку, семью, государство, права,
Религию, гений, искусство,
Все, все превратил он в пустые слова,
Насилуя разум и чувство.

«Иди,— говорил он,— иди вслед за мной,
И будет твой путь — путь свободный.
И скоро среди мастерских мы с тобой
Сойдемся на тризне народной.

На каждой версте — будет общий дворец;
За труд — будет плата любовью;
И — будет тогда отрицанью конец,
Созреет — политое кровью».

И эти туманные речи она
При нас горячо повторяла;
Ее слабый голос дрожал, как струна,
В нем гордая вера звучала.

3

А время все шло, шло — и много надежд,
Им грубо задетых, сломалось;
Чадясь, погасали восторги невежд —
И мысль на ветру колебалась.

Поблекло лицо ее — в темных глазах
Мысль робким огнем чуть мелькала,
И уж не улыбка на бледных устах —
Тень прежней улыбки блуждала.

Ее предреканьям послушный кружок
Давно позабыл ее грезы;
У каждого путь свой — и свой уголок
Нашелся для грез и для прозы.

И тот, кто взял дань с ее сердца, и тот
Пошел уж другою дорогой,
Ей бросивши на руки много забот
И грудь познакомив с тревогой...

И вот, чтоб друзей не осталось следа,
Нужда в ее дверь постучалась.
И билась она — и искала труда —
И где теперь? Что с нею сталось?

4

Ушла ли на Запад она, в край чужой,
Где б жатва давно уж созрела,
И все, что не смято в ней братской враждой,
Для новой вражды уцелело?

Ушла ли она в наши степи, туда,
Где нет ни конца, ни начала,
Где требует время иного труда
И веры иного закала?

Или, изможденная страшной борьбой,
В чаду, в тесноте еле дышит
И, чуткая, слышит бред жизни хмельной,
И — боже! — неужели слышит,

Как дух отрицанья глумится над ней
И даже ее отрицает,
Ее — кто ему в жертву нес радость дней
И ради его погибает!

Ожесточенная — вряд ли поймет,
Что в бездне людских заблуждений
Лишь только поэт искры сердца найдет,
А искры ума — только гений.

1871

ЗИМНЯЯ ПЕСНЯ РУСАЛОК

(Из либретто оперы «Кузнец Вакула»)

(Посв. памяти А. Н. Серова)

Темно нам, темно, темнешенько,
Словно в темницах сырых.
Месяц стал над рекой,

Чуть краснеется,
В небе тучка плывет,
Чуть белеется...

Холодно нам, холоднехонько!
Словно в гробах ледяных.
Ветра шорох ночной
Еле слышится,
Ничего в осоке
Не колышется.

Тресни же, тресни ты, синий лед!
В блеске лучей золотых.
Мы, как рыбки в реке,
Затрепещемся;
Сквозь туман рыбакам
Померещимся.

1871

* * *

Блажен озлобленный поэт,
Будь он хоть нравственный калека,
Ему венцы, ему привет
Детей озлобленного века.

Он как титан колеблет тьму,
Ища то выхода, то света,
Не людям верит он — уму,
И от богов не ждет ответа.

Своим пророческим стихом
Тревожа сон мужей солидных,
Он сам страдает под ярмом
Противоречий очевидных.

Всем пылом сердца своего
Любя, он маски не выносит
И покупного ничего
В замену счастия не просит.

Яд в глубине его страстей,
Спасенье — в силе отрицанья,
В любви — зародыши идей,
В идеях — выход из страданья.

Невольный крик его — наш крик,
Его пороки — наши, наши!
Он с нами пьет из общей чаши,
Как мы отравлен — и велик.

1872

* * *

Мой ум подавлен был тоской,
Мои глаза без слез горели;
Над озером сплетались ели,
Чернел камыш,— сквозили щели
Из мрака к свету над водой.

И много, много звезд мерцало;
Но в сердце мне ночная мгла
Холодной дрожью проникала,
Мне виделось так мало, мало
Лучей любви над бездной зла!

⟨1874⟩

ИЗ БУРДИЛЬЕНА

The night has a thousand eyes[1].

Ночь смотрит тысячами глаз,
А день глядит одним;
Но солнца нет — и по земле
Тьма стелется, как дым.

Ум смотрит тысячами глаз,
Любовь глядит одним;
Но нет любви — и гаснет жизнь,
И дни плывут, как дым.

1874

[1] Ночь смотрит тысячами глаз *(англ.)*.

КАЗИМИР ВЕЛИКИЙ

(Посв. памяти А. Ф. Гильфердинга)[1]

1

В расписных санях, ковром покрытых,
Нараспашку, в бурке боевой,
Казимир, круль польский, мчится в Краков
С молодой, веселою женой.

К ночи он домой спешит с охоты;
Позвонки бренчат на хомутах;
Впереди, на всем скаку, не видно,
Кто трубит, вздымая снежный прах;

Позади в санях несется свита...
Ясный месяц выглянул едва...
Из саней торчат собачьи морды,
Свесилась оленья голова...
Казимир на пир спешит с охоты,
В новом замке ждут его давно
Воеводы, шляхта, краковянки,
Музыка, и танцы, и вино.

Но не в духе круль: насупил брови,
На морозе дышит горячо.
Королева с ласкою склонилась
На его могучее плечо.

«Что с тобою, государь мой?! друг мой?
У тебя такой сердитый вид...
Или ты охотой недоволен?
Или мною? — на меня сердит?..»

---

[1] Стихотворение «Казимир Великий» было задумано мною в 1871 году. Покойный А. Ф. Гильфердинг просил меня написать его для второго литературного вечера в пользу Славянского комитета.— Тема для стихов была выбрана самим Гильфердингом, им же были присланы мне и материалы,— выписки из Польского летописца Длугоша, с следующею в конце припискою: «Раздача хлеба в пору голода у летописца рассказана без всякой связи с другими фактами из жизни Казимира, потому тут у вас carte blanche...» — Стихи были набросаны, когда я узнал, что литературный вечер с живыми картинами в пользу Славянского комитета не состоялся и отложен на неопределенное время.— Затем умер и наш многоуважаемый ученый А. Ф. Гильфердинг, самоотверженно собирая легенды и песни того народа, изучению которого, в связи со всеми ему соплеменными народами, с любовью посвящал он всю свою жизнь. *(Примеч. Я. П. Полонского.)*

«Хороши мы! — молвил он с досадой,—
Хороши мы! Голодает край,
Хлопы мрут,— а мы и не слыхали,
Что у нас в краю неурожай!..

Погляди-ка, едет ли за нами
Тот гусляр, что встретили мы там...
Пусть-ка он споет магнатам нашим
То, что спьяна пел он лесникам...»

Мчатся кони, резче раздается
Звук рогов и топот,— и встает
Над заснувшим Краковом зубчатой
Башни тень, с огнями у ворот.

2

В замке светят фонари и лампы;
Музыка и пир идет горой.
Казимир сидит в полукафтанье,
Подпирает бороду рукой.

Борода вперед выходит клином,
Волосы подстрижены в кружок.
Перед ним с вином стоит на блюде
В золотой оправе турий рог;

Позади — в чешуйчатых кольчугах
Стражников колеблющийся строй,
Над его бровями дума бродит,
Точно тень от тучи грозовой.

Утомилась пляской королева,
Дышит зноем молодая грудь,
Пышут щеки, светится улыбка:
«Государь мой, веселее будь!..

Гусляра вели позвать, покуда
Гости не успели задремать».
И к гостям идет она, и гости,—
— Гусляра,— кричат,— скорей позвать!

3

Стихли трубы, бубны и цимбалы,
И, венгерским жажду утоля,
Чинно сели под столбами залы
Воеводы, гости короля.

А у ног хозяйки-королевы,
Не на табуретах и скамьях,
На ступеньках трона сели панны
С розовой усмешкой на устах.

Ждут,— и вот на праздник королевский
Сквозь толпу идет, как на базар,
В серой свитке, в обуви ремянной,
Из народа вызванный гусляр.

От него надворной веет стужей,
Искры снега тают в волосах,
И как тень лежит румянец сизый
На его обветренных щеках.

Низко перед царственной четою
Преклонясь косматой головой,
На ремнях повиснувшие гусли
Поддержал он левою рукой.

Правую подобострастно к сердцу
Он прижал, отдав поклон гостям.
«Начинай!» — и дрогнувшие пальцы
Звонко пробежали по струнам.

Подмигнул король своей супруге,
Гости брови подняли: гусляр
Затянул про славные походы
На соседей, немцев и татар...

Не успел он кончить этой песни —
Крики «Vivat!» огласили зал;
Только круль махнул рукой, нахмурясь:
Дескать, песни эти я слыхал!

«Пой другую!» — и, потупив очи,
Прославлять стал молодой певец
Молодость и чары королевы
И любовь — щедрот ее венец.

Не успел он кончить этой песни —
Крики «Vivat!» огласили зал;
Только круль сердито сдвинул брови:
Дескать, песни эти я слыхал!

«Каждый шляхтич,— молвит он,— поет их
На ухо возлюбленной своей;
Спой мне песню ту, что пел ты в хате
Лесника,— *та* будет поновей...

Да не бойся!» —
Но гусляр, как будто
К пытке присужденный, побледнел...
И, как пленник, дико озираясь,
Заунывным голосом запел:

«Ох, вы, хлопы, ой, вы, божьи люди!
Не враги трубят в победный рог,
По пустым полям шагает голод
И кого ни встретит — валит с ног.

Продает за пуд муки корову,
Продает последнего конька,
Ой, не плачь, родная, по ребенке!
Грудь твоя давно без молока.

Ой, не плачь ты, хлопец, по дивчине!
По весне, авось, помрешь и ты...
Уж растут, должно быть, к урожаю,
На кладбищах новые кресты...

Уж на хлеб, должно быть, к урожаю,
Цены, что ни день, растут, растут.
Только паны потирают руки —
Выгодно свой хлебец продают».

Не успел он кончить этой песни:
«Правда ли?!» — вдруг вскрикнул Казимир

И привстал, и в гневе, весь багровый,
Озирает онемевший пир.

Поднялись, дрожат, бледнеют гости.
«Что же вы не славите певца?!
Божья правда шла с ним из народа
И дошла до нашего лица...

Завтра же, в подрыв корысти вашей,
Я мои амбары отопру...
Вы... лжецы! глядите, я, король ваш,
Кланяюсь за правду гусляру...»

И, певцу поклон отвесив, вышел
Казимир,— и пир его притих...
«Хлопский круль!» — в сенях бормочут паны...
«Хлопский круль!» — лепечут жены их.

Онемел гусляр, поник, не слышит
Ни угроз, ни ропота кругом...
Гнев Великого велик был, страшен —
И отраден, как в засуху гром!

⟨*1874*⟩

НОЧНАЯ ДУМА

Я червь — я бог!

Державин

Ты не спишь, блестящая столица.
Как сквозь сон, я слышу за стеной
Звяканье подков и экипажей,
Грохот по неровной мостовой...

Как больной, я раскрываю очи.
Ночь, как море темное, кругом.
И один, на дне осенней ночи
Я лежу, как червь на дне морском.

Где-нибудь, быть может, в эту полночь
Праздничные звуки льются с хор.
Слезы льются — сладострастье стонет —
Крадется с ножом голодный вор...

Но для тех, кто пляшет или плачет,
И для тех, кто крадется с ножом,
В эту ночь неслышный и незримый
Разве я не червь на дне морском?!

Если нет хоть злых духов у ночи,
Кто свидетель тайных дум моих?
Эта ночь не прячет ли их раньше,
Чем моя могила спрячет их!

С этой жаждой, что воды не просит
И которой не залить вином,
Для себя — я дух, стремлений полный,
Для других — я червь на дне морском.

Духа титанические стоны
Слышит ли во мраке кто-нибудь?
Знает ли хоть кто-нибудь на свете,
Отчего так трудно дышит грудь!

Между мной и целою вселенной
Ночь, как море темное, кругом.
И уж если бог меня не слышит —
В эту ночь я — червь на дне морском!

⟨1874⟩

В СТЕПИ

1

Скучно-бесцветные дни,— сумерки, вместо дневного
Света, застигли меня, здесь,— на степном
перепутье;
То ливень лил, то кругом хутора выл мокрый ветер.
Муза, и та, наконец, вместе со мной стала
дрогнуть.
Все говорило ей: стой! не залетай высоко!..
Здесь даже сказки свои перезабыла старуха.
И без осмысленных слов тянется грустный напев.
Вдруг наступила жара: в щели лучи пронизались.
И посветлело в сенях, и заскрипели ворота;
Стал просыхать чернозем, и колея со двора
Через проселок меня в серую степь увела —
В эту широкую степь, где ни куста, ни пригорка.
К вечеру зной посвежел, воздух был мягко-
прозрачен;
Вьющийся столб комаров стал провожать меня;
где-то
Свистнул — должно быть, сурок, и, как струна
басовая,
В сумерках вечера жук мимо ушей прогудел.
Дорого б дал я, чтоб здесь мне навсегда
надышаться

Силой земли, тишиной и обаяньем простора,
Чтоб унести далеко, в сердце, в мозгу, в каждом
нерве,
Этот целебный фиал — эту росу — этот воздух...
Вспомнил я шум городской, стены и лестницы —
гнезда
Зависти и клеветы; вспомнил дома, где интрига
Тонко сети плетет, сводит людей и разводит
Вечно в подрыв свежих сил, вечно свободе в ущерб!
Вспомнил я... и пожелал (неисправимый мечтатель!)
В этом приволье степном взять на себя труд
посильный.

2

В этом приволье степном, взяв на себя труд
посильный,
Шел босоногий мужик, клячу свою понукая;
Вытянув шею свою — кляча тянула соху,
Из-под железа сохи черные глыбы валились,
Около свежих борозд свежей ложась бороздой.
«Бог тебе в помощь, земляк!» — вымолвил я и
подумал:
Ум мой и руки мои, видно, не в помощь тебе!
Остановился мужик — остановилась и кляча.
Он молча шапку стянул — кляча развесила уши
И, помотав головой, потную морду свою
Стала тянуть к мураве, и, как лохмотья, повисли
Спутанной гривы ее космы до самой земли.

3

«Дядя! — сказал я шутя,— не променяешь ли клячу?
Я за нее тебе дам славную штуку — Пегаса.
Конь — что ни в сказке сказать, ни пером описать —
конь крылатый.
Он приведен к нам из Греции через Европу. Слыхал ли
Ты об Европе хоть что-нибудь?» — «Нет, не слыхал».—
«Ну, так верь мне,
Есть, дядя, эдакий конь...» И мужик с недоверьем
оскалил
Белые зубы. «Да сам-то видал ли ты?» — «Как
не видать!

Сам я носился на нем выше лесу стоячего, выше
Облака в небе ходячего. Конь удивительный! Только
Надо уметь его сдерживать, разум на то человеку
Дан: а не то ему удержу нет — понесет, что твой
вихорь!
В Иерусалим загадал? — В Иерусалиме... в Афон? —
на Афоне
Мигом очутишься. Горы, моря, города, даже
царства,
Как у себя на ладони, увидишь ты. Мало того,
Можешь на нем ты с молитвою, выше полночной
звезды,
К праведным, в царство небесное, очи зажмурив,
подняться
И услыхать, как в раю там поют херувимскую,— или
Можешь там встретить несметное множество ярких
светил:
Кишмя кишат там миры лучезарные, и, как пылинки,
Носятся около них вот такие же точно обители,
Как и земля наша, где мы с тобой прозябаем. И
все это
Видел я, дядя, сам видел».— «Да ты не колдун
ли?» —
«Нет, не колдун, у меня есть другое, старинное
прозвище:
Люди меня обзывают *поэтом*. Слыхал ли ты это
Громкое слово: «поэт»? — «Не слыхал, милый! сроду
не слыхивал.
Что ж это значит — поэт?» — «То же почти, что
колдун».—
«А коли так, ты б, родимый, мне клад указал, где
зарыт...» —
«Клад у тебя под рукой, только засей свою пашню,
Из-под земли сам собой к осени выйдет твой клад».
Понял мужик эту притчу и почесал свой затылок:
«С этого клада,— сказал он,— дай бог до весны
прокормиться...
...Ишь, лошаденка-то — кожа да кости! Крылатая
лошадь
Тоже, чай, тощая! Ты мне ее покажи,
Да уж потом и тово — и выменивай. Кто же те
знает;
Грамоте я не учен; может статься, и вправду такое
Водится чудо заморское».— «Ну, а куда бы,
любезный,

Ты бы на нем полетел?» — «Да куда полететь? —
нешто в город;
Али бы к куму махнул. А не то обрубил бы
Чертовы крылья анафеме, да и запряг бы в
телегу».—
«Ну, дядя, вряд ли нам выгодно будет меняться.
Ты на Пегасе моем далеко не уедешь, а я
С клячей твоей не спашу и одной десятины...»
. . . .

⟨1875⟩

ДИССОНАНС

(Мотив из признаний Ады Кристен)

Пусть по воле судеб я рассталась с тобой,—
Пусть другой обладает моей красотой!

Из объятий его, из ночной духоты,
Уношусь я далеко на крыльях мечты.

Вижу снова наш старый, запущенный сад:
Отраженный в пруде потухает закат.

Пахнет липовым цветом в прохладе аллей;
За прудом, где-то в роще, урчит соловей...

Я стеклянную дверь отворила — дрожу —
Я из мрака в таинственный сумрак гляжу —

Чу! там хрустнула ветка — не ты ли шагнул?!
Встрепенулася птичка — не ты ли спугнул?!

Я прислушиваюсь, я мучительно жду,
Я на шелест шагов твоих тихо иду —

Холодит мои члены то страсть, то испуг —
Это ты меня за руку взял, милый друг?!

Это ты осторожно так обнял меня,
Это твой поцелуй — поцелуй без огня!

С болью в трепетном сердце, с волненьем в крови
Ты не смеешь отдаться безумствам любви,—

И, внимая речам благородным твоим,
Я не смею дать волю влеченьям своим,

И дрожу, и шепчу тебе: милый ты мой!
Пусть владеет он жалкой моей красотой!

Из объятий его, из ночной духоты,
Я опять улетаю на крыльях мечты,

В этот сад, в эту темь, вот на эту скамью,
Где впервые подслушал ты душу мою...

Я душою сливаюсь с твоею душой —
Пусть владеет он жалкой моей красотой!

⟨1875⟩

* * *

В дни, когда над сонным морем
Духота и тишина,
В отуманенном просторе
Еле движется волна.

Если ж вдруг дохнет над бездной
Ветер, грозен и могуч,
Закипит волна грознее
Надвигающихся туч...

И помчится, точно в битву,
Разъяренный шпорой конь,
Отражая в брызгах пены
Молний солнечный огонь.

И, рассыпавшись о скалы,
Изомнет у берегов
Раскачавшиеся перья
Прошумевших тростников...

⟨1875⟩

СЛЕПОЙ ТАПЕР

Хозяйка руки жмет богатым игрокам,
При свете ламп на ней сверкают бриллианты...
В урочный час, на бал, спешат к ее сеням
Франтихи-барыни и франты.

Улыбкам счету нет. Один тапер слепой,
Рекомендованный женой официанта,
В парадном галстуке, с понурой головой,
Угрюм и не похож на франта.

И под локоть слепца сажают за рояль...
Он поднял голову — и вот, едва коснулся
Упругих клавишей, едва нажал педаль —
Гремя, бог музыки проснулся.

Струн металлических звучит высокий строй,
Как вихрь несется вальс — побрякивают шпоры,
Шуршат подолы дам, мелькают их узоры,
И ароматный веет зной...

А он — потухшими глазами смотрит в стену,
Не слышит говора, не видит голых плеч —
Лишь звуки, что бегут одни другим на смену,
Сердечную ведут с ним речь.

На бедного слепца слетает вдохновенье,
И грезит скорбная душа его — к нему
Из вечной тьмы плывет и светится сквозь тьму
Одно любимое виденье.

Восторг томит его — мечта волнует кровь:
Вот жаркий летний день — вот кудри золотые —
И полудетские уста, еще немые,
С одним намеком на любовь...

Вот ночь волшебная,— шушукают березы —
Прошла по саду тень — и к милому лицу
Прильнул свет месяца — горят глаза и слезы...
И вот уж кажется слепцу:

Похолодевшие, трепещущие руки,
Белеясь, тянутся к нему из темноты —
И соловьи поют — и сладостные звуки
Благоухают, как цветы...

Так образ девушки, когда-то им любимой,
Ослепнув, в памяти свежо сберечь он мог;
Тот образ для него расцвел и — не поблек,
Уже ничем не заменимый.

Еще не знает он, не чует он, что та
Подруга юности — давно хозяйка дома
Великосветская — изнежена, пуста
И с аферистами знакома!

Что от него она в пяти шагах стоит
И никогда в слепом тапере не узнает
Того, кто вечною любовью к ней пылает,
С ее прошедшим говорит.

Что, если б он прозрел, что, если бы, друг в друга
Вглядясь, они могли с усилием узнать —
Он побледнел бы от смертельного испуга,
Она бы — стала хохотать!

⟨*1875*⟩

ПАМЯТИ Ф. И. ТЮТЧЕВА

Оттого ль, что в божьем мире
Красота вечна,
У него в душе витала
Вечная весна;
Освежала зной грозою
И, сквозь капли слез,
В тучах радугой мелькала —
Отраженьем грез!..

Оттого ль, что от бездушья
Иль от злобы дня,
Ярче в нем сверкали искры
Божьего огня,—
С ранних лет и до преклонных,
Безотрадных лет
Был к нему неравнодушен
Равнодушный свет!

Оттого ль, что не от света
Он спасенья ждал,
Выше всех земных кумиров
Ставил идеал...
Песнь его глубокой скорбью
Западала в грудь
И, как звездный луч, тянула
В бесконечный путь!..

Оттого ль, что он в народ свой
Верил и — страдал,
И ему на цепи братьев
Издали казал,—
Чую: дух его то верит,
То страдает вновь,
Ибо льется кровь за братьев,
Льется наша кровь!..

1876

ЦАРЬ-ДЕВИЦА

В дни ребячества я помню
Чудный отроческий бред:
Полюбил я царь-девицу,
Что на свете краше нет.

На челе сияло солнце,
Месяц прятался в косе,
По косицам рдели звезды,—
Бог сиял в ее красе.

И жила та царь-девица,
Недоступна никому,
И ключами золотыми
Замыкалась в терему.

Только ночью выходила
Шелестить в тени берез:
То ключи свои роняла,
То роняла капли слез...

Только в праздники, когда я,
Полусонный, брел домой,—
Из-за рощи яркий, влажный
Глаз ее следил за мной.

И уж как случилось это,—
Наяву или во сне?! —
Раз она весной, в час утра,
Зарумянилась в окне:

Всколыхнулась занавеска,
Вспыхнул роз махровый куст,
И, закрыв глаза, я встретил
Поцелуй душистых уст.

Но едва-едва успел я
Блеск лица ее поймать,
Ускользая, гостья ко лбу
Мне прижгла свою печать.

С той поры ее печати
Мне ничем уже не смыть,
Вечно юной царь-девице
Я не в силах изменить...

Жду,— вторичным поцелуем
Заградив мои уста,—
Красота в свой тайный терем
Мне отворит ворота...

1876

* * *

С бюрократических вершин
Бог весть за что слетел ко мне ненужный чин.
Превосходительство дает ли превосходство?
Вопрос решенный — не дает.
Так знай же, Муза, наперед,
Что без свободы — благородства
Я никогда не признавал
И что на службе идеалам
Я никогда не буду генералом.

1876

У ОКНА

...И вижу я в окно, как душу холодящий
Отлив зелено-золотой,
В туманную лазурь переходящий,
Объемлет неба свод ночной.

Далекая звезда мелькает точкой белой —
И в небе нет других светил,
Громадный город спит, в беспутстве закоснелый,
И бредит, как лишенный сил...

Мысль ищет выхода — ее пугает холод,
Она мне кажется мечтой,
И не найдут ее, когда проснется город
С его бездушной суетой.

⟨1876⟩

БОЛГАРКА

Без песен и слез, в духоте городской,
Роптать и молиться не смея,
Живу я в гареме продажной рабой
У жен мусульманского бея.

Одна говорит: «Ну, рассказывай мне,
Как ваше селенье горело;
И выл ли твой муж, пригвожденный к стене,
Как жгли его белое тело...»

Другая, смеясь, говорит мне: «Ну да,
Недаром тебя пощадили:
Наш бей, уж конечно, был первым, когда
Твою красоту обнажили...»

«Ну что ж? — нараспев третья мне говорит,
Держа над лицом опахало,—
Хоть резать детей нам Коран не велит...
Но ты ли одна пострадала?!»

И злятся, что я так скупа на слова,
Внимая речам безучастным,
Глаза мои сухи, в огне голова,
Все небо мне кажется красным:

Как будто сады, минарет и дома
В кровавом стоят освещенье...
В глазах ли обман, иль схожу я с ума,
Иль это предчувствие мщенья!

Навеки тот душу отравит свою
Стыдом или жаждою битвы,
Кто в страшную душу заглянет мою
В часы безнадежной молитвы.

Приди же, спаситель! — бери города,
Где слышится крик муэзина,
И пусть в их дыму я задохнусь тогда
В надежде на божьего сына!..

1876

В ПОТЕРЯННОМ РАЮ

. . . .

Уже впервые дымной мглою
Подернут был Едемский сад,
Уже пожелкнувшей листвою
Усеян синий был Евфрат,

Уж райская не пела птица —
Над ней орел шумел крылом,
И тяжело рычала львица,
В пещеру загнанная львом.

И озирал злой дух с презреньем
Добычу смерти — пышный мир
И мыслил: смертным поколеньям
Отныне буду я кумир.

И вдруг он видит, в райской сени,
Уязвлена, омрачена,
Идет, подобно скорбной тени,
Им соблазненная жена.

Невольно прядью кос волнистых
Она слегка прикрыла грудь,
Уже для помыслов нечистых
Пролег ей в душу знойный путь.

И, ей десницу простирая,
Встает злой дух,— он вновь готов,
Ей сладкой лестью слух лаская,
Петь о блаженстве грешных снов.

Но что уста его сковало?
Зачем он пятится назад?
Чем эта жертва испугала
Того, кому не страшен ад?

Он ждал слезы, улыбки рая,
Молений, робкого стыда...
И что ж в очах у ней? — такая
Непримиримая вражда,

Такая мощь души без страха,
Такая ненависть, какой
Не ждал он от земного праха
С его минутной красотой.

Грозы божественной сверканье —
Тех молний, что его с небес
Низвергли,— не без содроганья
В ее очах увидел бес,

И в мглу сокрылся привиденьем,
Холодным облаком осел,
Змеей в траву прополз с шипеньем,
В деревьях бурей прошумел.

Но сила праведного гнева
Земного рая не спасла,
И канула слеза у древа
Познания добра и зла...

⟨1876⟩

СТАРАЯ НЯНЯ

Ты девчонкой крепостной
По дороге столбовой
К нам с обозом дотащилася;
Долго плакала, дичилася,
Непричесанная,
Неотесанная...

Чуть я начал подрастать,
Стали няню выбирать,—
И тебя ко мне приставили,
И обули, и наставили,
Чтоб не важничала,
Не проказничала.

Славной няней ты была,
Скоро в роль свою вошла:
Теребила меня за ворот,
Да гулять водила за город...
С горок скатывалась,
В рожь запрятывалась...

Иль, раздевшись на песке,
Ты плескалась в ручейке,
Выжимала свои косыньки;
А кругом шумели сосенки,
Птички радовались...
Мы оглядывались...

Вот пришла зимы пора;
Дальше нашего двора
Не пускали нас с салазками,
Ты меня, не муча ласками,
То закутывала,
То раскутывала.

Раз, я помню, при огне
Ты чулки вязала мне
(Или платье свое штопала?),
К нам метель в окошко хлопала,
Песнь затягивала —
Сердце вздрагивало...

Ты ж другую песню мне
Напевала при огне:
«Ай, кипят котлы кипучие!..»
Помню сказки я певучие,
Сказки всяческие —
Не ребяческие...

И, побитая не раз,
Ты любила, рассердясь,
Потихоньку мне отплачивать —

Меня больно поколачивать;
Я не жаловался,
Отбояривался.

А как в школу поступил,
Я читать тебя учил:
«Ты за мной твердила «Верую»...
И потом молилась с верою,
С воздыханиями,
С причитаниями.

По ночам на образа
Возводила ты глаза,
Озаренные лампадкою;
И когда с мечтою сладкою
Сон мой спутывался,
Я закутывался...

Но пришли твои года...
Подросла ты — и тогда,
Знать, тебя цыганка сглазила:
Из окна ты ночью лазила,
Вся трепещущая,
С кем-то шепчущая...

Друг любил тебя шутя,
И, поблекнув, не цветя,
Перестала ты пошаливать:
Начала свой грех замаливать:
Много маялася,
Мне же каялася!

. . . .

Через тридцать лет домой
Я вернулся и слепой
Уж застал тебя старушкою,
В темной кухне, с чайной кружкою —
Ты догадывалась...
Слезно радовалась.

И когда я лег вздремнуть,
Ты пришла меня разуть,
Как дитя свое любимое —
Старика, в гнездо родимое
Воротившегося,
Истомившегося.

Я измучен был, а ты
Прожила без суеты
И мятежных дум не ведала,
Капли яду не отведала —
Яду мающихся,
Сомневающихся.

И напомнила Христа
Ты страдальцу без креста,
Гражданину, сыну времени,
Посреди родного племени
Прозябающему,
Изнывающему.

Бог с тобой! я жизнь мою
Не сменяю на твою...
Но ты мне близка, безродная,
В самом рабстве благородная,
Не оплаченная
И утраченная.

1876 (?)

В ГОДИНУ УТРАТЫ

(Посв. Н. Ф. Христиановичу)

В тепле злое горе цветет — зеленеет,—
Как будто его солнце вешнее греет...—
Оттаяли слезы и льются ключом,—
А там над могильным, сыпучим бугром
Березка стоит и в снегу коченеет.

Но будет пора, холод в душу сойдет,
И горе застынет, как будто замрет...—
А там, над могилкой, повеет весною,
Березка очнется, и свежей листвою
Оденутся длинные сети ветвей,
И дети сбегутся с цветами сирени,
И молча сойдутся могильные тени
Внимать голосам беззаботных детей.

1876 (?)

В ТЕЛЕГЕ ЖИЗНИ

С утра садимся мы в телегу...
Пушкин

К моей телеге я привык,
Мне и ухабы нипочем...
Я только дрогну, как старик,
В холодном воздухе ночном...
Порой задумчиво молчу,
Порой отчаянно кричу:
— Пошел!.. Валяй по всем по трем.

Но хоть кричи, бранись иль плачь —
Молчит, упрям ямщик седой:
Слегка подстегивая кляч,
Он ровной гонит их рысцой;
И шлепает под ними грязь,
И, незаметно, шевелясь,
Они бегут во тьме ночной.

1876

АЛЛЕГОРИЯ

Я еду — мрак меня гнетет —
И в ночь гляжу я; огонек
Навстречу мне то вдруг мелькнет,
То вдруг, как будто ветерок
Его задует, пропадет...—
Уж там не станция ли ждет
Меня в свой тесный уголок?..

Ну что ж!.. Я знаю наперед —
Возница слезет с облучка,
И кляч усталых отпряжет,
И, при мерцаньи ночника,
В сырой покой меня сведет.
И скажет: ляг, родной мой, вот
Дощатый одр — засни пока...

А ну, как я, презрев покой,
Не захочу — не лягу спать,
И крикну: «Живо, хрыч седой,
Вели мне лошадей менять!..

Да слушай ты... впряги не кляч —
Лихих коней, чтоб мог я вскачь
Опередивших нас догнать...

Чтоб мог прижать я к сердцу вновь
Все, что вперед умчал злой рок:
Свободу — молодость — любовь,—
Чтоб загоревшийся восток
Открыл мне даль — чтоб новый день
Рассеял этой ночи тень
Не так, как этот огонек».

1876

НА ЗАКАТЕ

Вижу я, сизые с золотом тучи
Загромоздили весь запад; в их щель
Светит заря,— каменистые кручи,
Ребра утесов, березник и ель

Озарены вечереющим блеском;
Ниже — безбрежное море. Из мглы
Темные скачут и мчатся валы
С неумолкаемым гулом и плеском.

К морю тропинка в кустах чуть видна,
К морю схожу я, и —
Здравствуй, волна!
Мне, охлажденному жизнью и светом,
Дай хоть тебя встретить теплым приветом!..

Но на скалу набежала волна —
Тяжко обрушилась, в пену зарылась
И прошумела, отхлынув назад:
Новой волны подожди,— я разбилась...

Новые волны бегут и шумят,—
То же, все то же я слышу от каждой...
Сердце полно бесконечною жаждой —
Жду,— все темно — погасает закат...

⟨1877⟩

И. С. ТУРГЕНЕВУ

Благословенный край — пленительный предел!
Там лавры зыблются...

А. Пушкин

Невесела ты, родная картина!..

Н. Некрасов

Туда, в Париж, где я когда-то
Впервые, искренно и свято,
Любим был женскою душой...
Туда, где ныне образ твой,
Еще живой, мне свят и дорог,
Не раз стремился я мечтой
Подслушать милой тени шорох,
Поймать хоть призрака черты...

Увы! поклонник красоты —
Я ей страдальческую службу
Давно усердно отслужил
И прозаическую дружбу
В своей душе благословил.
Но где друзья? — друзей немного...
Я их не вижу по годам;
Подчас глуха моя дорога...
В разброде мы: я — здесь, ты — там.

Донашивать свои седины
Нам порознь суждено судьбой!..
Тебе — в объятиях чужбины,
Мне — в кандалах нужды родной.
Устал я — лег — почти что болен,
Своей работой недоволен;
Не бросить ли? не сжечь ли? —
Нет!
В моем уединеньи скучном,
Замкнувшись в тесный кабинет,
Не чужд я мысли о насущном,
Забот и будничных сует...

Устал я... размышлять нет мочи,—
Не сплю... погас огарок мой...
В окно глядит и лезет в очи
Сырая мгла плаксивой ночи...
Осенней вьюги слышен вой...

И вот разнузданной мечтой
Я мчусь в Париж, туда, где свято
Впервые я любил когда-то
И был блажен — в последний раз!..

. . . .
Вот позднего досуга час...
Париж недавно отобедал,
Он все, что мог, изжил, изведал,
И жаждет ночи...
Чердаков
Окошки — гнезда бедняков —
Ушли под тучи в мрак печальный:
Там голод, замыслы, нахальной
Нужды запросы — бой с нуждой,
Или при лампе трудовой
Мечты о жизни идеальной...

Зато внизу — Париж иной,
Картинный, бронзовый, зеркальный;
Сверкают тысячи огней —
Гул катится по всем бульварам,
Толпа снует... Любуйся даром,
Дивись на роскошь богачей;
Вздохнув о юности своей,
Давай простор влюбленным парам...
. . . .
Вот дом — громада. Из сеней
На тротуар и мостовую
Ложится просвет полосой;
Из-под балкона, головой,
Курчавясь, кажут грудь нагую
Шесть статуй — шесть кариатид;
Свет газовых рожков скользит
Кой-где по мрамору их тела;
Полураскрыв уста, оне
Прижались к каменной стене,
И никому до них нет дела...

Вот лестница осаждена...
Идут, сгибаются колена,
Ступенек не видать,— одна
С площадки мраморной видна
Тебе знакомая арена;
Звездятся люстры; их кайма

Из хрусталей, как бахрома
Из радужных огней, сверкает;
Раздвинув занавес, ведет
В громадный зал широкий вход
И тесную толпу стесняет.

Толпа рассыпалась — и вот
Шуршит атлас, пестрят наряды,
Круглятся плечи бледных дам —
Затылки — профили — а там,
Из-за высокой балюстрады,
Уже виднеются певцы,
Артисты-гении, певицы,
Которым пышные столицы
Несут алмазы и венцы.

И ты в толпе — уж за рядами
Кудрей и лысин мне видна
Твоя густая седина;
Ты искоса повел глазами —
Быть узнанным тщеславный страх
Читаю я в твоих глазах...
От русских барынь, от туристов,
От доморощенных артистов
Еще хранит тебя судьба...
Но — чу! гремят рукоплесканья,
Ты дрогнул — жадное вниманье
Приподнимает складки лба;
(Как будто что тебя толкнуло!)
Ты тяжело привстал со стула,
В перчатке сжатою рукой
Прижал к глазам лорнет двойной
И — побледнел:
Она выходит...
Уже вдали, как эхо, бродит
Последних плесков гул, и — вот
Хор по струнам смычками водит —
Она вошла — она поет.

О, это вкрадчивое пенье!
В нем пламя скрыто — нет спасенья!
Восторг, похожий на испуг,
Уже захватывает дух —
Опять весь зал гремит и плещет...
Ты замер... Сладко замирать,

Когда, как бы ожив, опять
Пришла любовь с тобой страдать —
И на груди твоей трепещет...
Ты молча голову склонил,
Как юноша, лишенный сил
Перед разлукой...
Но — быть может —
(Кто знает?!) грустною мечтой
Перелетел ты в край родной,
Туда, где все тебя тревожит,
И слава, и судьба друзей,
И тот народ, что от цепей
Страдал и — без цепей страдает...
Повеся нос, потупя взор,
Быть может, слышишь ты — качает
Свои вершины темный бор —
Несутся крики — кто-то скачет —
А там, в глуши, стучит топор —
А там, в избе, ребенок плачет...

Быть может, вдруг перед тобой
Возникла тусклая картина —
Необозримая равнина,
Застывшая во мгле ночной.
Как бледно-озаренный рой
Бесов, над снежной пеленой
Несется вьюга; — коченеет,
Теряясь в непроглядной мгле,
Блуждающий обоз... Чернеет,
Как призрак, в нищенском селе
Пустая церковь; тускло рдеет
Окно с затычкой — пар валит
Из кабака; из-под дерюги
Мужик вздыхает: «Вот те на!»
Иль «караул!» хрипит со сна,
Под музыку крещенской вьюги.

Быть может, видишь ты свой дом,
Забитый ставнями кругом,—
Гнилой забор — оранжерею —
И ту заглохшую аллею,
С неподметенною листвой,
Где пахнет детской стариной
И где теперь, еще, быть может,
Когда луна светла, как день,

Блуждает молодая тень —
Тот бледный призрак, что тревожит
Сердца, когда поет *она*
Перед толпой, окружена
Лучами славы...

1877

УЗНИЦА

Что мне она! — не жена, не любовница
И не родная мне дочь,
Так отчего ж ее доля проклятая
Ходит за мной день и ночь?

Словно зовет меня, в зле неповинного,
В суд отвечать за нее —
Словно страданьем ее заколдовано
Бедное сердце мое.

Вот и теперь мне как будто мерещится
Жесткая койка тюрьмы,
Двери с засовами, окна под сводами,
Мертвая тишь полутьмы.

Из полутьмы этой смотрят два знойные
Глаза без мысли и слез,
Не шевелятся ни губы, ни смятые
Космы тяжелых волос,

Не шевелится ни локоть, ни тощие
Руки на тощей груди,
Слабо прижатые к сердцу без трепета
И без надежд впереди.

Сколько же лет ей? Семнадцать неужели?
Правда ли,— мне говорят,—
Что эта девушка, в счастье не жившая,
Что ей не верят и мстят,—

Мстят ей за бедность ее без смирения,
Мстят за свободу речей,
Мстят ей за страстный порыв нетерпения,
Мстят за любовь без цепей.

Может ли быть? Мне как будто не верится,
Что так тяжел приговор
Света, в котором кишат лицемерные
Плуты — развратник иль вор.

Скоро ли будет бедняжка оправдана,
Снова любить и желать?
Или уж скоро ли в саване вынесут
Тело ее отпевать?

О, что-нибудь! Или жизни придавленной
Дайте вздохнуть и расцвесть,
Иль до суда поспешите добить ее,
Чтоб утолить вашу месть.

1877

УЗНИЦА

Что мне она! — не жена, не любовница
И не родная мне дочь!
Так отчего ж ее доля проклятая
Спать не дает мне всю ночь!

Спать не дает, оттого что мне грезится
Молодость в душной тюрьме,
Вижу я — своды... окно за решеткою,
Койку в сырой полутьме...

С койки глядят лихорадочно-знойные
Очи без мысли и слез,
С койки висят чуть не до полу темные
Космы тяжелых волос.

Не шевелятся ни губы, ни бледные
Руки на бледной груди,
Слабо прижатые к сердцу без трепета
И без надежд впереди...

Что мне она! — не жена, не любовница,
И не родная мне дочь!
Так отчего ж ее образ страдальческий
Спать не дает мне всю ночь!

1878

* * *

Поэт и гражданин, он призван был учить,
В лохмотьях нищеты живую душу видеть,
Самоотверженно страдающих любить
И равнодушных ненавидеть.

1878

ОПАСЕНИЕ

На праздник ты одна ушла, друг милый мой,
Без горничной, без провожатых,
Ушла — порадовать своею красотой
Людей беспечных и богатых.

Уж поздно... тьма кругом... и напряжен мой слух,
И ум мой полон смутных бредней:
Не твой ли шорох там, где газ давно потух?
Чу! что-то звякнуло в передней!..

Уж поздно; я не сплю — клянусь, не оттого,
Что горячо тебя люблю я
И что не мог бы я заснуть без твоего
Рассказа или поцелуя...

Нет, не из ревности я не смыкаю глаз
И жду тебя не как влюбленный:
Я праздника боюсь — мне страшен поздний час
И этот город полусонный.

Здесь каждый ждет беды, здесь каждый запер дверь,
Здесь невидимкой между нами
Блуждает нищета, косматая, как зверь,
Дрожит и шарит за дверями.

Быть может, тень ее завистливо глядит
На яркий свет тех самых окон,
Где под напев смычка нога твоя скользит,
Где вьется твой летучий локон.

Ты не нуждаешься благодаря трудам,—
Но для нее и ты богата;
И то, что любишь ты, и то, что свято нам,
Для голодающих не свято...

. . . .
O, я б не ждал тебя с тревогой и тоской,
Об этом не было б и речи,
Когда б у каждого, в семье его родной,
Горели праздничные свечи!

⟨1878⟩

Н. А. ГРИБОЕДОВА

1

Не князь, красавец молодой,
Внук иверских царей,
Был сокровенною мечтой
Ее цветущих дней.
Не вождь грузинских удальцов —
Гроза соседних гор —
Признаньем вынудил ее
Потупить ясный взор.
Не там, где слышат валуны
Плеск Алазанских струй [1],
Впервые прозвучал ее
Заветный поцелуй.
Нет, зацвела ее любовь
И расцвела печаль
В том жарком городе, где нам
Прошедшего не жаль...
Где грезится сазандарам [2]
Святая старина,
Где часто музыка слышна
И веют знамена.

2

В Тифлисе я ее встречал...
Вникал в ее черты:
То — тень весны была, в тени
Осенней красоты.
Не весела и не грустна,—
Где б ни была она,

[1] Алазань — река Кахетии. *(Примеч. Я. П. Полонского.)*
[2] Сазандар — грузинский народный певец. *(Примеч. Я. П. Полонского.)*

Повсюду на ее лице
Царила тишина.
Ни пышный блеск, ни резвый шум
Полуночных балов,
Ни барабанный бой, ни вой
Охотничьих рогов,
Ни смех пустой, ни приговор
Коварной клеветы,
Ничто не возмущало в ней
Таинственной мечты;
Как будто слава, отразясь
На ней своим лучом,
В ней берегла покой души
И грезы о былом.
Или о том, кто, силу зла
Изведав, завещал
Ей все прощающую скорбь
И веру в идеал...

3

Я помню час, когда вдали
Вершин седые льды
Румянцем вспыхнули и тень
С холмов сошла в сады,
Когда Метех [1] с своей скалой
Стоял как бы в дыму
И уходил сионский крест [2]
В ночную полутьму.
Она сидела на крыльце
С поникшей головой,
И, помню, кроткий взор ее
Увлажен был слезой.
О незабвенной старине
Намек нескромный мой
Смутил ее больной души
Таинственный покой.
И мне казалось, в этот миг
Я у нее в глазах
Прочел ту повесть — что прошла
Тайком в ее мечтах:
. . . .

[1] Замок и острог в Тифлисе. (*Примеч. Я. П. Полонского.*)
[2] Крест Сионского собора, самой большой церкви в Тифлисе. (*Примеч. Я. П. Полонского.*)

4

«Он русским послан был царем,
В Иран держал свой путь
И на пути заехал к нам
Душою отдохнуть.
Желанный гость — он принят был
Как друг моим отцом;
Не в первый раз входил он к нам
В гостеприимный дом;
Но не был весел он в тени
Развесистых чинар,
Где на коврах не раз нам пел
Заезжий сазандар;
Где наше пенилось вино,
Дымился наш кальян,
И улыбалась жизнь гостям
Сквозь радужный туман;
И был задумчив он, когда
Как бы сквозь тихий сон,
Пронизывался лунный свет
На темный наш балкон;
Его горячая душа,
Его могучий ум
Влачили всюду за собой
Груз неотвязных дум.
Напрасно Север ледяной
Рукоплескал ему,
Он там оставил за собой
Бездушную зиму;
Он там холодные сердца
Оставил за собой,
Лишь я одна могла ему
Откликнуться душой...
Он так давно меня любил,
И так был рад, так рад,
Когда вдруг понял, отчего
Туманится мой взгляд...

5

И скоро перед алтарем
Мы с ним навек сошлись...
Казалось, праздновал весь мир,
И ликовал Тифлис.

Всю ночь к нам с ветром долетал
Зурны тягучий звук,
И мерный бубна стук, и гул
От хлопающих рук.
И не хотели погасать
Далекие огни,
Когда, лампаду засветив,
Остались мы одни.
И не хотела ночь унять
Далекой пляски шум,
Когда с души его больной
Скатилось бремя дум,
Чтоб не предвидел он конца
Своих блаженных дней
При виде брачного кольца
И ласковых очей.

6

Но час настал: посол царя
Умчался в Тегеран.
Прощай, любви моей заря!
Пал на сердце туман...
Как в темноте рассвета ждут,
Чтоб страхи разогнать,
Так я ждала его, ждала,—
Не уставала ждать...
Еще мой верующий ум
Был грезами повит,
Как вдруг... вдруг грянула молва,
Что он убит... убит!
Что он из плена бедных жен
Хотел мужьям вернуть,
Что с изуверами в бою
Он пал, пронзенный в грудь,
Что труп его — кровавый труп —
Поруган был толпой
И что скрипучая арба
Везет его домой[1].
Все эти вести в сердце мне
Со всех сторон неслись...

[1] Записки А. С. Пушкина, т. 5, с. 76. Изд. Анненкова. (*Примеч. Я. П. Полонского.*)

Но не скрипучая арба
Ввезла его в Тифлис,—
Нет, осторожно между гор,
Ущелий и стремнин
Шесть траурных коней везли
Парадный балдахин;
Сопровождали гроб его
Лавровые венки,
И пушки жерлами назад,
И пики, и штыки;
Дымились факелы, и гул
Колес был эхом гор,
И память вечную о нем
Пел многолюдный хор...
И я пошла его встречать,
И весь Тифлис со мной
К заставе эриванской шел
Растроганной толпой.
На кровлях плакали, когда
Без чувств упала я...
О, для чего пережила
Его любовь моя!

7

И положила я его
На той скале, где спит
Семья гробниц и где святой
Давид их сторожит.
Где раньше, чем заглянет к нам
В окошки алый свет,
Заря под своды алтаря
Шлет пламенный привет;
На той скале, где в бурный час
Зимой, издалека
Причалив, плачут по весне
Ночные облака;
Куда весной, по четвергам,
Бредут на ранний звон,
Тропинкой каменной, в чадрах
Толпы грузинских жен.
Бредут, нередко в страшный зной,
Одни — просить детей,
Другие — воротить мольбой
Простывших к ним мужей...

Там, в темном гроте — мавзолей,
И — скромный дар вдовы —
Лампадка светит в полутьме,
Чтоб прочитали вы
Ту надпись и чтоб вам она
Напомнила сама —
Два горя: горе от любви
И горе от ума».

1879, января 30

(ГИПОТЕЗА)

Из вечности музыка вдруг раздалась,
И в бесконечность она полилась,
И хаос она на пути захватила,—
И в бездне, как вихрь, закружились светила:
Певучей струной каждый луч их дрожит,
И жизнь, пробужденная этою дрожью,
Лишь только тому и не кажется ложью,
Кто слышит порой эту музыку божью,
Кто разумом светел, в ком сердце горит.

1880(?)

* * *

Человек он идеальный,
Духом агнец он пасхальный,
Сердцем факел погребальный,
Труженик многострадальный.
В философии — недальный,
Для обжорства и для спальной
Человек давно негодный,
Словом, господу угодный,
Для России же — фатальный.

1882

* * *

Любя колосьев мягкий шорох
И ясную лазурь,
Я не любил, любуясь нивой,
Ни темных туч, ни бурь...

Но налетела туча с градом,
Шумит-гремит во мгле;
И я с колосьями, как колос,
Прибит к сырой земле...
К сырой земле прибит — и стыну,
Холодный и немой,
И уж не все ль равно мне — солнце
Иль туча надо мной?!

⟨1882⟩

* * *

Глаза и ум, и вся блестишь ты,
Невзгод житейских далека...
И молча взорам говоришь ты,
Как ночью пламень маяка...
Но я, пловец, завидя пламень,
Своим спасеньем дорожу
И, обходя подводный камень,
От блеска дальше ухожу...
Вот, если б я волной был шумной —
Ветрам послушною волной,
С какой бы страстью вольнодумной
Примчался я к твоим стопам,
Чтоб хоть на малое мгновенье
Взыграть — разбиться и — слезам
Дав волю, выплакать забвенье
Своим безумствам и страстям.

⟨1882⟩

* * *

Я умер, и мой дух умчался в тот эфир,
Что соткан звездными лучами;
Я не могу к тебе вернуться в пыльный мир
С его пороком и цепями.

Прощай! Ты слышишь дня однообразный гул,
И для тебя он скучно-светел;
Но день твой предо мной как молния мелькнул,
И в нем тебя я не заметил.

Ты видишь, ночи тень идет на смену дня;
Но я твоей не вижу ночи;
Какое ж дело мне, ты любишь ли меня
Или другому смотришь в очи...

Я на земле постиг изменчивость страстей:
Смерть погасила жар недужный...
Не бойся ж ревности и не проси моей
Взаимности, тебе ненужной...

⟨1882⟩

НА ИСКУСЕ

Как промаюсь я, службы все выстою,
Да уйду на ночь в келью свою,
Да лампадку пред девой пречистою
Засветив, на молитве стою...

Я поклоны творю пред иконою
И не слышу, как сладко поют
Соловьи за решеткой оконною,
В том саду, где жасмины цветут...

Но, когда, после долгого бдения,
Я на одр мой ложусь, на меня,
Сладострастием вея, видения
Прошлой жизни встают ярче дня.

Замыкаю ль ресницы усталые —
Я тону в бездне сладостных грез:
Все-то вижу глаза ее впалые...
Плечи бледные... волны волос...

Начинаю ль дремать — тяжко дышится,—
Я безумца в себе узнаю:
Мне сквозь сон ее жалоба слышится
На беспутную юность мою...

И в слезах призывая спасителя,
Крик ребенка я слышу — и в нем,
В сироте, чую вечного мстителя
За любовь, что покрыл я стыдом...

И нет сил одолеть искушение!
Забывая молитву мою,
У погибшей прошу я прощение,
Перед ней на коленях стою...

⟨1883⟩

ХОЛОДНАЯ ЛЮБОВЬ

Когда, заботами иль злобой дня волнуем,
На твой горячий поцелуй
Не отвечаю я таким же поцелуем,—
Не упрекай и не ревнуй!

Любовь моя давно чужда мечты веселой,
Не грезит, но зато не спит,
От нужд и зол тебя спасая, как тяжелый,
Ударами избитый щит.

Не изменю тебе, как старая кольчуга
На старой рыцарской груди;
В дни беспрерывных битв она вернее друга;
Но от нее тепла не жди!

Не изменю тебе; но если ты изменишь
И, оклеветанная вновь,
Поймешь, как трудно жить, ты вспомнишь,
ты оценишь
Мою холодную любовь.

⟨1884⟩

СТАРИК

Старик, он шел кряхтя, с трудом одолевая
Ступеньки лестницы крутой,
А чудо-девушка, наверх за ним взбегая,
Казалось, веяла весной.
Пронесся легкий шум шагов, и ветер складок,
И длинный локона извив...
О, как тогда себе он показался гадок,
Тяжел, ненужен и ворчлив.
Вздохнув, поник старик, годами удрученный;
Она ж исчезла вдруг за дверью растворенной,
Как призрак, смеющий любить,

Как призрак красоты, судьбой приговоренной
Безжалостно любимой быть.
Постой, красавица! Жизнь и тебя научит
Кряхтеть и ныть, чтоб кто-нибудь
Мог перегнать тебя, когда тебя измучит
Крутой подъем — житейский путь!..

1884, май

К ПОРТРЕТУ

Она давно прошла, и нет уже тех глаз,
И той улыбки нет, что молча выражали
Страданье — тень любви, и мысли — тень печали.
Но красоту ее Боровиковский спас.
Так часть души ее от нас не улетела,
И будет этот взгляд и эта прелесть тела
К ней равнодушное потомство привлекать,
Уча его любить, страдать, прощать, молчать.

Январь 1885

* * *

Томит предчувствием болезненный покой...
Давным-давно ко мне не приходила Муза;
К чему мне звать ее!.. К чему искать союза
Усталого ума с красавицей мечтой!
Как бесприютные, как нищие, скитались
Те песни, что от нас на божий свет рождались,
И те, которые любили им внимать,
Как отголоску их стремлений идеальных,
Дремотно ждут конца или ушли — витать
С тенями между ив и камней погребальных;
А те, что родились позднее нас, идут
За призраком давно потухшей в нас надежды:
Они для нас, а мы для них — невежды,
У них свои певцы, они свое поют...

И пусть они поют... и пусть я им внимаю
И радуюсь, что я их слезы понимаю,
И, чуя в их сердцах моей богини тень,
Молю бессмертную благословить тот день,
Когда мы на земле сошлись для песен, бедных,
Непобеждаемых, хотя и не победных.

1885

⟨ПИСЬМО К А. Н. МАЙКОВУ⟩

Луга. 1885. 4 июля

Многоуважаемый друг
Аполлон Николаевич!

Желчь разлилась; но я, увы!
От этого не стал настолько злее,
Чтоб лаяться на современный лад.
На днях [1] меня знобила лихоманка:
Был сильный жар, и я так глупо бредил,
Что испугал жену мою — она
Послала за уездным ескулапом —
И написала письма к Бертенсону.
Что говорил я ей, не помню,
Но ей почудилось, что я схожу с ума
Или что я попал в ловушку тифа
И он сбирается меня изжарить,
Как курицу...— Но вездесущий
Внушил мне мысль испить воды горячей,
Простой воды, в кастрюле кипяченной,
И пот прошиб меня, и стал спадать
Сорокаградусный, зловещий жар.
И я очнулся, желтый как лимон,
С прекрасной позолотою в глазах.
Тут услыхал я — будто бы в бреду
Я яблоней себя воображал
И пресерьезно говорил жене:
Пожалуйста, меня ты не тряси;
Я не хочу, чтоб яблоки с меня
Попадали,— будь осторожна.—
Жена была, конечно, осторожна...
И уж не знаю, был ли я за это
Ей благодарен? К вечеру явился
Ко мне уездный врач, коротконогий,
Большеголовый, черноглазый, разом
Похожий на кота и на поэта.
(На Курочкина смахивал немного —
На Николая.— Помнишь Николая?
Который поклонялся чудотворцам
Французской революции и, вероятно,
Молился образам Дантона и Марата,
От водяной сбираясь погрузиться

[1] 2 июля. (*Примеч. Я. П. Полонского.*)

В небытие.) Уездный ескулап
Повел себя, как ескулап столичный:
Послушал сердце, постучал, пощупал
(Я показал ему язык, но сердце спрятал)
И объявил — что нужен мне *хинин*,
На это я сказал ему: *спасибо.*
И мы расстались.—
Нет, слуга покорный! —
Карлсбад, да каломель, да терпентин,
Да опий, да еще хинин вдобавок! —
C'est trop de luxe! [1] —
Авось не повторится
Такая чепуха...— глухая боль в желудке.
Палящий жар и сумасшедший бред —
Я говорю «авось!», но... qui lo sa! [2]
Мы все под богом ходим... Ах, мой милый,
Как я люблю жары — и что же? летний,
Пропахнувший смолою наших сосен,
Июльский жар стал для меня враждебен!
Он желчь мою так кипятит, так варит,
Что из урины сделал нечто вроде пива
Иль портера — и высушил язык!
И сам я кипячусь, и с озлобленьем
На самого себя с ногтями, как с когтями,
Бросаюсь, и чешусь, чешусь, чешусь —
В кровь раздираю собственное тело —
Друг! не брани меня за то, что я так скверно
Веду себя,— не так, как наш Златковский,—
Тот пишет...— боже мой! как пишет!! — слюнки
Текут, читая... Так и брызжет пеной
Задорной юности из каждой строчки.
Высокогрудую пленить он хочет шведку...
Подруги алчет златовласой,— стройной
И белотелой — и хоть он боится,
Что это будет плохо совпадать
С его леченьем — как бы я желал
Лечиться, волочась, и волочиться,
О всех своих недугах забывая! —
Куда нам! — И не волочась, так плохо
Я сплю — и так хандрю, что, право,
Не яблоней с пахучими плодами
Себя воображаю, а сухим,

[1] Слишком много шику (*фр.*).
[2] Кто знает! (*ит.*)

Корявым деревом... Тоскую, братец!
Напрасно порывался я с палитрой
Писать с натуры...— но или далеко
Пройти не в силах, или слишком слаб —
И ноги слабы, и глаза, и руки...
И даже голова.— Ведь это я с тоски,
С досады на судьбу пишу тебе стихами
A la Случевский — и пишу, как он,
Не исправляя ни единой строчки,—
Знать не хочу, что белые стихи
Трудней рифмованных — и что они
Напоминают рубленую прозу,—
Э, все равно! Случевский современный
Пиита и — ему я подражаю:
К нему снисходит публика,— ко мне,
Надеюсь, Майков будет снисходить.
Итак, прими мой искренний привет
И передай поклон мой сослуживцам.
Коли умру — не думай обо мне —
О детях же моих подумай.— Коли
Останусь жив — рад буду поболтать
С тобою, с Вышнеградским, с графом Г.
Арсением — с поэтом для немногих —
Целую ручки у твоей жены
И остаюсь
Твой неизменный
Яков.

* * *

Князек, ханжа и аферист,
Погрязший в узком эгоизме,
Бездушный сплетник, журналист,
Галантерейный романист,
Пошляк в своем патриотизме!
Когда он плавно говорит
О том, что вера в нас погасла,
От липких фраз его тошнит,
Как от касторового масла.

Между 1881 и 1886 гг.

ПАМЯТИ С. Я. НАДСОНА

(19 января 1887 г.)

Он вышел рано, а прощальный
Луч солнца в тучах догорал;
Казалось, факел погребальный
Ему дорогу освещал:
В темь надвигающейся ночи
Вперив задумчивые очи,
Он видел — смерть идет...
Хотел
Тревоги сердца успокоить
И хоть не мог еще настроить
Всех струн души своей,— запел.
И был тот голос с нервной дрожью,
Как голос брата, в час глухой,
Подслушан пылкой молодежью
И чуткой женскою душой.

Без веры в плод своих стремлений,
Любя, страдая, чуть дыша,
Он жаждал светлых откровений,
И темных недоразумений
Была полна его душа.

И ум его не знал досуга:
Поэта ль, женщину иль друга
Встречал он на пути своем,—
Рой образов боролся в нем
С роями мыслей неотвязных.
. . . .
Рассудку не хватало слов...
И сердце жаждало стихов,
Унылых и однообразных,
Как у пустынных берегов
Немолчный шум морских валов,
Томил недуг и — вдохновенье
Томило до изнеможенья:
Недаром, из страны в страну
Блуждая, он искал спасенья,
И, как эмблему возрожденья,
Любил цветущую весну.
Но паче всех благоуханий
И чужеземных алтарей
Поэт тревожных упований

И сокрушительных идей
Любил, среди своих блужданий,
Отчизну бедную свою:
Ее метелями обвеян,
Ее пигмеями осмеян,
Он жить хотел в ее краю,
И там, под шум родного моря,
В горах, среди цветущих вилл,
Чтоб отдохнуть от зол и горя,
Прилег — и в боге опочил.

Спи с миром, юноша-поэт!
Вкусивший по дороге краткой
Все, что любовь дает украдкой,
Отраву ласки и клевет.
Разлуки гнет, часы свиданий,
Шум славы, гром рукоплесканий,
Насмешку, холод и привет...
Спи с миром, юноша-поэт!

24 января 1887

Н. И. ЛОРАНУ

Друг! По слякоти дорожной
Я бреду на склоне лет,
Как беглец с душой тревожной,
Как носильщик осторожный,
Как измученный поэт.

Плохо вижу я дорогу,
Но шагая рядом, в ногу
С неотзывчивой толпой,—
Страсти жар неутоленной,
Холод мысли непреклонной,
Жажду правды роковой
Я несу еще с собой.

Разливается по жилам
Жар и жгучий холодок...
Или ношу не по силам
Взял я на душу,— ходок?
Или ноша эта стала
Тяжелее и гнетет
От осенних непогод? —

Ум тупеет, грудь устала,
Чувство стынет в этой мгле,
Что зари сиянье прячет,
И дождит, как будто плачет,
Расстилаясь по земле.

Но, поверь мне, ноша эта
Мне была бы нипочем,
Если б только было лето
И дышалось бы теплом.
Мне б казался путь недолог,
Если б солнечных небес
Голубой прозрачный полог
Окаймлял зеленый лес;
Если б в поле пели птицы,
А за пашней, на юру,
Полоса густой пшеницы
Колыхалась на ветру.

Не простыл бы жар сердечный,
Я б надеждою беспечной
Дух мой втайне веселил...
И меня б, с утратой сил,
По дороге к правде вечной
Холод мысли не знобил.

1887

А. А. ФЕТ

Нет, не забуду я тот ранний огонек,
Который мы зажгли на первом перевале,
В лесу, где соловьи и пели и рыдали,
Но миновал наш май — и миновал их срок.
О, эти соловьи!.. Благословенный рок
Умчал их из страны калинника и елей
В тот теплый край, где нет простора для метелей.
И там, где жарче юг и где светлей восток,
Где с резвой пеною и с сладостным журчаньем
По камушкам ручьи текут, а ветерок
Разносит вздохи роз, дыша благоуханьем,
Пока у нас в снегах весны простыл и след,
Там — те же соловьи и с ними тот же Фет...
Постиг он как мудрец, что если нас с годами
Влечет к зиме, то — нам к весне возврата нет,
И — улетел за соловьями.

И вот, мне чудится, наш соловей-поэт,
Любимец роз, пахучими листами
Прикрыт, и — вечной той весне поет привет.
Он славит красоту и чары, как влюбленный
И в звезды и в грозу, что будит воздух сонный,
И в тучки сизые, и в ту немую даль,
Куда уносятся и грезы, и печаль,
И стаи призраков причудливых и странных,
И вздохи роз благоуханных,
Волшебные мечты не знают наших бед:
Ни злобы дня, ни думы омраченной,
Ни ропота, ни лжи, на все ожесточенной,
Ни поражений, ни побед.
Все тот же огонек, что мы зажгли когда-то,
Не гаснет для него и в сумерках заката,
Он видит призраки ночные, что ведут
Свой шепотливый спор в лесу у перевала,
Там мириады звезд плывут без покрывала,
И те же соловьи рыдают и поют.

1888, 1 февраля.

* * *

Гранит и небеса и все в туман одето.
По улицам в толпе брожу я одинок.
Не греет даже слух, что здесь недавно где-то
Мелькал в морозной мгле румяный образ Фета,
Я этого певца нигде поймать не мог.
Кой черт — почем я знал, что случай иль поток
Житейских волн, его пригнав, угонит снова,
Что он, как музами взлелеянный цветок,
Уронит здесь один отпавший лепесток,
А для меня, злодей, не выронит ни слова.

16 февраля 1888

У ДВЕРИ

(Посвящается А. П. Чехову)

Однажды в ночь осеннюю,
Пройдя пустынный двор,
Я на крутую лестницу
Вскарабкался, как вор.

Там дверь одну заветную
Впотьмах нащупал я
И постучался.— Милая!
Не бойся... это я...

А мгла в окно разбитое
Сползала на чердак,
И смрад стоял на лестнице,
И шевелился мрак.

Вот-вот она откликнется,
И бледная рука
Меня обнимет трепетно
При свете ночника.

По-прежнему на грудь ко мне
Склонясь, она вздохнет,
И страстный голосок ее
Порвется и замрет...

Она — мой друг единственный,
Она — мой идеал!
И снова в дверь дощатую
Я тихо постучал.

— Прости меня, пусти меня,
Я дрогну, ангел мой!
Измучен я, истерзан я
Сомненьем и тоской.

И долго я стучался к ней —
Стучался, звал и — вдруг
За дверью подозрительный
Почудился мне стук.

Я дрогнул и весь замер я,
Дыханье затая...
— Так вот ты как,— изменница!
Лукавая змея!

Вдвоем ты... но... безумец я!
Очнуться мне пора...
Здесь буду ждать соперника
До позднего утра.

Все, все, чему так верил я,—
Ничтожество и ложь!
Улика будет явная —
Меня не проведешь...

Но притаив дыхание,
Как сыщик у дверей,
Я не слыхал ни шороха,
Ни скрипа, ни речей...

О гнусность подозрения!
Искупит ли вину
Отрадная уверенность
Застать ее одну.

И, сердцем успокоенный,
Я понял, что она
Моим же поведением
Была оскорблена.

Недаром в час свидания
У лестницы, внизу,
Подметил я в глазах ее
Обидную слезу.

Не я ль — гордец бесчувственный! —
Сознался ей, как трус,
Что я стыжусь любви моей,
Что бедности стыжусь...

Проснулась страсть мятежная,
Тоской изныла грудь;
Прости меня, пусти меня,
Слова мои забудь.

Но чу!.. Опять сомнение!..
Не ветер ли пахнул?
Не мышь ли? не соседи ли?
Нет! — Кто же так вздохнул?

Так тяжко, так мучительно
Вздыхает смерть одна —
Что, если... счеты с жизнию
Покончила она?

Увы! Никто не учит нас
    Любить и уповать;
А яд и дети малые
    Умеют добывать.

Мерещился мне труп ее,
    Потухшие глаза
И с горькой укоризною
    Застывшая слеза.

Я плакал, я с ума сходил,
    Я милой видел тень,
Холодную и бледную,
    Как этот серый день.

Уже в окно разбитое
    На сумрачный чердак
Глядело небо тусклое,
    Рассеивая мрак.

И дождь урчал по желобу,
    И ветер выл, как зверь...
Меня застали дворники,
        Ломившегося в дверь.

Они узнали прежнего
    Жильца и, неспроста
Хихикая, сказали мне,
    Что комната пуста...

С тех пор я, как потерянный,
    Куда ни заходил,
Все было пусто, холодно...
    Чего-то — след простыл...

1888

ПАМЯТИ В. М. ГАРШИНА

Вот здесь сидел он у окна,
Безмолвный, сумрачный: больна
Была душа его — он жался
Как бы от холода, глядел

Рассеянно и не хотел
Мне возражать,— а я старался
Утешить гостя и не мог.

Быть может, веры в исцеленье
Он жаждал, а не утешенья;
Но где взять веры?! Слово «бог»
Мне на уста не приходило;
Молитв целительная сила
Была чужда обоим нам,
И он ко всем моим речам
Был равнодушен, как могила.

Как птица раненая, он
Приник — и уж не ждал полета;
А я сказал ему, чтоб он
Житейских дрязг порвал тенета,
Чтоб он рванулся на простор —
Бежал в прохладу дальних гор,
В глушь деревень, к полям иль к морю,
Туда, где человек в борьбе
С природой смело смотрит горю
В лицо, не мысля о себе...

Он воспаленными глазами
Мне заглянул в глаза, руками
Закрыл лицо и не шутя
Заплакал горько, как дитя.
То были слезы без рыданья,
То было горе без названья,
То были вздохи без мечты —

В сетях любви и пустоты,
В когтях завистливого рока,
Он был не властен над собой;
Ни жить не мог он одиноко,
Ни заодно брести с толпой.
И думал я: «Поэт! — больное
Дитя! Ужель в судьбе твоей
Есть что-то злое, роковое,
Неодолимое!..»

С тех пор прошло немало дней;
Я слышал от его друзей,
Что он в далекий путь собрался

И стал заметно веселей;
Но беспощадный рок дождался
Его на лестнице крутой
И сбросил...
Странный стук раздался...
Он грохнулся и разметался,
Изломанный, полуживой,—

И огненные сновиденья
Его умчали в край иной.
Без крика и без сожаленья
Покинул он больной наш свет;
Его не восторгал он — нет!..
В его глазах он был теплицей,
Где гордой пальме места нет,
Где так роскошен пустоцвет,
Где пойманной, помятой птицей,
Не веря собственным крылам,
Сквозь стекла потемневших рам,
Сквозь дымку чадных испарений
Напрасно к свету рвется гений,
К полям, к дубровам, к небесам...

28 марта 1888

* * *

Жизнь наша — капля, канет жизнь
В бездонный океан забвенья,—
И где тогда наш славный труд,
Все наши грезы и сомненья?!.

Возникнет город на костях,
Где был чертог — пройдет дорога...
И вихрь подымет пыль, смешав
Прах нищего и полубога.

1888

В ЗАСУХУ

Все жаждет, истомясь от зною;
Все вопиет: дождя, дождя!
И рады все, что солнце мглою
Покрылось, сумрак наводя.

Влачится туч густых завеса,
Грозя нам ливнем и пыля;
Из-за синеющего леса
Прохладой веет на поля.

Шуршит соломой рожь сухая,
Пыль закрывается в кусты,—
И только капля дождевая
Одна спадает с высоты.

Дождя, дождя!.. Ужель обманут
Нас громовые голоса,
С земли колосья не привстанут
И не омоются леса?

Увы! Грозы насмешка злая,
Громовый хохот над землей!..
К чему нам капля дождевая!
Что значит капля в этот зной!..

Молниеносной тучи глыба
Перевалила за леса,—
Никто не скажет ей спасибо,
С упреком глядя в небеса.

Ушла!.. Но где над злом победа?
В чем торжество? Все тот же зной...—
И не осталось даже следа
От бедной капли дождевой...

1888(?)

ЛЕБЕДЬ

Пел смычок — в садах горели
    Огоньки — сновал народ —
Только ветер спал, да темен
    Был ночной небесный свод.

Темен был и пруд зеленый,
    И густые камыши,
Где томился бедный лебедь
    Притаясь в ночной тиши.

Умирая, не видал он —
    Прирученный нелюдим,—
Как над ним взвилась ракета
    И рассыпалась над ним;

Не слыхал, как струйка билась,
    Как журчал прибрежный ключ,—
Он глаза смыкал и грезил
    О полете выше туч.

Как в простор небес высоко
    Унесет его полет,
И какую там он песню
    Вдохновенную споет!

Как на все, на все святое,
    Что таил он от людей,
Там откликнутся родные
    Стаи белых лебедей.

И уж грезит он: минута,—
    Вздох — и крылья зашумят,
И его свободной песни
    Звуки утро возвестят.—

Но крыло не шевелилось,
    Песня путалась в уме:
Без полета и без пенья
    Умирал он в полутьме.

Сквозь камыш, шурша по листьям,
    Пробирался ветерок...
А кругом в садах горели
    Огоньки и пел смычок.

12 мая 1888

В ХВОЙНОМ ЛЕСУ

Лес, как бы кадильным дымом,
Весь пропахнувший смолой,
Дышит гнилью вековою
И весною молодой.

А смолу, как слезы, точит
Сосен старая кора,
Вся в царапинах и ранах
От ножа и топора.

Смолянистым и целебным
Ароматом этих ран
Я люблю дышать всей грудью
В теплый утренний туман.

Ведь и я был также ранен —
Ранен сердцем и душой,
И дышу такой же гнилью
И такою же весной...

Ф. ж. д. Райвола. 1888

* * *

Для сердца нежного и любящего страстно
Те поцелуи слаще всех наград,
Что с милых робких губ похищены украдкой
И потихоньку отданы назад.

Но к обладанью нас влечет слепая сила,
Наш ум мутит блаженства сладкий яд:
Слезами и тоской отравленная чаша
Из милых рук приходит к нам назад.

Не всякому дано любви хмельной напиток
Разбавить дружбы трезвою водой,
И дотянуть его до старости глубокой
С наперсницей, когда-то молодой.

1888

В АЛЬБОМ Г... В...

И дождь прошумел, и гроза унялась,
А капли все падают, падают...
Смыкаю глаза я, ночник мой погас,
Но прежние грезы в полуночный час
Не радуют душу, не радуют...

И дрогнет душа, потому что она
Несет две утраты тяжелые:
Утрату любви, что была так полна
Блаженных надежд в дни, когда мать-весна
    Дарила ей грезы веселые;

Другая утрата — доверчивый взгляд
И вера в людей — воспитавшая
Святую мечту, что всем людям я брат,
Что знанье убьет растлевающий яд
    И к свету подымет все падшее.

1888

В ДЕНЬ ПЯТИДЕСЯТИЛЕТНЕГО ЮБИЛЕЯ А. А. ФЕТА
(1889 г. 28-го января)

Ночи текли — звезды трепетно в бездну лучи свои сеяли...
Капали слезы,— рыдала любовь; и алел
Жаркий рассвет, и те грезы, что в сердце мы тайно лелеяли,
Трель соловья разносила — и бурей шумел
Моря сердитого вал — думы зрели, и — реяли
Серые чайки...
        Игру эту боги затеяли;
В их мировую игру Фет замешался и пел...

Песни его были чужды сует и минут увлеченья,
Чужды теченью излюбленных нами идей; —
Песни его вековые — в них вечный закон тяготения
К жизни — и нега вакханки, и жалоба фей —
В них находила природа свои отражения,
Были невнятны и дики его вдохновения
Многим; но тайна богов требует чутких людей.

Музыки выспренний гений недаром любил сочетания
Слов его, спаянных в «нечто» душевным огнем,
Гений поэзии видел в стихах его правды мерцание,
Капли, где солнце своим отраженным лучом
Нам говорило: «Я солнце!» И пусть гений знания
С вечно пытливым умом, уходя в отрицание,
Мимо проходит! — наш Фет русскому сердцу знаком.

1889

ЗИМОЙ В КАРЕТЕ

Вот, на каретных стеклах, в блеске
Огней и в зареве костров,
Из бледных линий и цветов
Мороз рисует арабески.
Бегут на смену темноты
Не фонари, а пятна света;
И катится моя карета
Средь этой мглы и суеты.

Огни, дворцы, базары, лица
И небо — все заслонено...
Миражем кажется столица —
Тень сквозь узорное окно
Проносится узорной дымкой,
Клубится пар, и — мнится мне,
Я сам, как призрак, невидимкой
Уселся в тряской тишине.

Скрипят тяжелые колеса,
Теряя в мгле следы свои;
Меня везут, и — нет вопроса:
Бегут ли лошади мои.
Я сам не знаю, где я еду,—
Заботливый слуга страстей,
Я словно рад ночному бреду,
Воспоминанью давних дней.

И снится мне — в холодном свете
Еще есть теплый уголок...
Я не один в моей карете...
Вот-вот сверкнул ее зрачок...
Я весь в пару ее дыханья —
Как мне тепло назло зиме!
Как сладостно благоуханье
Весны в морозной полутьме!

Очнулся — и мечта поблекла;
Опять, румяный от огней,
Мороз забрасывает стекла
И веет холодом. Злодей!
Он подглядел, как сердце билось:
Любовь, и страсти, и мечты.
И вздох мой — все преобразилось
В кристаллы, звезды и цветы.

Ткань ледяного их узора
Вросла в края звенящих рам,
И нет глазам моим простора,
И нет конца слепым мечтам!
Мечтать и дрогнуть не хочу я;
Но — каждый путь ведет к концу.
И скоро, скоро подкачу я
К гостеприимному крыльцу.

Январь, 1889

КАССАНДРА

То не ветер — вздох Авроры
Всколыхнул морской туман;
Обозначилися горы
И во мгле Данаев стан...
Многобашенная Троя
Чутко дремлет: здесь и там
Жаждут мести,— жаждут боя...
Жаждет отдыха Приам...

Лишь Кассандра легче тени,
Не спеша будить отца,
Проскользнула на ступени
Златоверхого дворца;
И в семье никто не знает —
Кто проснулся, чей хитон
Белым призраком мелькает
В сонном сумраке колонн...

Ей в лицо прохлада дышит,
Ночи темь в ее очах;
Складки длинные колышет
Удаляющийся шаг...

Глухи Гектора чертоги,—
Только храмы настежь,— там
Только мраморные боги
Предвкушают фимиам.

Аполлона жрец суровый
Не вчера ли ей предрек,
Что едва зарею новой
Зарумянится восток,

К ней — царевне, в тень священной
Рощи, где царит Эрот,
Новой страстью вдохновенный,
Аполлон сойдет с высот.

В этом видел он спасенье
Трои, замкнутой врагом,
И ей дал благословенье
Сочетаться с божеством;
Скрыв свое негодованье
К назиданиям жреца,
Дочь Приама на свиданье
Шла из отчего дворца.

Вот уж видны ей: могила —
С новой урной саркофаг,
Даль залива и ветрила,
И костры, и дым в горах...
Вот и холм — за ним — высоко
Бледно-розовая мгла...
И Кассандра одиноко
В роковую сень вошла.

В дни счастливые,— бывало,
Жрица бога своего,
Дочь царя не раз лобзала
Ноги идола его;
Ныне сердце девы чистой
В жизнь увлек иной поток...
Замерла она в тенистой
Роще, глядя на восток.

Алый блеск зари струится...
Это он идет — не сон...
Наяву Кассандре снится
Светозарный Аполлон.
Руки — сила, ноги — крылья,
Голос — лиры сладкий звон.
«Никого так не любил я»,—
Говорит ей Аполлон.

«К жизни, к творчеству зову я,
Ток земли, моря и — кровь:
Вечный свет тебе несу я,
Этот свет — моя любовь.

Неземное полюби ты,
О, земная красота!»
Девы вспыхнули ланиты,
И дрожат ее уста.

«В мире вечных ликований,
Посреди воздушных стран,
Ты не ведаешь страданий,
Ты не знаешь наших ран...
Слез твоих не знают очи,
И тебе неведом страх;
Ни одной бессонной ночи
Не провел ты в небесах...»

Ей не внемлет бог влюбленный —
Страстью дышит светлый лик;
Но Кассандры непреклонной
Руки сжаты,— взор поник.
«Полюбила б я, быть может,
Да любви мешает стыд,
Участь родины тревожит,
Неизвестность тяготит...

Ты стрелой сразил Ахилла,
Но Зевес, отец твой, нам
За Ахилла мстит, и сила
Напирает на Пергам.
Я устала ненавидеть —
Я любить хочу, но знай,
Я, любя, хочу предвидеть —
Дар предвиденья мне дай...»

Омраченный бог очами
Зорко в очи глянул ей
И вещал, встряхнув волнами
Золотых своих кудрей:
«Смертной девы не могу я
Сопричислить к божествам,
Но за негу поцелуя
Страшный дар тебе я дам.

Ты — цветок живой природы —
Мне милей моих богинь...
Я покинул неба своды —
Ты — родной свой край покинь.

Позабудь порывы мщенья,
Ряд могил, отца, семью...
Да врачует дар прозренья
Душу скорбную твою!

От мечей, огня и дыма,
От цепей позорных я
Унесу тебя незримо
В благодатные края.
Там, роясь, витают Грезы,
Там, красавица, пророчь,
Где любовью дышат розы,
Соловьи поют всю ночь!..»

Ароматный, знойно-сладкий
Не зефир ли опахнул
Грудь и плечи ей, и складкой
Белой ткани шевельнул...
Луч блуждающей надежды
Озарил ее черты,
Красота склонила вежды,
Устыдясь своей мечты.

Но волшебной речи сила
Разливала жар в крови,
И уж все готово было
К торжеству его любви...
Вдруг Кассандра оглянулась
И — очами повела,
С диким воплем отшатнулась,
Вскинув руки, замерла.

Обезумев, оборвала
Шнур повязки головной,
И, как жертва, простонала:
«Боги, боги! что со мной?!!
Если я тобой любима,
Не к добру твоя любовь?!
Вижу я сквозь клубы дыма
Блеск мечей, резню и кровь...

Пирр на стогнах Илиона,
Вопли жен,— насилье,— плен
Бой на рынке, бой у трона,
Бой среди родных мне стен!..

Не спасают и Пенаты
Утварь старого дворца:
Грабят пышные палаты
Скиптроносного отца!

Или это сновиденье?..
Или это наяву?!
Труп царя без погребенья,
Обезглавленный, во рву...
Тщетны вопли и молитвы...
Даже храм твой, Аполлон,
Вижу я,— в разгаре битвы
Закопчен и осквернен...

Даже гибель Илиона
Не разжалобит Судьбы...
Даже смерть Агамемнона
Не спасет его рабы...
Ах! Предчувствую позор свой,
Мне ль прильнуть к твоей груди?!
Уходи в глухой простор свой,—
От проклятий уходи!..»

И в одно мгновенье ока
Гневный лик его погас —
Исступленной издалека
Он воззвал в последний раз.
Гром... И пыль пошла столбами...
Чу! не Фурии ли там
Погнались, свистя бичами,
За Кассандрой по следам?

Веют белые одежды...
Слышен вой: «В коне... в коне
Гибель Трои!..— Нет надежды!..
Или мне внимайте,— мне!..»
Прибежала... ноги босы,
Грудь, лицо, глаза в огне,
Растрепавшиеся косы
Разметались по спине.

Слыша дочери стенанье,
Просыпается Приам,
Но напрасны предреканья —
Веры нет ее речам,
Ей рыдать дают свободу,

Ничего не говоря,
— Обезумела! — народу
Шепчут ближние царя.
Дни бегут... Врагам поверив,
Троя в праздничных цветах;
Лишь она одна, измерив
Бездну зла, внушает страх...
Одичала... на ограде
Села — и глядит, стеня,
Как встречает царь Палладе
Посвященного коня...

1890

ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН

Вечерний звон... не жди рассвета;
Но и в туманах декабря
Порой мне шлет улыбку лета
Похолодевшая заря...

На все призывы без ответа
Уходишь ты, мой серый день!
Один закат не без привета...
И не без смысла — эта тень...

Вечерний звон — душа поэта,
Благослови ты этот звон...
Он не похож на крики света,
Спугнувшего мой лучший сон.

Вечерний звон... И в отдаленьи,
Сквозь гул тревоги городской,
Ты мне пророчишь вдохновенье
Или могилу и покой.

Но жизнь и смерти призрак миру
О чем-то вечном говорят,
И как ни громко пой ты,— лиру
Колокола перезвонят.

Без них, быть может, даже гений
Людьми забудется, как сон,—
И будет мир других явлений,
Иных торжеств и похорон.

1890

ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН

Вариант

На все призывы без отзыва
Идет к концу мой серый день:
И дрогну я, и терпеливо
Жду...Приходи, святая тень!

Я к ночи сердцем легковерней,
Я буду верить как-нибудь,
Что ночь, гася мой свет вечерний,
Укажет мне на звездный путь.

Чу! колокол... Душа поэта,
Благослови вечерний звон! —
Похож ли он на крики света,
Спугнувшие мой лучший сон?!

Вечерний звон... и в отдаленьи,
Сквозь гул тревоги городской,
Пророчь мне к ночи вдохновенье
Или могилу и покой.

Но жизнь и смерти призрак миру
О чем-то вечном говорят: —
И как ни громко пой ты,— лиру
Колокола перезвонят.

Без них, в пыли руин забытых,
Исчезнут гении веков...
То будет ад зверей несытых
Или эдем полубогов...

1890

* * *

Зной — и все в томительном покое —
В пятнах света тени спят в аллее...
Только чуткой чудится лилее,
Что гроза таится в этом зное.

Бледная, поникла у балкона —
Ждет грозы,— и грезится ей, бедной,
Что далекой бури призрак бледный
Стал темнеть в лазури небосклона...

Грезы лета кажутся ей былью,—
Гроз и бурь она еще не знает,
Ждет... зовет... и жутко замирает,
Золотой осыпанная пылью...

Воробьевка, 1890

В ГОСТЯХ У А. А. ФЕТА

Тщетно сторою оконной
Ты ночлег мой занавесил,—
Новый день, румян и весел,
Заглянул в мой угол сонный.

Вижу утреннего блеска
Разгоревшиеся краски,—
И не спрячет солнца ласки
Никакая занавеска...

Угол мой для снов не тесен
(Если б даже снились боги...).
Чу! меня в свои чертоги
Кличет Муза птичьих песен.

Но, как раб иной привычки,
Жаждущий иного счастья,
Вряд ли я приму участье
В этой птичьей перекличке!..

д. Воробьевка, 12 июня 1890

* * *

Полонский здесь не без привета
Был встречен Фетом, и пока
Старик гостил у старика,
Поэт благословлял поэта.
И, поправляя каждый стих,
Здесь молодые музы их
Уютно провели все лето.

1890

НА ПУТИ

Хмурая застигла ночь,
    На пути — бурьян...
Дышит холодом с реки,
    Каплет сквозь туман.
Но как будто там — вдали,
    Из-под этих туч,
За рекою — огонька
    Вздрагивает луч...
И как будто где-то там
    Голоса в кустах...
Песня это или звон
    У меня в ушах?
В реку брошусь я — в кусты
    Брошусь сквозь туман —
Впереди тепло и свет,
    На пути — бурьян...

⟨1890⟩

В ОСЕННЮЮ ТЕМЬ

(Отрывок)

. . . .
. . . .
    Вечера настали мглистые —
    Отсырели камни мшистые;
И не цветиками розовыми,
Не листочками березовыми,
    Не черемухой в ночном пару,
    Пахнет, веет во сыром бору —
Веет тучами сгустившимися,
Пахнет липами — свалившимися,
    Или мокрых листьев ворохом;
    Тишина пугает шорохом...
Только там, за речкой тинистою,
Что-то злое и порывистое
    С гулом по лесу промчалося,
    Словно смерти испугалося...
Что со мной!.. Чего спасительного
Или хоть бы утешительного
    Ожидать от лесу темного
    В сон и холод погруженного?
    Пусть другой тут с горя топится!..

Сердце жить еще торопится...
Чувство тайное, весеннее,
Будь смелей и откровеннее —
Выручай свою возлюбленную,
Злыми сплетнями погубленную!
Пусть ее — мою красавицу,
Сироту и бесприданницу —
Силой выдали за пьяницу...
Знаю я тебя, пиявицу,
Моего лихого ворога!!
Ты купил ее недорого,—
Только я возьму недешево —
Ничего не жди хорошего!..

⟨1890⟩

* * *

Когда в наш темный сад вошла ты привиденьем,
Бледна, взволнованна, и жалобой звучал
Твой голос трепетный,— с невольным сокрушеньем
Внимал я твоему признанью, трепетал
За молодость, за честь, за рок, тебе грозящий:
Я верил искренно душе твоей скорбящей.

Теперь, когда, в цветах, с протянутой рукой
Стоишь ты светлая, как светлый призрак мая,
И улыбаешься, и смотришь, выжидая...
И взор твой светится лукавою мечтой,—
Прости, не верю я душе твоей — не верю —
Хочу сказать — молчу, смеюсь и — лицемерю...

⟨1891⟩

* * *

По торжищам влача тяжелый крест поэта,
У дикарей пощады не проси,—
Молчи и не зови их в скинию завета,
И с ними жертв не приноси.

Будь правды жаждущих невольным отголоском,
Разнузданных страстей не прославляй
И модной мишуры за золото под лоском
Блестящих рифм не выдавай.

И если чернь слепа, не жаждет и не просит,
И если свет — к злу равнодушный свет
Надменно, как трофей, свои оковы носит,—
Знай, что для них поэта нет...

⟨1891⟩

ТЕНИ И СНЫ

Я свечи загасил, и сразу тени ночи,
Нахлынув, темною толпой ко мне влетели;
Я стал ловить сквозь сон их призрачные очи
И увидал их тьму вокруг моей постели.

Таинственно они мигали и шептались:
«Вот он сейчас заснет, сейчас угомонится...
Давно ль мы страшным сном счастливца
любовались,—
Авось веселый сон несчастному приснится.

Глядите, как при нас, во сне, он свеж и молод!
Как может он, любя, и трепетать и верить!..
А завтра вновь сожмет его житейский холод,
И снова будет он хандрить и лицемерить...

И снова белый день, с утра, своим возвратом
Раскроет бездну зол, вражды, потерь и горя,
Разбудит богача, измятого развратом,
И нищего, что пьет, из-за копейки споря...

А мы умчимся в ночь, обвеянные снами
И грезами живых и мертвых поколений,
И счастья призраки умчатся вместе с нами —
Поблеклые цветы весенних вожделений»...

Полуночных теней уловленные речи
Встревожили мой сон и подняли с постели;
Я руку протянул, и вновь зажег я свечи;
И тени от меня ушли в углы и щели.

И к окнам хлынули, и на пороге стали,—
Я видел, при огне, их чуть заметный трепет,
Но то, что я писал, они уж не видали,
И я записывал таинственный их лепет.

1891, февраль 20

* * *

Вот и ночь... К ее порогу
Он пришел, едва дыша:
Утомился ли он медля?
Опоздал ли он спеша?..

Сел и шляпу снял, и, бледный,
К ней наверх в окно глядит;
И, прислушиваясь, тихо,
Точно бредит, говорит:

— Милый ангел! Будь покойна —
Я к тебе не постучусь...
Вижу свет твоей лампады
И безумствую — молюсь...

За тебя ли, за себя ли
Я молюсь, не знаю сам.
Ни глазам твоим не верю,
Ни лампаде, ни звездам.

Ведь они, все эти звезды,
Как и твой небесный взгляд,
И горят, и в душу смотрят —
И неправду говорят...

Ведь они, все эти звезды,
Никогда не скажут мне,
Кто сейчас твою лампаду
Погасил, мелькнув в окне.

Или это промелькнуло
Отражение луны?..
Или это — греза ночи,
Шорох знойной тишины?

Или это — у забора
Ветерок шуршит листвой?
Нет... Я слышу смех влюбленных
Над моей смешной слезой.

И, как тень, с ее порога
Поднялся он, чуть дыша...
Утомился ли он медля,
Опоздал ли он спеша?..

⟨1892⟩

ОТВЕТ

Ты спрашиваешь: отчего
Так пошло все и так ничтожно,
Что превосходства своего
Не сознавать нам невозможно?..
— Нет, я такой же, как и все,—
Такая ж спица в колесе,
Которое само не знает
И не ответит — хоть спроси,—
Зачем оно в пыли мелькает,
Вертясь вокруг своей оси...
Зачем своей железной шиной,
Мирской дорогою катясь,
Оно захватывает грязь,
Марая спицы липкой глиной,
И почему не сознает
То колесо, кого везет?
Кто держит вожжи — кто возница?
Чье око видит с вышины,
Куда несется колесница?
Какие кони впряжены?

⟨1892⟩

В САДУ

Мы празднуем в саду прощальный наш досуг.
Прощай! пью за твое здоровье, милый друг! —
И солнцу, что на все наводит зной, не жарко,
И льду не холодно, и этот пышный куст
Своих не знает роз, и даже эта чарка
Не знает, чьих она касалась жарких уст.
И блеск, и шорохи, и это колыханье
Деревьев — все полно блаженного незнанья;
А мы осуждены отпраздновать страданье,
И холод сознаем и пламенный недуг...
Прощай! пью за твое здоровье, милый друг!

⟨1882⟩

ПУСТЫЕ НОЖНЫ

Иль никогда на голос мщенья
Поэт не вырвет свой клинок.

М. Лермонтов

Без лезвия, ножны пустые,—
Кому вы нужны?.. Кто, простясь
С родной семьей, в минуты злые,
Идя на битву, вспомнит вас?..
Неумолимого кинжала
Ножны — где ваша рукоять?
Где ваш клинок — стальное жало?..
Быть может, и на них лежала
Востока старого печать?

В какую грудь, до крови жадный,
Впился клинок ваш беспощадный?
А вы — ножны?.. Какой герой
С ремня убитого героя
Отрезал вас на месте боя
И пал от пули роковой?
С каких племен сбирая дани,
Гордились вы своим клинком?
Чья власть велела вас кругом
Убрать каменьями без грани
И золоченым серебром?
Теперь никто уж из-под злата
Не вырвет вашего булата
На месть и злую гибель: он,
Слуга любого супостата,
Навеки с вами разлучен.
Блестите же своей оправой,
Когда-то страшные ножны!
Я рад, что вы осуждены
Быть антиквария забавой
Иль украшением стены.
Где та насечка золотая,
Тот стих Корана, что, внушая
Слепую веру в деву рая,
Завоевал себе Восток? —
Ножны — вы пусты...
Но не нужен
Поэту мстительный клинок!
Пусть льется кровь — он безоружен,

Молчит иль бредит, как пророк.
Быть может, бредит поневоле —
От старых ран, от новой боли,
От непосильной нам борьбы,
От горя, от негодованья,
От безнадежного исканья
Иной, спасительной судьбы...

⟨1892⟩

В ПОТЕМКАХ

Один проснулся я и — вслушиваюсь чутко,
Кругом бездонный мрак и — нет нигде огня.
И сердце, слышу я, стучит в виски... мне жутко...
Что, если я ослеп! Ни зги не вижу я,
Ни окон, ни стены, ни самого себя!..
И вдруг, сквозь этот мрак глухой и безответный,
Там, где гардинами завешено окно,
С усильем разглядел я мутное пятно —
Ночного неба свет... полоской чуть заметной.
И этой малости довольно, чтоб понять,
Что я еще не слеп и что во мраке этом
Все, все пророчески полно холодным светом,
Чтоб утра теплого могли мы ожидать.

28 декабря 1892

В НОВЫЙ ДОМ

Из храма, где обряд венчальный
Связал их жребий и сердца,
В свой новый дом, с зеркальной спальной,
Он вез ее из-под венца.

И колыхалася карета,
И жутко было им вдвоем:
Ей — в красоте полурасцвета,
Ему — с поблекнувшим лицом.

Не зимний холод — желтый глянец
Ей непривычного кольца
Сгонял пленительный румянец
С ее поникшего лица...

И колыхалася карета;
И, дар обычной суеты,
Оранжерейного букета
С ней дрогли пышные цветы.

— Мечты, куда вы улетели?! —
Злой дух ей на ухо шептал...
Колеса по снегу скрипели —
И ветер след их заметал.

Метель недаром разыгралась,
Недаром меркли фонари;
Он ласки ждал — она боялась
Дожить до утренней зари.

И как надежда — как свобода
От позолоченных цепей,
Как смерть — предчувствие развода
Таилось на сердце у ней.

1893

* * *

Мысли вычитанной,
Не хочу вписать.
Рифмой выточенной
Не к чему блистать.
Стиха кованного
Я люблю огонь —
То из Воронова
Ростопчинский конь.
Стих, исследующий
Глубину идей,—
Конь, не ведающий
Кучерских плетей.

1893

СМЕРТЬ

А!.. говорят... И только слезы
Мешают им договорить,
Что безнадежен ты, страдалец,
И что тебе уже не жить...
Впервые, несомненно, правду
Почуяли твои друзья,

Что это я пришла и встала
У ног твоих,— да, это я —
Тень твоего существованья —
Стихийный мрак небытия —
Развязка лжи — конец страданья —
Твой призрак — смерть — да, это я!..
Кто б ни был ты, глупец иль гений,
Все, что ты любишь, позабудь.
Я догорающее пламя
В твоей груди пришла задуть.
Не думай, не молись, не кайся,
И не желай, и не жалей,
И умирай, не сознавая,
Как меркнет свет твоих очей...

— Нет! нет! пока еще до срока —
До забытья, или пока
На грудь мне тяжко не наляжет
Твоя всевластная рука,
Я буду силиться без страха,
Дрожа, глядеть в твои глаза:
Что в них? Бездонный мрак кромешный
Иль гнева божьего гроза?
Пусть погибает мой рассудок!..
К чему он нужен там, куда
Я отхожу? — не ум, а сердце
Боится высшего суда...
И пусть бесчувственное тело
Есть достояние твое:
Возьми его; но то, что будет
Твоим, то будет не мое...
Что ты такое? — Тень; но тенью
Была вся жизнь; и эта тень
Бежит от света — и не видит,
Как брезжит бесконечный день...
Настолько ж был я человечен
И чужд мертвящей суеты,
Что вечен я или не вечен,
Про то я знаю, а не ты.
Да, ты ужасна! Поневоле
Я содрогаюсь: но когда
В последний раз вздохну я тихо,—
Мы разойдемся навсегда...

31 июля 1896

* * *

Если б смерть была мне мать родная,
Как больное, жалкое дитя,
На ее груди заснул бы я
И, о злобах дня позабывая,
О самом себе забыл бы я.

Но она — не мать, она — чужая,
Грубо мстит тому, кто смеет жить,
Мыслить и мучительно любить,
И, покровы с вечности срывая,
Не дает нам прошлое забыть.

‹1897›

* * *

И любя и злясь от колыбели,
Слез немало в жизни пролил я;
Где ж они — те слезы? Улетели,
Воротились к Солнцу бытия.

Чтоб найти все то, за что страдал я,
И за горькими слезами я
Полетел бы, если б только знал я,
Где оно — то Солнце бытия?..

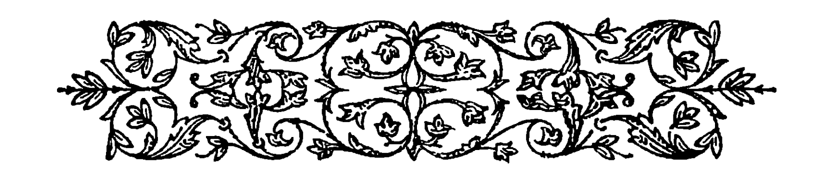
‹1898›

* * *

Еще не все мне довелось увидеть...
И вот одно осталось мне:
Закрыть глаза, любить и ненавидеть
Бесплодно, смутно — как во сне!

1898. Август





КУЗНЕЧИК-МУЗЫКАНТ

Шутка в виде поэмы

Песнь 1

Не сверчка нахала, что скрипит у печек,
Я пою: герой мой — полевой кузнечик!
Росту небольшого, но продолговатый;
На спине носил он фрак зеленоватый;
Тонконогий, тощий и широколобый...
Был он сущий гений — дар имел особый:
Музыкантом слыл он между насекомых
И концерты слушать приглашал знакомых.
Под роскошной жатвой жил он в поле чистом,
Оглашая воздух бесконечным свистом
Своего оркестра. Ветреное племя
Скакунов забыло, что в полях в то время
Музыки и вкуса был он представитель.
Все, что нынче летом деревенский житель
Слышит за окошком, лежа на кровати
Или на балкон свой выходя в халате,—
Этот свист трескучий, этот звон безбрежный,
Разлитой повсюду, и сухой и нежный,—
Если только в этом сумрачном концерте
Есть живая нега и восторг, поверьте —
Это все былые, вечные созданья
Моего героя, или — подражанья.

Бедненький кузнечик! позабыт твой гений!
Но ты век свой прожил не без приключений.
Помню, ты недаром слыл идеалистом:

Сядешь ты, бывало, в свете серебристом
Месяца, под полог ночи, на соломке,
Ветром сокрушенный. (Даром, что не ломки
Гибкие колосья, все же в ниве шаткой
Много их подломит этот ветер гадкий.)
Сядешь ты, бывало, и во славу ночи
На своей скрипице пилишь что есть мочи.
И тебя дразнили пискуны пустые,
Комары-злодеи, трубачи степные,
И в тебя влюблялись божии коровки,
И мутила зависть многие головки.
С тем же, музыкальным то есть, направленьем,
С тою же охотой, да не с тем уменьем,
И грозилась мошка с помощью науки
Умертвить тобою созданные звуки,
И тяжеловесный жук неоднократно
Уверял, что уши смачивать приятно
На твоих концертах, а не то-де уши,
Как трава, завянут от ужасной суши.
В частной жизни также к добреньким коровкам,
К мушкам и козявкам часто в пренеловком
Был ты положеньи, слушал их признанья,
Робко избегая тайного свиданья.
Но ничто, однако ж, не поколебало
Твоего покоя; никакое жало
Твоему таланту не казалось вредным:
В музыкальном мире был ты всепобедным,
Ты вполне блажен был! — но пришла невзгода...

Слушайте! Однажды, в половине года,
В самый жар, быть может, в самые Петровки,
В дни, когда на рынках потные торговки
Продают малину, вишенья, клубнику
И, маша платками, часто не без крику,
С мухами заводят из-за ягод ссоры;
В дни, когда из праха созидают горы
Муравьи и роют скрытые туннели
Под корнями дуба иль смолистой ели;
Бабочка, танцуя, празднует свободу;
А пчела, с клубочком золотого меду,
Покидая липу, вся в пыли цветочной,
Так и льнет к жасмину белизны молочной;
Шмель, бичуя воздух, знойный и душистый,
И кружась над морем нивы золотистой,
Пропадает в блеске солнца, как пылинка;

В дни, когда для мошки каждая былинка
Получает соки, сладость и значенье,—
И она вкушает те же наслажденья,—
Стало быть, в Петровки, около полудня,
Мой герой, кузнечик, понаевшись студня,
То есть за обедом начинив желудок,
Вышел насладиться видом незабудок
И, вдыхая запах алого горошка,
Лег, прищуря глазки,— и мечтал немножко.
Много пролетало мимо насекомых,
Ос, шмелей сердитых — трубачей знакомых,
С разными вестями. Ни к кому с вопросом
Он не обратился. Все, что перед носом
У него вертелось, ползало, жужжало,
Было чуждо сердцу — и не занимало...
Моему герою, верно бы, вздремнулось,
Как и вам, читатель, если б не взгрустнулось.

Вдруг над ним порхнуло чудное виденье,
Бабочка — такая, что — мое почтенье!
Белизны жемчужной крылышки с каемкой,
Глазки — изумруды, носик нежный, тонкий,
Бархатец на шейке, бантик на затылке,
Увидал кузнечик — затряслись в нем жилки.
Бабочка все ниже и так близко вьется,
Что невольно сердце у артиста бьется.
Бабочка — не знаю, видела ль бедняжку
Или не видала,— только кушать кашку
Села — и, конечно, ничего не съела.
«Ах! — она сказала,— если б я умела
Так же петь отлично, как один известный
Всем артист-кузнечик! — Если бы небесный
Голос я имела,— как бы я запела!
О, как я бездарна! о, как я...»—
«Напрасно...» —
Перебил кузнечик. (Он влюбился страстно
В милую болтунью.)
Бабочка украдкой
На него взглянула:
«Ах, какой он гадкий!»—
Думает... Однако ж улыбнулась мило,
Подняла свой носик и проговорила:
«Отчего ж напрасно?!» — «Отчего?!»—
Смешался
Мой артист, однако рекомендовался.

«Очень, очень рада! — молвила кокетка
(Бабочки бывают без кокетства редко).—
Очень, очень рада! Звуки вашей скрипки
Часто долетают даже к нам под Липки».
Покраснел кузнечик, начал завираться,
Умоляя гостью чаще с ним видаться.
Бабочка вспорхнула и, не давши слова
Прилететь вторично, прилетела снова
И заговорила: «Даже в свете знают,
Что большой вы гений,— все вас изучают...
Только я к вам с просьбой: сделайте такую
Божескую милость — напишите злую,
Злую эпиграмму на мою соседку,
Бабочку-кокетку, что недавно в сетку
К мальчикам попалась и с крылом помятым
Ночью воротилась к братцам глуповатым.
Эти братцы также пребольшие фаты,
И воображают, что они богаты!
К эпиграмме можно сочинить любую
Музыку — такую, самую смешную».

Упорхнула гостья — а кузнечик бедный
Так был озадачен, что немой и бледный
Шел он, глядя в землю (так, видал я, в воду
Сунувшись, мальчишки ищут в речке броду),
Шел, повеся нос свой, чуть переступая
Длинными ногами и соображая:
«Тьфу! Да как же это? — разве эпиграммы
Можно класть на ноты? Ах, как глупы дамы!»
Шел он, шел и бредил: то ему казалось,
Что она хитрила и над ним смеялась,
То воображал он, что Сильфида эта
Захотела только испытать поэта
И ему такую задала задачу,
Что хоть плачь!
«Однако ж, что ж я время трачу! —
Думает кузнечик.— Разве не сумею
Я в смешном и жалком отразить идею».
И с таким решеньем за работу смело
Принялся он: мигом закипело дело —
И слова и звуки. Хоть и не бывал он
В обществе Жорж-Занда — вот что написал он:
«К мальчику под сетку бабочка попалась —
Краски полиняли, крылышко помялось.
Если враг лукавый расставляет сети,

Кто в них попадает? — попадают дети.
Боже! отчего же за поступок детский
Их казнит так страшно суд великосветский?»
Кончено! —
И начал сочинять он ноты;
И устал он, бедный, от такой работы.
Но любовь всесильна! Оставалось скликать
Прочих музыкантов — и начать пиликать.

И народу куча собралась на пробу;
Даже жук навозный, начинив утробу
Всякой дрянью, смуглый, толстый и рогатый,
Уши от простуды затыкая ватой,
За толпой туда же пробрался сторонкой,—
Ничего не понял, но заметил тонкий
Хвост у музыканта и бочком поплелся
Рассказать соседям, что-де он сошелся
С молодым маэстро, что-де он невзрачен,
Что его фигурой был он озадачен...
Черная козявка, та, что бьет баклуши
И весь день вертится, навострила уши;
Божия коровка всех перепугала:
От восторга ныла — ныла и упала
В обморок... Спасибо, муравей, с шнуровкой
Под жилетом модным — малый очень ловкий,—
Дал ей спирт понюхать в маленьком флаконе,
Он встречал коровку у N. N. в салоне,
Где он появлялся, насурьмивши бровки,
И, быть может, рад был услужить коровке.
Много было шуму, музыку хвалили,
Музыку бранили, спорили, судили.
Бабочки ночные, в сереньких бурнусах,
Белых пелеринках и в гранатных бусах,
Просто побледнели от негодованья,
Раскусивши новой песни содержанье,
Но в тот день герой мой так уж был рассеян,
Что и не заметил, кем он был осмеян.

Песнь 2

Эос поднимала алыми перстами
Темные покровы ночи — и местами
В небе загорались огненные пятна.
Жизнь, полупроснувшись, слабо и невнятно

Бормотала в роще, бормотала в поле.
Поцелуй сливался с ропотом неволи
Всюду, где лишь только брачные оковы
Гименея были ржавы и не новы.
Поцелуй был звонче, ропот был нежнее —
Там, где эти цепи были поновее.
Лишь один герой мой этой сладкой муки
Не вкушал и, верно, умер бы со скуки...
Рано он проснулся — но не до зевоты
Было музыканту: нужно было ноты
На листочках розы написать как можно
Лучше, тоньше, чище.— Тихо, осторожно
Перышком водил он... Сочинил виньетку,
Где изобразил он миртовую ветку —
Миртовую ветку, а над ней с крылами
Огненное сердце, с надписью стихами:
«Я неуловима; но не унывайте!
Обожгитесь прежде, а потом поймайте!»
Даровитый малый был артист мой — мило
Сочинил он эти два стиха: в них было
Столько такта, столько нежности игривой,
Что в наш век холодный и самолюбивый
Ни один кузнечик не найдет в них смысла
И, быть может, даже улыбнется кисло.
Для кого ж на этих розовых листочках
Мой герой всю душу в линиях и точках
Выражает, сердцем страстно пламенея? —
Для тебя, Сильфида, праздничная фея,
Цветников роскошных милая жилица!
Но откликнись, где ты? где твоя светлица?
Спишь ли ты? Быть может, всякие обновки
Бог Морфей готовит для твоей головки.
Для Морфея нет ведь никаких таможен,
Для твоей головки всякий сон возможен —
Глупая головка!
Солнце поднимает
Из-за сосен шар свой. Сильно припекает
Жатву. Сладко пахнет в воздухе гречихой.
По ржаному полю утренничек тихий,
Ветерок, гуляя, росу отрясает,
Быть дождю иль ведру — по росе гадает
И шуршит соломой, словно беспокоясь,
И ему колосья кланяются в пояс.
А лопух, высоко поднимая шишку
С веником, из листьев сделал точно крышку,

Так расположил их, что под их навесом
В жар всегда прохладно молодым повесам.
В сей харчевне много всяких насекомых,
Но, на это время, никого знакомых.
Вот сидит кузнечик, но не наш кузнечик,
А другой,— и курит, точно человечек.
С нашим музыкантом он одной породы —
И скрипач, быть может, но не любит моды:
Лапками на шею повязал тряпицу,
В зубы взял сигару, да и корчит птицу.
Клопика заставить заплатить за водку,
Напоить козявку, осмеять коровку,
Муху одурачить, паука спровадить,
И при всем при этом с целым миром ладить
Был он мастерище.— Страстно обожал он
Нашего артиста: редко покидал он
Друга, даже пьяный; перед целым светом
Защищал,— и часто наделял советом.
Ибо, хоть и редко брал он книги в руки,
Знал он «Твердо», «Слово» и не верил в «Буки».
Под лопух в харчевню рано он забился,
Потому что утром не шутя бранился.
Больно было другу — больно и досадно,
Глядя на артиста, видеть, как нескладно
Он проводит время, вечно задыхаясь
От бесплодной страсти и ни в чем не каясь.

Но пора вернуться к нашему герою!
Тот, кто болен сердцем, болен головою.
Так всегда бывает: тот не жди успеха,
Чье больное сердце голове помеха.
Бабочка гуляла — и кузнечик тоже
(Так и мы гуляли, бывши помоложе!);
Наконец, гуляя, втретились — и, ножки
Подогнув, кузнечик ей кивнул.— С дорожки
Бабочка, виляя, села на цветочек.
Он прыг-прыг — и рядом сел на бугорочек.
«Ах! — она сказала.— Я не ожидала!
Я вас за другого приняла сначала!
Вашу эпиграмму нам вчера достали:
Вы мою соседку мило оправдали.
На нее за это все напали вдвое...
(Насекомых племя — племя очень злое!)
Впрочем, ваши мысли так всегда игривы,
Так всегда глубоки, так красноречивы

И так звуки сладки — точно земляника».
Лестное сравненье было очень дико;
Но его артист мой даже не заметил —
И уж я не знаю, что он ей ответил.

«Ба! — его Сильфида громко перебила,—
Вы мне написали ноты?! Ах, как это мило!
Очень благодарна! очень благодарна!»
И она при этом тонко и коварно
Улыбнулась: глазки стали веселее,
Или — кто поймет их? — стали просто злее.
Помолчав немного, бабочка вздохнула
И сказала: «Поздно я вчера заснула...
У моей кузины я была на бале...
То-то б вы влюбились, если б увидали!
Впрочем, извините! — я вас утомила
Болтовней. Прощайте!»
И она сложила
Крылышки (так точно бабушкины внучки,
Гостю приседая, складывают ручки),
И по-над дорожкой, тихо ковыляя,
Словно листик ветром сорванный, мелькая
Белизною крыльев, понеслась Сильфида...

Скоро мой кузнечик потерял из вида
Полевую фею, подскакнул, вцепился
В усики ржаного колоса — и злился,
Что проклятый ветер колос нагибает,
Нагибая колос, видеть вдаль мешает...
В этом положеньи шмель его увидел
И нескромным словом прыгуна обидел.
Бедненький кузнечик тут же спохватился,
Растопырил фалды и в траву свалился.

Песнь 3

На глазах с повязкой, стало быть слепая,
Едет где попало, день и ночь зевая,
Глупая Фортуна. Ею прихоть правит.
На одних наедет — колесом раздавит.
На других наткнется — вдруг начнет бросаться
Золотом, чтоб только поскорей умчаться,
Да забрызгать липкой грязью пешехода,
Да загнать в объятья красоты урода

Или так, без пользы и не для примера,
Сдернуть мимоездом маску с лицемера.
Рыская по свету, этот идол света
Не имеет сердца.— Прихотница эта
Никого не любит; и когда бросает
Деньги, звезды, ленты — денег не считает;
Звезд сама не носит, лент не покупает;
И когда счастливо влюбит двух несчастных,
Их лица не видя, из речей из страстных
Верно заключает, что влюбиться значит:
И себя дурачить и других дурачить.
Так сама Фортуна, на глазах с повязкой,
Счастье в этом мире почитает сказкой.
Для такой богини — целый мир пустыня!
И не то чтоб эта странная богиня
К нашему герою благосклонна стала:
Только улыбнулась и в него попала
Чем-то благовонным, проезжая мимо.

Здесь, поставив точку, мне необходимо
Вам сказать, что жертва тайного страданья,
Мой герой, кузнечик, получил посланье,
Спрыснутое амброй. Бабочка писала:
«Приходите: жду вас!» — Счастия немало
В себе заключало это выраженье —
«Приходите: жду вас!» Это приглашенье
Принял мой кузнечик с той надеждой темной,
При которой искра кажется огромной
Огненной звездою. Друг его, гуляка,
Принимал все к сердцу — много врал. Однако,
Если только слушать мы его захочем,
Говорил такие речи между прочим:
«Ты, брат, рассуждаешь глупо и постыдно!
Буду правду резать: где же это видно,
Чтоб сверчок...» —
«Кузнечик»,— перебил кузнечик.
«Чтоб сверчок...» —
«Кузнечик»,— перебил кузнечик.
«Ну хоть и кузнечик! —ну, положим даже,
Ты сверчка немного чище и поглаже
И немножко больше чувствуешь свободы —
Все ж ты, братец, с нею не одной породы.
Знаю я всех этих бабочек, бабошек!
Жить они не могут без цветных ветошек;
За женой-бабошкой где ж тебе упрыгать?

Где ж тебе повсюду вслед за нею шмыгать?
В свете, где нередко всех умней — невежда,
На талант — плохая, братец мой, надежда».

«Слава — вот надежда».—
«Экой, брат, ты, право!
Рассуди же здраво и пойми, что слава
У людей бывает; а у насекомых
Что такое слава? — болтовня знакомых.
Мы не лавры носим — носим побрякушки,
То есть наша слава просто — *финтифлюшки*,
Как сказал когда-то автор водевильный
Публике, пуская пузыречек мыльный».

Тот гуляка, видно утомившись спором,
Оглядел артиста мутно-строгим взором;
Выпил рюмку водки, пискнул, углубился
В созерцанье почвы и — угомонился.
Ну, и слава богу! Не до возражений
Было музыканту. Как упрямый гений,
Он с хлыстом, наместо беспокойной скрипки,
По меже зеленой поскакал под Липки.

Липки — это было нечто вроде парка:
В середине — прудик, а при въезде — арка
Из ветвей — такая, что была, бесспорно,
Чудом совершенства; так была просторна
Что, вообразите, насекомых двести
В ряд могло бы въехать. Вы меня повесьте,
Если вру! Строитель, я и не скрываю,
Был — сама природа; только я не знаю,
Кто ей за работу заплатил; а впрочем,
Здесь мы о природе вовсе не хлопочем...
Так, чтоб журналисты нас не заклевали,
Признаюсь, что в доме бабочек едва ли
Описать возможно лестницу под желтым
Ковриком из моху, кое-где протертым;
Пасмурные сени, где с утра лакеи
Без сапог быть могут, но не без ливреи;
Залу, где гнилушки, точно сталактиты,
Облепив карнизы, зеленью повиты.
Мой один знакомый, архитектор русский,
Видел в этой зале черепок этрусский;
И я, живо помню, хвастал не краснея,
Как ему в той зале вдруг пришла идея

Украшать со вкусом барские покои,
Покрывая белой плесенью обои.
Впрочем, дом Сильфиды, если только строго
Придираться к стилю, смахивал немного
На дупло.

— Кузнечик так был очарован
Или так был сердцем наэлектризован,
Что дрожал и таял — молча ждал Сильфиды,
Подходил к окошку и глядел на виды.
А Сильфида с кем-то по саду порхала,
С милыми гостями весело болтала.
Гости эти были черви разных кличек
И в траве лежали в виде закавычек.
Чернокожий клопик, верно, сын швейцарский
Или внучек няни, крестничек боярский,
Доложил Сильфиде, что какой-то длинный
Господин изволит ждать ее в гостиной.

Приглашен герой мой; ему отвечали
На поклон улыбкой и пробормотали:
«Очень, очень рады!» Дамы оглядели
Всю его фигуру и едва сумели
Удержать свой хохот — только покосились
На мужчин; но черви не пошевелились,
Ибо ум их кто-то так ужасно сузил,
Что для них довольно бантик или узел
Галстука заметить, чтоб на остальное
Не глядеть и в гордом пребывать покое.
Поприще артиста к разным столкновеньям
Приучает душу; но к обыкновеньям
Милых насекомых высшего разряда
Не привык герой мой. Вдалеке от сада,
Беден, худ и бледен, с головы до пяток
На себе носил он поля отпечаток,
Поля, где лишь тучи подают свой голос,
Колосится жатва и серпа ждет колос.
Знаю, о кузнечик! как ты был отменно
Бабочкою принят. Ты себя надменно
Вел, как будто целый век торчал ты в свете,
С юных лет гуляя в собственной карете.
Но, скажи, в тот вечер что с тобою сталось,
И каким безвестным чувством сердце сжалось,
И какие думы охватили жарко
Гениальный лоб твой, в час, когда из парка
Ты обратно в поле мчался через кочки?

Отвечать ли?.. или — мы поставим точки
. . . .
(Будто бы цензура выклевала строчки.)
Но, злодей-кузнечик, что же ты ни слова
Не сказал гуляке в ночь, когда другого
Не имел ты друга, с кем бы поделиться
Снами, от которых часто плохо спится?
Ненавистник света, бабочек крылатых,
Гладеньких коровок и червей лохматых,
Он — едва вошел ты — вопросил сердито:
«Что, брат, был ли ужин? накормили сыто
Или и понюхать не дали съестного?
Что, брат, как делишки? Все ли там здорово
И благополучно? Ты чему смеешься?
Эх-ма, ничего, ты, братец, не дождешься».—
«Спи»,— сказал кузнечик.
«Сплю»,— сказал гуляка
И, взодравши кверху ноги из-под фрака,
Захрапел.

Песнь 4

Уходя, день ясный плакал за горою
И, роняя слезы, жаркою зарею
Из-за темной рощи обхватил край нивы.
Дню вослед глядела ночь — и переливы
Света отражались и дрожа блуждали
По ее ланитам. Тихо начинали
Выходить светила, месяца предтечи,
Перед божьим троном зажигая свечи.
Далеко стемнело море жатвы зыбкой.
Грустная береза обнялася с липкой.
Призатихла роща. Только дуб шушукал,
Только где-то дятел крепким носом тукал,
Только где-то струйки смутно лепетали,
Только роковые страсти не дремали,
Только насекомых мир неугомонный
Голосил немолчно в тишине бессонной.
Стрекотали мухи; комары трубили;
На своих скрипицах весело пилили,
Лихо зная ноты, стало быть без свечек,
Те, которых хором управлял кузнечик.

Впереди оркестра на своей скрипице
Громче всех пилил он в честь своей царицы.
Выходила замуж бабочки кузина,
И жених был славный с хоботком детина;
По уму, конечно, не был из проворных,
Но происходил он от червей отборных.
По словам невесты, он лишь был несносен
Тем, что без разбора запах старых сосен
Сравнивал с весенним запахом фиалок,
Уважал шиповник и боялся галок.
Но какое дело нам до этих вздоров.

Бал великолепный! Звуки льются с хоров;
Шпанских мух десятки в золотых ливреях
Курят ароматы в сумрачных аллеях.
Светляки, подобно шкаликам и плошкам,
Вспыхивая, блещут вдоль по всем дорожкам.
Копошатся гости. В месячном сиянье
Стрекоза, сцепившись с стрекозой, несется.
Пестрый вихорь вальса шелестит и вьется.
Жужелицы ходят около буфета;
Ползают козявки... И большого света
Жесткие особы — божии коровки
Собрались друг другу показать обновки.
Молча, подбираясь к двум зеленым мухам,
Два жучка каких-то выступают брюхом
На коротких ножках. Муравей, с шнуровкой
Под жилетом модным, с желтенькой коровкой
Важно и небрежно, приседая, пляшет.
Резвая Сильфида крылышками машет;
Глазки, носик, ножки, платьица узоры —
Все в ней поневоле привлекает взоры.
Мой артист кузнечик и душой пылает,
И очей не сводит, и как черт играет.
По ее же просьбе, сердцем неизменный,
Сочинил он этот танец вдохновенный,
Танец, под который скачут и поныне
Стаи насекомых на любой куртине
Вашего же сада, если, о читатель!
Сад иль хоть садишко дал тебе создатель.

Но и насекомых бал не обошелся
Без скандала: в парке, говорят, нашелся
Злой паук, который, с веточки на ветку
Протянувши нити, невидимку-сетку

Сделал так канальски ловко и искусно,
Что тайком, быть может, и покушал вкусно.
Говорят — вдобавок шлепнулась коровка,
И у ней от страха лопнула шнуровка.
Сам артист заметил, как его Сильфиду
Паучок какой-то, пренаивный с виду,
За крыло задевши чем-то вроде петли,
Притянуть старался и глядел уж — нет ли
Где такого места в этом чудном саде,
Чтоб минут хоть десять провести в прохладе,
В тишине, в уюте, дальше от волненья...
Но артист ревнивый понял ухищренье,
Подскочил и порвал роковые нити.
Паучок надулся; а комар: «Смотрите,—
Пропищал артисту,— как вы замарались,
Точно в неприличном месте обретались!»
Покраснел кузнечик: видит — паутина
К рукаву прилипла.
«Экая скотина!» —
Проворчал и вытер. Бабочка ни слова
Не сказала, только выбрала другого
В танцах кавалера: кавалер крылатый
Был ее соседки братец глуповатый.
«Правда ли,— спросил он,— слух идет из нивы,
Будто бы в маэстро страстно влюблены вы?
Будто бы кузнечик говорил, что хочет
Он на вас жениться — и о том хлопочет?» —
«Что вы говорите? — молвила Сильфида,—
Мой жених — кузнечик! Какова обида!
Кто такие в свете распускает слухи?
Или эту глупость выдумали мухи!» —
«Нет, совсем не мухи-с! Кто-то из оркестра
Говорил, что будто слышал от маэстро».

Фея над собою сделала усилье,
Чтоб не рассердиться,— и, встряхнувши крылья,
Бросила холодный взгляд на музыканта,
А когда кричали в честь его таланта:
«Браво! фора! фора!» — делала гримаски
Или улыбалась, опуская глазки.

Бал под темным небом длился до рассвета,
Бабочка устала.— Вдруг за рощей где-то
Соловей защелкал.
Ей тогда сказали

(Можно ли без лести обойтись на бале!),
Ей сказали: «Фея! прекратите танец.
Слышите ли пенье? — это иностранец,
Соловей пролетный, вздумал серенаду
Вам давать».
                    И точно, по всему-то саду
Рассыпались звуки, страстно замирая
В бесконечных трелях. Бабочка, внимая
Соловью, мечтала.
                    В это время сзади
Подошел кузнечик.
                    «Фея! Бога ради!
Что вы так печальны?..» —
                    «Ах! — она сказала,—
Вы мне помешали... Я воображала,
Что таланты наших не всегда приличных
Скакунов достойны тех певцов столичных,
Имена которых славны за границей.
Боги! отчего я рождена не птицей!
Будь я птицей... Впрочем, если захочу я
Соловья послушать, завтра ж полечу я...» —

«О!» — сказал кузнечик...
                    «Жалкий музыкантик! —
Прошептала Фея, пощипавши бантик
На своем корсаже,— разве я не знаю...» —
«О,— сказал кузнечик,— я не понимаю,
Что вы говорите. Соловьи опасны,
И к тому ж, положим, песни их прекрасны —
Все же не в народном духе».
                    Засмеялась
Бальная царица — и, как тень, умчалась.

Бедненький кузнечик тут же нос повесил
И один остался, бледен и невесел.
Вот упала слезка на листочек влажный,
С ветерком промчался чей-то вздох протяжный,
Словно колокольчик звякнул в отдаленье...
Ничего герой мой не слыхал: презренье
Было слишком явно... И глядел он мутно
В темный лес, откуда, сладко раздражая
Благовонный воздух и не умолкая,
Соловьиных песен раздавались трели,
И шептал он: «Боги, боги! неужели?
Что ж это такое? Отчего же это?..

Или для поэта миновало лето? —
Пойте, пойте, птицы!» Но сердца больные
Врачевать не могут песни не родные.

Песнь 5

Плачь, родная Муза! Затяни ты песню:
Не о том, как «ходит молодец на Пресню»,
Не о том, как «пряха пряла — не ленилась»,
Не о том, как «Волга-матушка катилась»,—
Спой нам песню так, чтоб туча разразилась
Над широкой нивой, чтоб дождем шумящим
Пробежала сила по листам дрожащим,
Чтоб червей, враждебных зелени и лету
Ненавистных, падких к завязи и цвету,
Смыло, разнесло бы по крутым оврагам!
Туча дождевая, будь ты нашим благом!
Поднимая ветер, оборви ты сети
Паука с крестами, что гордится в свете
Тем, что иссушил он множество народу,
Из души и сердца высосав свободу!
Бабочкам грозою опали ты крылья,
Чтоб хоть их за это снова полюбил я!

Так стонал кузнечик под наитьем бурной
И мятежной думы. А над ним лазурный
Василек качался, наливался колос
И, жужжа, знакомый проносился голос:
«Слышишь ли ты грома дальние раскаты?
Погляди на тучки, что без крыл крылаты,
Мрачны без печали, без улыбки ясны,
Как гроза могучи; как туман бесстрастны!»
Проносился голос, но в душе артиста
Раздавалось что-то вроде злого свиста.
Оскорбленный светом, огорченный балом,
Не на шутку мрачным стал он либералом.

В этом месте надо, в виде объясненья,
Маленькое к Липкам сделать отступленье.
Бабочка, герою изменив, сначала
За его нескромность уколоть желала;
А потом — головка, видно, закружилась —
И она не в шутку в соловья влюбилась.
Иностранец этот в мире насекомых,

Говорят, был дерзок и клевал знакомых.
Отомстить любовью этой чудной птице,
Приковать к победной своей колеснице,
Песни и посланья сочинять заставить
И, быть может, в свете тем себя прославить:
Вот что замышляла ветреная фея,
К нашему ж герою, просто, не краснея
И не церемонясь, клопика послала
И «*блоходарю вас*» ему написала.
Эта «*блоходарность*», вместо «благодарность»
Пуще огорчила моего героя.
А гуляка страшно хохотал и, строя
Разные гримасы, говорил, что блохи
Более полезны, чем пустые вздохи.

Может быть, артист наш, раз отдавшись снова
Музам, позабыл бы, как любовь сурово
Обошлась с ним, то есть: позабыл бы эту
Ветреную фею; к будущему лету
Сочинил бы кучу гимнов и сонетов,
Был бы снова счастлив счастием поэтов,
Сел бы на соломку, чтоб во славу ночи
На своей скрипице пилить что есть мочи;
Но, к его несчастью, вдруг распространилась
Весть, что будто что-то с бабочкой случилось:
Говорили, будто бабочка бежала,
Бабочка погибла, бабочка пропала.
Прямо шли из парка эти злые слухи,
Стало быть, не врали комары и мухи:
Была вероятность!
Долго этим слухам
Мой артист не верил. Вдруг, как бы обухом
Кто-нибудь героя съездил прямо в ухо,
Он поверил разом в достоверность слуха;
Только что успел он всех предать проклятью,
Получил пакетик с маленькой печатью.
Вот письмо:
«Вы были к нам неравнодушны —
Если правда, будьте хоть любви послушны:
Поищите нашу милую Сильфиду
И ее не дайте соловью в обиду.
Кто вам это пишет, сами угадайте.
Если ж будут вести, в Липки передайте».
Прочитав такое странное посланье,
Он в припадке страсти и негодованья

Начал просто хныкать... хныкал, долго хныкал!
(Эдакое горе он себе накликал!)
Приближался вечер.— К счастию, гуляка
Был в харчевне, клюкнул и, краснее рака,
Постучался к другу. Он расставил ноги,
Увидавши слезы и следы тревоги
На лице артиста.
«Ба! Какие страсти!
Выпей, братец, клюкни! — будешь нашей масти! —
Возгласил гуляка.— Плюнь ты на Сильфиду —
И тебя не дам я никому в обиду».—
«Бедная Сильфида, что с ней? — не без писку
Отвечал кузнечик,— на! прочти записку».—
«Ничего не вижу!» — пробурчал гуляка,
Ибо он недаром был краснее рака.
Тут ему кузнечик рассказал, в чем дело,
И они решились в путь пуститься смело.
Мой герой готов был с соловьем хоть драться,
А гуляка вышел просто поразмяться.

Песнь 6

Вечер был ненастный. Квакали лягушки;
Под налетом ветра зыбкие верхушки
Жатвы колыхались, словно волны; капал
Тихий дождь — и где-то перепел вавакал;
Паучки свернулись; пораскисли мушки;
Комары притихли.
Около опушки
Леса наш кузнечик шел сам-друг с гулякой.
«Слушай-ка, приятель! надо бы на всякой
Случай запастись нам фонарем»,— шагая,
Говорил гуляка. Но, не возражая
На совет, кузнечик приостановился:
С ветром из тумана к нему доносился
Звук ему знакомый: два степных артиста
На дрянных скрипицах хрипло и нечисто
Выводили нотки... беспрестанно эти
Нотки обрывались.
«Ты имей в предмете,—
Продолжал гуляка,— что впотьмах наткнуться
Можно на лягушку или кувыркнуться.
Гей! — он свистнул.— Кто там? — и, под
подорожник

Заглянувши, крикнул: — Ну-ка, ты, пирожник,
Выходи!»
И вышел таракашек, смуглый,
Как медовый пряник, и, как булка, круглый.
«Что вам надо?» —
«Где тут к светляку дорога?» —
«Дальше, барин, дальше! поправей немного,
Там, под божьей травкой, две еловых шишки,
Там спросите... Жаль вот, спят мои мальчишки».—
«Э! — сказал гуляка,— мы идем не свищем,
А к еловым шишкам сами путь отыщем».—
«Дали бы на водку, я пошел бы с вами».—
«Не ходи, любезный!» — шевеля усами,
Возразил гуляка.
«Больно ночь муруга!» —
«Ну, не ври, любезный!»
И пошли два друга
К двум еловым шишкам. Стук-стук! — «Отворяй-ка
Двери!» —
«Кто там?» —
«Леший!» —
«Кто там?»
«Вылезай-ка!»
И светляк с разбитым фонарем пустился
В лес казать дорогу. Клялся и божился,
Что совсем не знает, где там обитает
Соловей, что нужно, если кто желает
Знать его *фатеру*, допросить у Розы.
«Я,— сказал гуляка,— у такой занозы
Спрашивать не стану: и глупа ужасно,
И молчит, как рыба, и небезопасна»,—
«Ну, так хоть улитку допросите».—
«Враки!
Ты совсем не знаешь, где зимуют раки.
Надо втихомолку пробираться влево,
К муравьиным кучам, дальше от посева».
Вдруг гуляки голос превратился в шепот:
В темноте раздался чей-то резвый топот.
В куст через дорогу проскакала мышка,
У гуляки тотчас началась одышка:
Он маленько струсил. Впрочем, от испуга
Скоро он очнулся, догоняя друга.

Ветер унимался, и луна в сквозные
Своды темной рощи словно золотые

Струны протянула. Мшистые коренья
Просияли, словно дожидаясь пенья.
И, о чудо! в дебрях вдруг раздался голос
Соловья — и дрогнул мой артист, и волос
Дыбом на макушке стал от ощущенья
Страха и тревоги, гнева и смятенья.

«Вот он! вот!» — шепнул он, притаив дыханье.
«Что это за пенье? Просто рокотанье,—
Тут ему заметил друг его гуляка,—
Все в одних руладах, все в одних...» —
«Однако,—
Возразил герой мой,— не бранись напрасно!
Плут едва ли может петь так сладкогласно».

«Что вы тут? Зачем вы?» — харю выставляя
Из норы, спросила их оса лесная.
«Эх, оса, голубка! что ты смотришь волком:
Мы не лиходеи,— отвечай нам толком:
Вышли мы на поиск...» И кузнечик смело
Выглянувшей харе объяснил, в чем дело.
«Нешто я не знаю, как она вертелась,—
Запищала харя,— пофинтить хотелось...
Этому, никак, уж третий день как минул...
Соловей-то клюнул, да потом и кинул.
Ползала бедняжка, ползала немало;
Если в муравейник сдуру не попала,
Где-нибудь у наших червяков спросите...
Я ж оса — и только,— ну и не взыщите!» —
С этим словом, как-то скорчась, опустилась
Харя эта в норку и в подвале скрылась.
«Так бы вот и съездил я по этой харе,—
Проворчал гуляка,— если б был в ударе».
Но артист-кузнечик горестным рассказом
Так был отуманен, что, казалось, разум
Потерял... И долго сладостные трели
Соловья так смутно для него звенели,
Как звенит порою в час ночной метели,
Глухо замирая, колокольчик дальний
В глубине пустыни снежной и печальной.

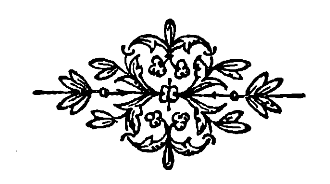
Песнь 7

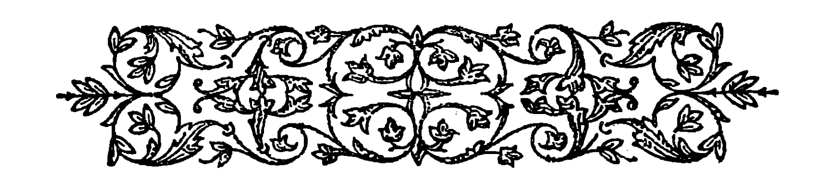
Долго, до полночи прыгуны блуждали,
Наконец на свежий след они напали.
Светлячок вертелся подле них недаром,
И Диана, тучку золотым пожаром
Охватив, недаром отклоняла ветки
И кой-где чертила яркие отметки;
Для моих героев бледный луч богини
Путеводным светом был среди пустыни.
Там, неподалеку спеющей брусники,
Под корнями красной полевой гвоздики,
Одиноким трупом бабочка лежала:
Ножки протянула, крылья распластала
И, казалось, лежа небесам молилась,
Вся окоченела, но не изменилась:
Тот же сохранился очерк милый, нежный,
Тою же сияли белизною снежной
Матовые крылья. Черная косынка
На груди раскрылась. Крупная слезинка,
Как алмаз, блестела около ресницы,
И как бархат были темные косицы.
Мертвая казалась сонной; но чернела
Маленькая ранка... Молча возле тела
Постоял кузнечик, сердцем надрываясь.
Молча с огонечком к трупу наклоняясь,
Светлячок, как будто сильно пораженный
Небывалым чудом, жмурился, как сонный.
У гуляки тоже хмель прошел. Сурово
Он глядел, и то, что видел, было ново
Для него. Он понял, что была б тут шутка
Вовсе неприлична. Даже как-то жутко
Становилось сердцу вечного гуляки,
Даже покривилась рожа забияки,
Потому что был он добрая скотинка.
Видя, как у мертвой на лице слезинка
Неподвижно светлой капелькой стояла,
Он шептал: «Бабошка! Ты отпировала!
Так и мы у смерти дни свои воруем;
Попадемся с кражей — да и отпируем!»
Впрочем, мой гуляка был такого сорту,
Что свое унынье вмиг отправил к черту
И, толкнув артиста, молвил: «Ну, конечно,
Жаль, да ведь нельзя же горевать нам вечно!
Сделаем носилки, и ее прилично

Отнесем под Липки. Все пойдет отлично.
Только ты напрасно, брат, не надрывайся,
Сил не трать и плакать после постарайся».
Сделали носилки, положили тело,
Подняли и долго поступью несмелой
Шли они по травкам, шли они по кочкам,
Впереди, мелькая ярким огонечком,
Шел светляк — и сотни разных насекомых,
Нашему артисту вовсе незнакомых,
Шумно просыпались в перелеске темном.
«А! ба! кто там? что там?» — слышалося в сонном
Царстве. Вдруг во мраке жалкий писк раздался:
Муравей какой-то под ноги попался
Нашему гуляке — он его и тиснул.
Вслед за этим визгом — в роще кто-то свистнул.
Комары, проснувшись и поднявшись роем,
Затрубили в трубы, точно перед боем,
Но, слетевшись кучей и увидев тело,
Взяли тоном ниже (поняли, в чем дело...)
И, трубя плачевно, в расстояньи дальном
Огласили воздух маршем погребальным.
К светляку другие светляки пристали:
Свечи их то гасли, то опять мелькали.
С жалобным жужжаньем поднимались мухи
И, жужжа, друг другу поверяли слухи.
Бабочка — Сильфиды прежняя подруга —
Высунула носик, бледная с испуга,
И потом, спустившись по листочкам, села
На холодный камень и — оцепенела.
Предрассветный ветер, невидимкой вея,
Думал, что воскреснет молодая фея;
Шевелил у мертвой легкими крылами,
И дышал в лицо ей влажными устами,
И потом далеким проносился стоном,
И по всем тропинкам отдавался звоном,
Чашечки лиловых цветиков качая.
И роса, как слезы, холодно сверкая,
Медленно стекала с усиков цветущей
Повилики, робко по стволам ползущей;
И благоухали тысячи растений;
И сквозь дым деревья в виде привидений
Головой кивали.— Тихо раздвигая
Облака, вставала зорька золотая,—
И когда все стало ясно от улыбки
Пламенной богини, принесли под Липки

Мертвую Сильфиду — там ее сложили,
Вырыли могилу и похоронили.
И когда над этой новою могилой
Думал злую думу мой артист унылый,
В жарких искрах солнца за лесной куртиной
Звучно раздавался рокот соловьиный.

1859





СВЕЖЕЕ ПРЕДАНЬЕ

Роман в стихах

Глава 1

Давно Таптыгин, князь известный
В Москве, как солнце в поднебесной,—
Затих, шампанского не пьет
И вечеров уж не дает.
Куда, злодей, он путь направил,
Где он следы свои оставил?
Зачем исчез, как метеор?
Кто князя помнит? — Но с тех пор
Богов российского Парнаса
Перевели на задний двор;
С тех пор в Москве, во имя спаса
Успели выстроить собор;
Прошла железная дорога;
Пал Севастополь; — в добрый час
Иная ломка началась...
И утекло воды так много,
Что, может быть, Таптыгин князь
Давно уж превратился в грязь.

Давно в Москве его забыли:
Забыл и тот, кто обыграл,
И те, которые трубили,
Что он невежда и нахал,
И та, которую любовным
Письмом он некогда сразил,
И тот, кто некогда грозил

Ему процессом уголовным,
Когда я прилетал в Москву
Как юноша, когда-то праздный,
Любил я старую молву
Ловить за хвост немножко грязный
И помню, как один приказный
С каким-то чувством говорил,
Как этот князь его побил
И как он щедро наградил
За свой поступок безобразный.
Когда же я его спросил:
Как звали князя, где он жил,
Где он служил и куролесил,—
Седой пьянюшка нос повесил
И повинился, что забыл:
«Забыл, сударь! забыл, признаться!
Забыл,— кажись бы, и не пьян...»
Так часто трудно добираться
До исторических имян.

Таптыгина не знал я лично:
Но, как его историк, я
В то время вел себя отлично.
Нельзя писать о нем шутя,
Писать подробно неприлично:
Мы *не дозрели,* говорят,
И, может быть, не без причины!
Разврата грязные картины
Нас потешают как ребят.

Жена Таптыгина, Ульяна
Ивановна, довольно рано
Покинула московский свет.
Я знал ее: она в разводе
Жила у брата на заводе.
(Теперь ее в живых уж нет;
Погребены ее страданья,
Что значит: вся погребена.)

Старушка бледная, она
Ходила в темном одеяньи:
Как у игуменьи, у ней
Был гордый вид, но не спесивой.
Глаза ее, когда на вас
Она глядела в первый раз

С какой-то грустью молчаливой,
Казалось, говорили вам:
Еще ты молод — по губам
Я это вижу; — что-то будет,
Как с мое-то поживешь;
Ума прибавится на грош,
А сердца на алтын убудет.

В руках она везде с собой
Носила бархатный мешочек,
Там было все: платок, клубочек,
Наперсток, ею начатой
Чулок, рогулька для вязанья,
Молитвенник и поминанье.

Порой черты ее лица
На юность навевали скуку.
Я помню два больших кольца
У ней на пальце; помню руку
Худую, бледную — она
Была действительно бледна,
Как старый воск — не исчезает
Она из памяти моей:
И, право, странно — мне об ней
Всего скорей напоминает
Одеколон, когда его
Я слышу запах... отчего,
И почему? — сам черт не знает;
А черт не знает потому,
Что он не верит ничему
И Молешотта изучает.

Старушка добрая, она
Была не нынешнего веку;
Я для нее ходил в аптеку,
Когда она была больна,
Пил чай у ней, всегда с вареньем.
Читал ей лучшие места
Из Филарета с умиленьем,
И даже гладил с наслажденьем
Ее любимого кота.
О муже темные преданья
Она могла бы пояснить,
Да мало было в ней желанья
Со мной об этом говорить.

Бывало, все молебны служит,
Чего-то ждет, о чем-то тужит;
Порой сбирается в Москву,
Порой задумается,— бредит:
Отец помрет — она приедет —
Княжна с отцом теперь живет,
Но скоро будет мой черед —
У бога очередь ведется,—
Уж это так! что бог возьмет
У одного,— другим дается.

С старушкой было бы смешно
И даже глупо спорить,— но
Я часто в пост у ней обедал
И все-таки кой-что разведал.
Не раз, хваля обед простой
Да подливая суп грыбной
В тарелку с гречневою кашей,
Я спрашивал: а где ваш муж?
И что княжна? от дочки вашей
Уж нет ли писем? почему ж
Она не пишет?

— Муж в именьи
И, говорят, стал нелюдим,
Моя княжна, конечно, с ним.
Она в большом уединеньи
Живет, почти что никого
Не видит, некого и видеть —
Степь, лес и больше ничего;
Бог милостив, и не обидит
Ее, бедняжку!..—

Тут рука
Княгини явно начинала
Дрожать, и дело без платка
Не обходилось. Раз измяла
Она его и подняла
Как будто к носу, провела
Повыше переносья, словно
Так было нужно...

Из сего
Я заключил, что хладнокровно
Она допроса моего
Не может слышать. Так невольно
Я заставлял ее страдать;
Так ей, заметно, было больно

Мне отвечать.

И то сказать,
Приятно в старость принимать
В свой дом беспечного повесу,
Его кормить, ему внимать,
Но перед ним сорвать завесу
С той сцены, где судьба, смеясь,
Когда-то без пощады в грязь
Нас повалила и топтала
Или, как с мышью кот, играла —
Увы! не всякому легко.
Не все, что скрыто глубоко
У нас в душе, легко всплывает;
Любовь погибшая, и та
На откровенные уста
Печать молчанья налагает.

То были дни моей весны,
И было у меня пророком
Мечтательное сердце; в сны
Его я верил; из княжны
Я создал по одним намекам
Тот чистый, грустный идеал,
Который спать мне не давал.
Тогда благоразумья оком
Еще глядеть я не умел...
Хоть я и не был яр и смел,
Как Дон-Кихот; хотя идея
Спасти княжну была смешна,
Но для меня моя княжна
Была такая ж Дульцинея...

Герой грядущего, я мнил
Сойтись с несчастной героиней;
Вот почему я говорил
Так часто с бедною княгиней,
В ней струны сердца шевелил
И на лице ее следил
За каждой вздрогнувшей морщиной;
Я даже случай находил
С ее служанкой Катериной,
Кривою девкой в сорок лет,
Болтать о том, чего уж нет,
И, разумеется, читатель,
Был любопытен, как поэт

Иль как уездный заседатель.
И я, ей-богу, не шутил.
Однажды, мучимый тоскою
(От лихорадки праздных сил),
Я вдруг старухе объявил,
Что сам поеду за княжною
И привезу ее. Она
(Хоть и была изумлена)
Спокойно на меня взглянула
И равнодушно протянула
Мне руку с тем, чтоб я ее
Поцеловал,— прошу покорно,
Какая милость! Я проворно
Впился в нее губами. О!
Теперь и сам я начинаю
Смекать, зачем и отчего
Я эту руку вспоминаю
Живее вдвое, чем черты
Ее поблекшей красоты.

Тогда я жил, как подобает
Жить юношам холостякам,
Жил, где придется.— Куликам
Там и уютно, где к водам
Камыш болотный прилегает;
Где можно в тину запустить
Свой длинный нос и угостить
Себя на славу.— Не мешает
Сказать, что истинный кулик,
К какой бы кочке ни приник,
Нигде крыла не замарает.

Я помню — разгорался день,
Но облака ходили низко,
А на Москве лежала тень.
От нас Москва была не близко,
Хоть и мелькали с двух сторон
Ее макушки. Ранний звон
Колоколов ее в тумане
Носился смутно над землей.
На первом плане над рекой
У ближней рощи, на поляне
Сидели кучками цыгане;
Дымился табор кочевой.

В кустах посвистывали птицы:
Вдоль серых грядок свекловицы
Тянулся низенький забор;
За ним ряды фабричных зданий,
Сушильня, кузница, две бани
Глядели окнами на двор;
Косую тень бросали трубы
На дерн покатого двора;
Из темной пасти их с утра
Выбрасывались дыма клубы,
Столбом тянулись в облака,
Потом на запад уходили
И там терялись в тучах пыли.
За банями текла река;
Там раздавался стук валька;
Фабричное белье там мыли;
Налево — шел сосновый лес,
А я под небольшой навес
Присел на пыльные ступеньки
Избы, что с краю деревеньки,
Где я в то время нанимал
Чулан с окном и сеновал.

Что вам сказать о сеновале?
Он был мой маленький эдем,
И что там было — и зачем
Туда сквозь кровлю мне мигали
Ночные звезды, говоря:
Ты, брат, блаженнее царя,—
Зачем за полуночной тенью
Следил мой глаз — и отчего
У изголовья моего
Так пахло свежею сиренью? —
О, пусть перо мое молчит!
К чему дразнить мне аппетит,
Когда желудок мой набит
Непереваренным обедом?
Мне только следует сказать,
Что я княгине был соседом —
И мог старушку навещать.

Старушка к своему соседу
Хоть недоверчива была,
Однако иногда звала
Меня по праздникам к обеду;

Но рано утром никогда
Ни для варенья, ни для чтенья
Не получал я приглашенья.
А в это утро, господа,
Ее посланница кривая
Явилась вдруг передо мной,
Как будто лист перед травой.
— А! вы уж встали! Вишь какая
Погода! Птички как поют!..—
Она болтать со мной пустилась
И наконец договорилась:
— Вас просят на десять минут
Пожаловать.
— Что это значит!
Уж не больна ли?
— Нет, все плачет...

Княгиню я застал одну
В каком-то шлафоре, с букетом
Фиалок и в чепце, надетом
Немножко на сторону.
— Ну,
Любезный мой! — не осудите
Старуху — послужите ей.
— Все, что прикажете!
— Сходите
В Москву, мой милый. От моей
Княжны, вот видите ли, нету
Совсем известий. Я боюсь:
Он там сживет ее со свету...
Ей-богу, толку не добьюсь...
Сходите, милый.
— Что ж, могу я...
Скажите...—
Плача и тоскуя,
С лицом измятым, раза два
По комнате прошлась старуха:
У ней качалась голова,
У ней недоставало духа
Со мной беседовать...
— А вот.
Я дам вам адрес: он живет
Близ *Курьих ножек*... Вот... возьмите
Хоть это перышко... Пишите:
Дом Савиной — второй квартал...

Я взял перо; перо скрипело
И брызгало... Я записал...
— Вот видите — какое дело...
Чего я не могу постичь...
Но, впрочем, если Петр Ильич
Камков вас примет, то, быть может,
Расскажет вам. Меня тревожит
Одно: не умер ли Камков?
Он был всю зиму нездоров;
Все кашлял — эдакое горе.
Спросите: не было ли вскоре
После святой, как был Матвей,
Письма от дочери моей.
Пусть сходит справиться в конторе...
Мой друг,— утешьте вы меня —
Всю жизнь вам благодарна буду...

И вечером того же дня
Я шел Москвой. Не позабуду,
Как, после дождика с грозой,
Над Воробьевыми горами,
И над пустынными дворцами,
И над садами за рекой
Гас тихо вечер золотой; —
Как с теплотой боролся холод;
Как подрумянен был и молод
Маститый Кремль с его стеной...
Как горячо горели главы
Его соборов............................
....
Как были зелены бульвары;
Как там заманчиво в тени
Влюбленные гуляли пары
(Так мне казалось в оны дни);
Как пахло хлебом из пекарен,—
И помню я, как в тишине,
Из-за гардин, в одном окне,
Я услыхал: «Зайдите, барин...»
Я останавливался... и
Усталый, мокрый, весь в пыли,
Опять шагал, как некий странник,
Как тот, кому сам черт не брат.
И пробирался на Арбат.

Фантазии наивной данник,
Я представлял себе, каков
Собою должен быть Камков.
Об нем уже молва блуждала
В той бедной, маленькой среде,
Которая благословляла
Зародыши талантов,— где
Авторитеты колебали,
И критику исподтишка
Не громко, но рукоплескали;
Смотреть ходили из райка
Мочалова,— передавали
Кольцова стих из уст в уста,
И в «Наблюдателе» искали
Стихов под литерой Ѳ.
Итак, об нем слыхал я прежде
И думал: гений и поэт —
Синонимы; и был в надежде,
Что славой он покроет свет,
Что на святой Руси он будет
Виднее солнца самого,
И мир, конечно, не забудет
Меня, как спутника его.
Я был настолько легковерен,
Настолько зелен был душой;
А потому и не намерен
Смеяться над моей весной
Почтенной публике в угоду.
(Пора оставить эту моду!)

Я и теперь, читатель мой,
Уверен в том, что будь вы гений,—
Не внемля крику пошлых мнений,
Я был бы раньше сам собой,
И был бы выше головой.
Но что об этом...
Близ Полянки,
Камков жил у одной мещанки
Во флигеле.— К его сеням
Прошел я по сырым доскам
И стал стучаться.— Оказалось,
Что дверь была не заперта
И очень просто отворялась.
Вхожу — передняя пуста,
Тут, признаюсь вам, я смутился:

Вообразите вы,— что вдруг
Я у поэта очутился
С пустою вешалкой сам-друг,
Я думал: за перегородку
Идут следы Камен — и что ж
Увидел? — половую щетку
Да пару стоптанных калош!
Я кашлянул, как будто в глотку
Мне пыль засела,— я не знал,
Войти ли мне — и — не решался.
«Я дома — дома!» — отозвался
Мне тихий голос: он звучал
Каким-то детским нетерпеньем,
Как будто звал меня больной,
Капризный друг.— С благоговеньем
Вошел я в комнату.
Худой,
В халатишке, одной ногой
Поймавши туфлю, он с дивана
Приподнялся,— то был Камков.
Я начал: «К вам меня Ульяна
Ивановна...» — «Я нездоров,—
Он перебил.— Я поджидаю
К себе давно кого-нибудь.
Вообразите,— сам не знаю,
Что делать? Собираюсь в путь,
И обречен на злую скуку,
Лежу весь день — совсем разбит,
Бока болят, и грудь болит.
Садитесь».
Протянувши руку,
Он для меня подвинул стул
И словно в душу заглянул
Большими серыми глазами.
Я не бывал знаком с орлами,
Но думаю, что на орла
Похож он не был... Над бровями
Его, заметной складкой, шла
Морщинка — знак упорной воли
Иль напряженья мысли.— Он
Был моложав,— но сокрушен,
Подавлен чем-то; поневоле
Я на него глядел — глядел,
И слушал, и понять хотел.
Казалось, был он бесконечно

Внимателен и добр; — конечно,
С такими качествами кто ж
Бывает на орла похож?
А между тем и сам постичь я
Не в состояньи, отчего
Сначала мне в лице его
Почудилося что-то птичье,
Когда как через час потом
Глядел он просто добряком:
Улыбка мягкая скользила
По очертанью тонких губ
И прямо, ясно говорила:
Поверьте мне, Камков не груб,
Хоть и бывает зол и едок.

Я сел — он сел,— и напоследок
Мы познакомились.
Друзья,
Пиши я в прозе, верно б, я
Вам описал его каморку,
Стол, кресла, книги под столом
И на столе да с табаком
Кисет; — но, господа, что толку
Нам в описании таком! —
Жилище моего Камкова
Теперь напомнило бы мне
Мое студенчество; другого
Сказать вам нечего. Вполне
Довольный тем, что я с дороги
Напился чаю с калачом,
Тогда я думал, что мы боги,—
Сошлись и судим обо всем.

Камков просил меня любезно
Ответ княгине передать,
Ничуть не думая скрывать,
Что было вовсе бесполезно.
И тут кой-что узнал я,— но
Одной страницы из романа
Мне не довольно... и смешно
Вам раскрывать ее — и рано.
Пусть подождет меня Ульяна
Ивановна,— пусть подождет
Меня княжна.— Пущу вперед,
Сиятельных не беспокоя,

Камкова, моего героя.
Друзья! Как друга моего,
Рекомендую вам его.

Простым и грустным разговором
Знакомство наше началось,
И тронул он меня до слез
Одним рассказом (о котором
Теперь умалчиваю). Спором
Мы заключили разговор.
О чем был сей великий спор?
Не помню.— Я уже порядком
От метафизики отстал;
Уже давно не поверял
Своих идей по тем тетрадкам,
В которых иногда писал
Дневник мой: тайно признавался,
Как я любил, как я терзался,
Как правды-истины искал
И на себя наивно лгал.

Я только помню впечатленье,—
Я только помню — как, живой
Своею речью, молодой
Моей души святой покой
Он нарушал без сожаленья,—
Он не смеялся надо мной,
Не нападал,— но понемногу
Одолевал, и в мир иной,
Не огражденный никакой
Стеною, стал казать дорогу...

Оставшись до другого дня
В его каморке,— помню,— я
Заснул под утро. Для меня
Камков действительно был гений,
Хоть он заметного следа
Среди общественных явлений
И не оставил, господа.
Увы! как Рудину,— тогда
Ему была одна дорога:
В дом богадельни иль острога.

Но между Рудиным и ним,
Как поглядим да посравним,

Была значительная разность.
Характеров разнообразность
Разнообразит вечный тип.
Идея, будь одна и та же,
В одном засядет как полип,
Другого выровняет глаже
Или заставит с бородой
Ходить без галстука.— Иной,
Приняв ее в свои владенья,
Идет на гибель, как герой,
Иной, напротив, на покой
Отправится в уединенье
И сложит руки.— Мой Камков
Был с нею чем-то вроде Пери,
Блуждающей у райской двери,
Внимающей из облаков
Далекого блаженства звукам
И в то же время адским мукам,
Огню и скрежету зубов.
Он был далеко не ребенок;
Все понимал: и жизнь и век,
Зло и добро — был добр и тонок;
Но — был невзрослый человек.
Как часто, сам сознавшись в этом,
Искал он дела — и грустил;
Хотел ученым быть, поэтом,
Рвался и выбился из сил.
Он беден был, но не нуждался,
Хотел любить — и не влюблялся,
Как будто жар его любви
Был в голове, а не в крови.

Он по летам своим был сверстник
Белинскому.— Станкевич был
Его любимец и наперсник.
К нему он часто заходил
То сумрачный, то окрыленный
Надеждами, и говорил —
И говорил, как озаренный,
А то так над собой трунил —
Или приятелю твердил:
«*Как знал ты жизнь — как мало жил*»[1].

---

[1] Стих Веневитинова. (*Примеч. Я. П. Полонского.*)

Какую роль играл он в свете
И как он в высший свет попал,
Когда не ездил он в карете
И модных галстуков не знал?
Туда, сказать вам откровенно,
Попал он необыкновенно
И вовсе роли не играл,—
Самарин там его встречал,—
Он появлялся бледный, скромный,
Всегда с улыбкою заемной.
Всегда один,— всегда вдали
От пышных дам, хоть эти дамы
И были как нельзя милей,
Вообразив, что на мужей
Он сочиняет эпиграммы.

Но не пора ли кончить мне
Беседовать наедине
С моею музой простодушной,
Чтоб за моим героем вслед
На время окунуться в свет,
Холодный свет, но не бездушный,—
Свет не бездушный, но с душой
Опутанной, немой, слепой,
Коварным идолам послушной,—
Свет, не ходящий без ходуль,
Но обладающий крылами
Могучими.— Друзья! найду ль
Я крылья там — иль вместе с вами
Пройдусь в толпе, гордясь цепями?

Читатель, если ты желал
В начале моего творенья
Найти ошибку, упущенье
Иль вялый стих,— и не зевал
Над этой первою главою,—
То ничего не потерял:
Я угощу тебя второю.
Но если ты не дотянул
До половины и — заснул,
Спи, милый мой! — Господь с тобою!

Глава 2

В Москве жил-был один барон.
Как все бароны, верно, он
Был человеком не без веса:
Он был богат, играл в бостон,
Поутру делал моцион
И — был дурак. Но баронесса...
Была особая статья!
О! будь я дама,— верно б, я
Ей подражал иль, уж поверьте,
Возненавидел бы до смерти.
(Пишу по слухам мой рассказ.)
Я, к сожаленью, только раз
И видел, как она в концерте
С тетрадкой нот сидела и —
Ресницы длинные свои
Склоня к коленам, как маэстро,
Карандашом, под гром оркестра,
Чертила что-то.
                        Гордый Лист,
Известный вам фортепьянист,
Когда из Венгрии опальной
(Артистов модный идеал)
Он прилетел и взволновал
Наш север славой музыкальной,—
Ее недаром посетил:
Был пьян и гениально мил.

Недаром Щепкин знаменитый,
Поборник Гоголя маститый,
Ее гостям «Разъезд» читал,
Смешил, смеялся и рыдал.

Недаром зеленью, цветами
В мороз крещенский убрала
Она свой угол и была
Всегда особенно мила
С московскими профессорами.
Стихи читала, как поэт,
Хоть и без лишних декламаций,
И на защиту диссертаций
Езжала в университет.
Недаром в обществе старались
Ей потихоньку подражать:

Хвалили, громко заступались
Или за нравственность боялись,
И торопились клеветать.
Но ложь была такого рода,—
Такая радужная ложь,
Что ей завидовала мода
И восхищалась молодежь.
Барон был муж довольно вялый,
Не делал ни добра, ни зла;
Жена, конечно, не могла
При нем быть женщиной отсталой;
У ней был сын — неглупый малый,
Но недогадливый — в отца.
Когда он в зеркало гляделся,
Чертами своего лица
Он любовался и вертелся,
И этого-то молодца
Учил Камков. Воображаю,
Как он внушал, как прививал
Он философию к лентяю.

Однажды, право, я не знаю —
Кто баронессе подсказал,
Что это — золото-учитель,
Что он магистр и сочинитель,
Что он, как древний Ювенал,
Не только знает по-латыне,
Но, что довольно редко ныне,
Прочел Гомера до конца
И так же изучил глубоко
Язык богов и дух слепца,
Как баронесса Поль де Кока.

Такая новость не могла
Не изумить ее сначала;
Но баронесса отвечала
Спокойно, то есть солгала,
Не покраснев: — Я это знала
Для сына я его брала.

Потом как будто испугалась,
Пошла и села в уголок,
Когда Камков давал урок.
Через неделю оказалось,
Что он, хотя и латинист,

Но вовсе не семинарист
И так же знает по-французски
И по-немецки, как по-русски.

Как говорит он! Боже мой,
Как мил!
Упала с глаз завеса:
Он человек передовой,—
Вообразила баронесса.

Ему восторженно внимать,
Ему безмолвно поклоняться,
За ним карету посылать,
Задерживать и в свет толкать
И за Камкова распинаться
Она повсюду, где была,
За первый долг себе сочла.
Не будь Гамлетом мой ученый,
Он натолкнулся бы на грех.
Решись он смело быть вороной
В павлиньих перьях,— и успех
Его завидный ждал бы в свете;
Но,— бедный, на чужом паркете
Он спотыкаться не желал,
Себя ценил и наблюдал.

Любил он юность, свежесть, стройность,
Наряды, штофы, зеркала,
Картины, мрамор, даже зла
Наружную благопристойность.
Не приглядевшись ни к чему,
Он все любил,— но не по страсти
К кумирам и не потому,
Чтоб верил,— нет, Камков отчасти
По складу сердца был артист,
А по уму идеалист.
И не людей он ненавидел,
Нет! в них таинственной судьбы
Он временную жертву видел,
Не призванную для борьбы.
Конечно, к диким отношеньям,
От поколенья к поколеньям
Переходящим как завет,
Он чувствовал антипатию;
Но... как дитя, любил Россию,
И верил в то, чего в ней нет.

Всегда с протянутой рукою
Барон Камкова принимал;
Перед ученою женою
Он как-то смутно сознавал
Свое ничтожество; являлся
На полчаса, финтил, играл
С собачкою,— и пропадал.
Жене во всем он доверялся,
И о Камкове отзывался,
Что это *перл*. Что ж? может быть,
Он знал (недаром же учился),
Как неприлично походить
На петуха, который рылся
В навозе — и, *нашед* зерно
Жемчужное: «К чему оно?» —
Воскликнул и распетушился.

А между тем мой старый друг,
В навозе рывшийся петух,
Как человек обыкновенный,
Был и понятней, и сносней
(Хоть, может быть, и не умней)
Иной, глубоко современной
Нам критики: он не желал
Чудесного соединенья
Душеспасительных начал
С жемчужинами вдохновенья.
Нашед жемчужное зерно,
Он не желал, чтобы оно,
Не переставши быть жемчужным,
Могло быть для закуски нужным.
Он просто-напросто не знал
Ему цены и браковал.
Конечно, столь же откровенных,
Фортуною благословенных,
Я знаю много петухов.
Они кричат нам: «Для голодных
Не нужно украшений модных,
Не нужно ваших жемчугов —
Изящной прозы и стихов.
Мы для гражданства не видали
От музы никаких заслуг:
Стихи бесплодны, как жемчуг.
Прочь — это роскошь!» Но — едва ли
У этих бедных петухов,

Опровергающих искусство,
Изящное простыло чувство
Для *настоящих жемчугов?*

Итак, мой бедный друг Камков
Бароном не был забракован:
Он скоро был рекомендован
Всем знаменитостям,— иным
Он нравился умом своим
Оригинальным и живым,
Другими сам был очарован.

В те дни Тургенев молодой
Еще на пажитях чужой
Науки думал сеять розы;
Глядел на женщин, как герой,
Писал стихи, не зная прозы,
И был преследуем молвой
С каким-то юношеским жаром,
Что суждено ему недаром
Ходить с большою головой.
Аксаков был еще моложе,
Но — юноша — глядел он строже
На жизнь, чем патриарх иной,
Весь до костей проникнут верой
В туманный русский идеал,
Он счастье гордо отрицал
И называл любовь химерой.

Красноречивый Хомяков,
Славянства чуткий предвозвестник,
Камкову был почти ровесник.
Камков нередко с первых слов
Сходился с ними. Разговоры
Их часто до пяти часов
Утра тянулись.— Эти споры
Звал мой насмешливый Камков
Взаимным щупаньем голов.
Иные на него косились,
Потом как будто ничего
В нем не нашли,— и подружились.
Иные, раскусив его,
Тянули на свою дорогу,
Ему замазывали рот,
И льстили; — словом, понемногу

Заманивали в свой приход...
Иные... но мы только знаем,
Что он в сороковых годах
Был на виду, был приглашаем,—
И стал являться на балах.
Вот он на улицу выходит
В еноте, в шляпе и кашне.
Уж ночь. Все глухо. В стороне
Собака лает... кто-то бродит...
Метель, шумя по чердакам,
С дощатых кровель снег сдувает;
Фонарь таинственный мигает
Двум отдаленным фонарям;
Закрыты ставни у соседей;
Высоко, где-то на стекле,
Свет огонька дрожит во мгле.
— Вот подлинно страна медведей! —
Сам про себя Камков ворчит,
В карман свои перчатки сует,
Глядит,— ну так, платок забыт!
И мой герой с досады плюет.
Вот едет Ванька. «Ванька — стой!
Не повали меня»,— он просит,
И в сани ногу он заносит,
И едет.— Нос его поник
В заиндевелый воротник;
Извозчик клячу погоняет;
Камков сидит и размышляет:
«Кой черт несет меня туда?
А впрочем, что же за беда!
Бал охраняет нашу личность,
Так как никто — и генерал —
И тот не скажет неприличность
Тому, кто приглашен на бал,
Хотя бы этот приглашенный
Был самый жалкий подчиненный.
Бал наших женщин обновил
И нас с Европой породнил».

Так едучи да размышляя
О том о сем, он у Тверских
Ворот очнулся.— Десять бьет
На монастырской башне. Вот
И Дмитровка. Освобождая
Свой нос, глядит он: у ворот

Четыре плошки,— в бельэтаже
Сияют окна. Экипажи
Пустые едут со двора;
Над их двойными фонарями
Торчат, как тени, кучера.
Один из них: «Куда ты, леший! —
Кричит на Ваньку в воротах.—
Опешил, что ли?» — «Сам опешил»,—
Бормочет Ванька впопыхах
И барина благополучно
Подвозит по двору к сеням,
Назло горластым кучерам.

Камков идет; — ему не скучно;
Он рад внезапному теплу;
Он всем доволен — завываньем
Оркестра, вазой на углу
Воздушной лестницы, сниманьем
Салопов, обнаженных плеч
Благоуханной белизною,
Блондинкою, что перед ним
Идет легко, шурша своим
Атласом,— стройная,— одною
Рукою платье приподняв,
Другую опустив с букетом.

Камков был прав, смеясь над светом,
Но и любуясь, был он прав,
Когда на все глядел поэтом.

Вот посреди толпы живой
Он озаренный зал проходит,
Тут, слава богу, мой герой
Два или три лица находит
Ему знакомых; — ухватил
За пуговицу, чуть не обнял
Его один славянофил
И, милый спорщик, тут же поднял
Вопрос: чем вече началось
Новогородское? — Вопрос
Не бальный, но зато мудреный.
— Мирскою сходкой,— отвечал
Ему Камков. Захохотал
Славянофил; — но спор ученый
Был как-то скоро прекращен.

Их разлучили.— С двух сторон
Танцующих гремя подъемлет
Летучий вальс своим жезлом;
Толпа ему послушно внемлет;
Вот под его певучий гром
Несутся пары.— Вот кругом
Теснятся зрители.— Меж ними,
Засунув палец под жилет,
Стоит, весь в черное одет,
С лицом задумчивым, с живыми
Глазами, с складкою на лбу,
Камков, как некий вождь, впервые
Вдали заслышавший пальбу.

О чем он думает,— в какие
Мечты душою погружен?
Кого в толпе заметил он,—
За кем следит он так прилежно?

В числе танцующих была
Одна особенно мила,
Нежна, как ландыш самый нежный,
Свежа, как роза.— На плечах
У ней (не только на щеках)
Играл застенчивый румянец;
Играл он даже на локтях,
Когда ее, как деспот, танец
На середину увлекал.
В ее глазах огонь пугливый
То вспыхивал, то померкал;
Она переходила зал
То медленной, то торопливой
Походкой; — так была робка,
Так грациозно неловка,
Так непохожа на плутовку,
Что странно, кто решиться мог
Надеть вакхический венок
На эту детскую головку.
Она дитя,— но кто она?
Камков невольно знать желает.
— Кажись, Таптыгина княжна,—
Ему знакомый отвечает,—
А впрочем, право, черт их знает,—
Я, может статься, и соврал.
У ней,— он вяло продолжал,

Подняв лорнет,— недурен профиль!
Но я, товарищ старый мой,
На все гляжу, как Мефистофель.
Что делать? пожил, братец мой,
И вкуса в сливах недозрелых
Не вижу: вяжут, черт возьми!
Люблю я барынь угорелых,
Лет этак двадцати осьми...
. . . .
Камков немножко удивился
Таким речам,— посторонился,
И на знакомца своего
Взглянул с усмешкой.— Для него
Такого рода мненье было
Довольно ново — и смешило.

Вот, век живи, подумал он,
Да век учись,— прошу покорно,—
Как выражается задорно.
Камков был сам порой смешон
И странен,— но иначе он
Блохою жизни был укушен,
Иным фантазиям послушен,
Иною солью посолен.

Вот началась кадриль — одна,
Другая, третья,— кто их знает
Какая! — Бал не отдыхает.
В фигуры переплетена,
Толпа скользит; перебегает
Рука в руке; по жемчугам,
По бриллиянтам, по цветам,
По золоту огонь играет,
Тень бегает по рукавам,
И музыка гремя сливает
Людские речи в птичий гам.
Кто их послушает, едва ли
С невольной грустью не вздохнет.
Да, в нашем обществе на бале
Тот и умен, кто больше врет.

Но не люблю я тем любимых;
Из тысячи произносимых
Слов, вероятно, девять сот

И девяносто девять были
На этом бале лишены
Значенья, десять зим смешили,
Забыты и повторены.

Греми же, музыка, сильнее,
Рычи, охриплый контрабас,—
Пускай никто не слышит нас;
Себя же слушать не краснея
Давно привыкли мы,— и нам
Недостает лишь только дам,
Чтоб быть подчас еще пустее.

Камков кадрилей не считал,
Но так глядел и так вникал,
Как будто, право, каждый бантик
В нарядах дамских изучал.
Философический романтик,
Быть может, в танцах открывал
Он всенародное значенье;
Следя, быть может, за княжной,
Он девственною красотой
Проникнут был до умиленья.
Сбираяся на этот бал,
Он, верно, Шиллера читал.

Но тот, кто вечно наблюдает,
Тот часто ходит как слепой.
Так скромный наблюдатель мой
Решительно не замечает,
Как от него близка гроза
И чьи ревнивые глаза
За ним давно следят на бале.

Вот три часа.— В соседнем зале
По двум раздвинутым столам
Приборы ставят.— По углам
Сидят разрозненные пары.
Кому до танцев дела нет,
Идет в хозяйский кабинет
Курить хозяйские сигары.
Вот и мазурка.— Пышный бал
Подходит к ужину.— Устал
Камков; — уж он спешит убраться,
Уж он спиной к дверям стоит,
Но баронесса оставаться
Ему до ужина велит.

Играя веером, вздыхая
Всей грудью,— словно отдыхая,
Она задумчиво сидит.
Он должен низко наклоняться,
Чтоб слушать; — дама говорит:

— Вы не хотели увлекаться,
И не хотели танцевать,
Я,— надо правду вам сказать,—
Вас изучаю...
— Много чести.
— Нет... уверяю вас без лести,
Что вы предобрый человек,
Но, знаете! — больной наш век
Вам повредил,— ваш ум озлоблен
И сердце спит,— не грех ли вам?
— Нет, баронесса, я к балам
Был с юных лет неприспособлен:
Когда я гимназистом был,
Я всё змейки пускать любил;
Когда в студенты поступил,
Я самого себя пустил
Под облака и в них терялся,
Летал — пока не оборвался,
Так прозевал я жизнь и свет.
Танцмейстеру же в тридцать лет
Платить за резвые уроки
И прыгать в образе сороки
Смешно тому, кто учит сам —
Судить людей не по ногам.
— А знаете, что я желаю
Быть вашей ученицей,— и
Боюсь...
— Я вас не понимаю.
— Недавно с вами о любви
Я спорила... вы слишком строги;
Вы забываете, что мы
Простые люди, а не боги.
Конечно, жить в стенах тюрьмы
Я не хочу,— но и на воле
Нельзя всегда на свет без боли
Глядеть.— Вы хоть немножко тьмы
Нам дайте,— для отдохновенья,—
Ну... хоть немножко,— для меня...

Камков любил определенья;
(Педант — не правда ли, друзья?!)
— Что значит ваша тьма? Позвольте
Спросить? — к роскошному плечу
Склонясь, бормочет он.
— Увольте
От объяснений, не хочу
Я объясняться,— отвечает
Она поспешно.— На щеках
У ней румянец, на губах
Усмешка, тихо пожимает
Она плечом, опять глядит
Ему в лицо и говорит:
— Что значит тьма? Да разве с вами
Был вечно свет? Да разве сами
Вы... не блуждали никогда?
Ни разу не были счастливы?
— Я, никогда!
— Ужели?
— Да!..
— Так что ж вы так красноречивы!
Вы убиваете меня...
— Но, баронесса, если я
В моих невольных увлеченьях
Одно мученье почерпал,
Метался, путался в сомненьях,
Как будто выхода искал
Из лабиринта иль хаоса,
И если самая любовь
Глядела на меня так косо,
Что в жилах не кипела кровь,
А застывала,— неужели
За это надо вас просить
Меня, как варвара, казнить...
Прощайте! — накрывают ужин,
Как кавалер, я вам не нужен,
К тому же, право, сплю давно —
И даже брежу...
— Уезжайте,
Бог с вами! Мне самой пора.
Итак, m-r Камков, прощайте...
И... до свиданья... до утра...

Глава 3

Ночь на исходе. Снежным комом,
Уединенна и бледна,
Висит над кровлями луна,
И дым встает над каждым домом,
Столпообразным облакам
Подобно; медленно и грозно
Он к потухающим звездам
Ползет.
Неужели так поздно?!
Лениво удаляясь прочь,
У башен спрашивает ночь:
«Который час?» — «Да уж девятый!» —
Звонит ей Спасская в ответ,
И ночь уходит. Ей вослед
Глядит, зардевшись, Кремль зубчатый
Сквозь призму неподвижной мглы.
Над серыми его зубцами
Кресты, и вышки, и орлы
Горят пурпурными огнями,
И утро с розовым лицом
Стучится в ставни кулаком:
«Вставай, лентяй! вставай, затворник!»

И просыпается Камков.
Уже к нему с вязанкой дров
Ввалился неуклюжий дворник.
Вот он на корточках сидит
Перед заслонкою; трещит
Под пальцами его береста,
И печка топится.
— Мороз-то
Какой бог дал,— такой лихой,
Что инда *жгет*.
— А что, большой?
— Да так себе, изрядный; галка,
И та, вишь, мерзнет на лету.

Камков (ему как будто жалко,
Что птицу вольную, и ту
Не пощадил мороз проклятый),
Облокотясь одной рукой
На край своей подушки смятой,
Хандрит, и кажется ему,

Что он похож на инвалида,
Что он не может ни к кому
Пристать, как каторжник без вида,
Тайком покинувший тюрьму;
Что предаваться увлеченьям
Не смеет он, и на себя
Глядит герой мой с сокрушеньем,
И мыслит: черт возьми тебя,
Камков! ты никуда не годен.
Вот, погляди: мужик, сей раб,
И так здоров, а ты свободен,
И непростительно так слаб.
Да я б дрова колоть, да я б
Таскать тебя заставил воду,
Чтоб ты здоровую свободу
Благословлял.
                    Ну, словом, мой
Герой встал левою ногой.

Так он хандрил.— Конечно, это
Хандра минутная была,
Но иногда она вела
Его к стихам; произвела
Его для многих в чин поэта,
Хоть элегических стихов
Своих терпеть не мог Камков.

Блажен, кто с раннею зарею
Или к полуденной поре,
Проснувшись с свежей головою,
Не спросит: что-то на дворе?
Какая-то теперь погода?
Кому и счастье и природа
Равно всегда благоволят;
Кто сильно молод иль богат;
Кому в минуту пробужденья
Мечта пророчит наслажденья,
Поет ему: ты мой жених,
Сердечный, милый, ненаглядный,
Тебя на крыльях золотых
Я унесу в чертог нарядный:
Там посреди зеркальных стен
Я проведу тебя украдкой
И положу в истоме сладкой
У трепетных ее колен.

Или поет: мой друг, сегодня
Лети на биржу, да бери
С собою акций пук, да ври
Бессовестней как можно, и
Авось для праздника господня
По-прежнему кого-нибудь
Я помогу тебе надуть,
И будешь ты богаче вдвое,
И разжиреешь на покое.

Или поет: начальник твой
Тебе сегодня улыбнется...
Недаром у тебя так бьется
Сердчишко; ты любимец мой;
Поверь, что у слепой Фемиды
Есть на тебя большие виды,
И накануне именин
К тебе слетит желанный чин.

Итак, друзья, блажен, кто грешен
Без ссоры с золотой мечтой;
Кто ласкою ее утешен,
Тот, верно, левою ногой
Не встанет с утренней постели,
Не скоро сбросит свой халат,
И ни морозы, ни метели
Его блаженства не смутят.

Камков недолго оставался
В своем халате, потому
Что было некогда ему.
Он брился, мылся, одевался:
Ну, словом, выехать спешил.
Едва-едва он не забыл,
Что ровно в десять начинался
Урок, что целый пансион
Девиц учить обязан он;
Что ученицы молодые
Нетерпеливы, что иные
С утра долбят: Платон, Сократ,
Перикл, Софокл, Алкивиад,
И так долбят, и так спешат,
Что даже, недоевши булки
За чаем, посовали их
В кармашки фартучков своих;

Камков, как вижу я, прогулки
В Афины с ними совершал,
Их юность в древность посвящал.

Вот мой герой напился чаю,
И не в Афины едет,— он
На ваньке едет к Ермолаю
В вышереченный пансион,
Туда, где, помавая бровью,
Не раз он с жаром говорил,
Где платонической любовью
Две-три шалуньи заразил,
И тем заставил их смириться,
Сидеть прямее, не болтать,
За ним в Элладу улетать,
И чуть не взапуски учиться.

Увы! подснежные цветы,
Прощайте!.. выросла крапива,
Дурман, цикорий, хмель для пива;
Деревья, травы и кусты
Уже блестят в нарядах лета,—
Прощайте, детские мечты!
Вы позабыты в шуме света
Под веяньем житейских гроз,
Страстей, борьбы, забот и слез.

Из пансиона к молодому
Барону едет мой Камков
(Хоть он и не совсем здоров);
Но к баронессе, даже к дому
Ее, невольно как-то он
Привык, заметно окружен
Предупредительным вниманьем
Хозяйки: мог он там курить,
Входить в гостиную, смешить,
Пугать хандрой иль отрицаньем
Житейских всяких пустяков.

Так незаметно мой Камков
Стал баронессе тем приятен,
Что был и прост, и непонятен:
Ей нравиться не прилагал
Он ни малейшего старанья,
А потому и привлекал.

Ее намеки иль признанья
Полушутливые (давно
Другой бы понял их: одно
Из них мы слышали на бале)
Его нисколько не смущали;
Ее приязнь он принимал
За симпатию убеждений,
Других же тайных побуждений
Покуда не подозревал.
Так ездя на урок с урока,
В науке жизни недалеко
Ушел ученый мой поэт;
Но, говорят, кто с юных лет
Немецкой мудростью напудрен,
Не может быть не целомудрен.

Попробуйте вообразить,
Положим, Гегеля — Фоблазом,
Иль Канта — Казановой,— разом
Поймете вы, что совместить
Такие типы высший разум
И тот не в силах. Только брак
И может сочетать с наколкой
Философический колпак;
И если кофе и табак
Сольются запахами,— смолкой
Их дух не выкуришь никак.

Не странно ль! — Эти замечанья,
Поздней, в час горького признанья,
От самого Камкова я
Подслушал.— Самого себя
Он не щадил нисколько. С этим
Глумленьем над самим собой
Он был (мы от себя заметим)
Гамлетом с русскою душой.
И вспомним кстати, что Гамлета
Тургенев громко освистал.
Но кто же, кто им не бывал
Из тех, кто мыслил и страдал,
Кто раболепно не склонял
Колен пред идолами света,
Кто сердце честное ломал
Об их железный пьедестал
И кончил тем, что притворился

Юродивым или смирился?..
От баронессы мой герой
Спешил обедать то в кофейной,
То у друзей или домой
Летел забиться в угол свой,
Заняться новой книжкой Гейне,
Прочесть романа свежий том
Иль углубиться над трудом
Историка.— Все, от Гиббона
До современного Прудона,—
Он все читал, как будто мед
Из них высасывал.— Но тот,
Кого считал он великаном,
Кто в черепе своем вмещал
Весь мир, хотя и прикрывал
Философическим туманом
Зерно идей своих,— чей взор
В границах отыскал простор;
Нашел, что дух всему основа,
Для малого и для большого,
Для зла и для добра,— и то,
Что абсолютное ничто
Всему есть вечное начало;
Ну, словом, Гегель для него
Был первый друг и запевало.
Из отвлеченностей его
Он много разных истин вывел
И даже чуть не оплешивел.

О! часто думал я,— родись
Камков мой в Мюнхене, в Берлине —
В философическую высь
Ушел бы мой герой, и ныне,
Быть может, в парике, в очках,
Шумел бы с кафедры — писал бы
Трактат ученый,— издавал бы
В ста двадцати пяти частях
Иль выпусках свои творенья;
В них разрешил бы все сомненья,
Доволен был бы сам собой,
Своей дешевою сигаркой,
Сентиментальною кухаркой,
Или кухаркою-женой,
Своим уютным, скучным домом
И докторским своим дипломом

И был бы счастлив.
Не таков
Был мой талантливый Камков.
Он рад был день и ночь трудиться,
Но уверял, что не годится
В московские профессора,
И уверял, что сам предвидит,
Как ничего из-под пера
Его хорошего не выйдет.

«Я,— говорил он,— я похож
На скрипача. Едва начнешь
Играть в своей каморке тесной
Какой-нибудь концерт,— едва
Смычок, струна и голова
Сольются в музыке чудесной,
Как вдруг какой-нибудь сосед,
Больной подагрой иль чахоткой,
Стучится за перегородкой
И вам кричит: «Эх, мочи нет,
Мне ваша скрипка спать мешает!»
И вот чувствительный скрипач
От струн смычок свой отрывает
И в нежном сердце ощущает
Такую злобу, что хоть плачь.
Вот ночь проходит. Солнце всходит.
На скрипача опять находит
Охота к солнцу улететь —
И вот опять смычком он водит,
И вот уж гимны стал он петь.
«Чу! кто там?» — «От хозяйки Прошка».—
«Зачем ты?» — «Начали говеть
И просят погодить немножко,
Недельку эту не скрипеть».
И вспомнил он, что и намедни
Его просили не играть,
Затем, что поп прошел к обедни.
Что делать бедняку? Искать
Другое местопребыванье
Иль оказать непослушанье?
А так как робость на него
Нашла, что выгонят его
С квартиры на мороз без денег,—
Карман-то, видно, был пустенек,—
То вы из этого всего

И выводите заключенье».
Камков был мастер на сравненья;
Он, вероятно, испытал,
Что значат камни преткновенья,
И с видом остряка желал
Перед друзьями оправдаться,
Но он от этого, признаться,
Ни выиграл, ни проиграл.

Чудак! писал бы да писал,
И, верно бы, не хуже многих
Судей решительных и строгих [1]
К нам в просветители попал.
Чего ему недоставало?
Знать, не было геройства? Да,
Такого свойства, господа,
В моем герое было мало,
А без геройства, черт возьми,
Как трудно ведаться с людьми!

Уроки, чтенье, споры, боже!
Ужели все одно и то же?
Но дни бегут, как за волной
Волна, сказал бы я в сравненье,
Когда бы с русскою зимой
Могло мое воображенье
Себе представить волн теченье...
Стояли реки в берегах,
Но дни к весне текли,— и ночи
Заметно делались короче,
Хотя по-прежнему мороз
Знобил народ, и зябкий нос
Краснел порядком. Но едва ли
На то вниманье обращали
Все те, кому везде тепло,
Куда бы их ни занесло.

Пусть в берегах река застыла
И снегу много намело,
Москва по-прежнему кутила
Природе пасмурной назло.
В сердцах, по милости лохматых
Шкур, содранных с лисиц, волков,

---

[1] Стих А. Пушкина. *(Примеч. Я. П. Полонского.)*

Медведей, котиков, бобров,
Зверей ничем не виноватых,
По милости печей и дров,
Играла кровь, вставали страсти,
Просили счастья, денег, власти,
И волновалися зимой
Еще сильнее, чем весной,
Одним на смех, другим на горе.

И вот нечаянной волной
Страстей волнуемое море
Плеснуло даже на него...
Да-с, на героя моего
Оно плеснуло. Он забылся,—
Не остерегся и влюбился,
Как некий отрок. Но в кого?
Вопрос,— ужели в баронессу?
Что ж, разве это мудрено:
Ей двадцать девять с лишком, но
Она свежа, она повесу
Любого может вдохновить
И сон блаженства подарить.
И этому Бальзак нисколько
Не удивился бы. Отец
Тридцатилетних дам настолько
Знал глубину людских сердец,
Что зрелых женщин страсти зрелой
Он отдал пальму первенства
Перед волненьями едва
Не плачущей, в любви несмелой,
Неловкой девушки. Он знал,
Конечно, для кого писал.
Камков и сам был почитатель
Большой Бальзака,— для него
Он был с достоинством писатель.
Но не оракул; оттого,
Быть может, что в его натуре
(Равно как и в его фигуре)
Вы не нашли бы ничего
Французского. Камков повесой —
Увы! — ни разу не был, и
Поэтому, друзья мои,
Не мог плениться баронессой;
Он к ней привык и, так сказать,
Уж слишком начал уважать

В ней ум и сердце, а известно,
Как это чувство неуместно
Там, где великий самодур
Шалит и тешится Амур!
Амур — и мой Камков! признаться,
Довольно странная игра
Судьбы, но мне давно пора
Судьбе ни в чем не удивляться.

Глава 4

Судьба, ты русло жизни.— Ряд
Случайностей неуловимых,
Неровность почвы, цепь преград,
То шатких, то неодолимых —
Определяет вечный скат...
Жизнь русская не водопадом
Слетела с каменных вершин,
Не сыпалась жемчужным градом
И не спешила — средь долин,
Освободясь от пышной пены,
Под сенью дремлющих раин,
Плескаться в мраморные стены,
И не видала над собой
Протянутую в золотой
Короне листьев — роскошь сада,
Плетенку с кистью винограда.

Нет! наша жизнь текла иной
Дорогой,— тихою рекой;
Над ней таинственно шумели
Непроходимые леса,
И северные небеса
В ней отражались...
Помню мели
Песчаные, волнистой мглой
Подернутые,— сосны, ели,
Солому, копоть, волчий вой,
Песнь заунывную, далекий
Звон колокола, одинокий
Шалаш, костер, кой-где следы
Пожара да из-под воды
Виднеющиеся пороги.
И долго я искал дороги,

И медленно, где только мог,
Я плыл, толкая мой челнок,
И верил я в существованье
Иных, счастливых берегов:
Мне говорил об них Камков,
Герой недавнего преданья.

Не раз в излучинах реки
Сходились наши челноки...
Он старше был, пловец усталый,
Я был пред ним ребенок малый,
И он учил меня веслом
Махать смелее. Вдруг пахнуло
На нас метелью... Все кругом
Вдруг побелело, и потом
Его чуть в тину не втянуло,
Меня чуть не затерло льдом.

И я мой челн разбитый бросил.
Порой на берег выхожу:
Там вижу я обломки весел
И пригорюнившись сижу...

Взломало лед,— и те же волны
Стремятся вдаль, и по волнам
Плывут других другие челны
К обетованным берегам.
Привет вам, братья! Путь счастливый!
Я по пословице правдивой —
«Рыбак узнает рыбака»,
Вас узнаю издалека.

Привет вам, братья! Но не знают,
Знать не хотят, не узнают
И на привет не отвечают —
И мимо берега плывут...

Пойду домой. Что ж делать дома?
Дремать ли? «Пчелку» ли читать,—
За Гарибальди улетать...
Или пародии писать,
Иль живописного альбома
Переворачивать листы,
Встречать неверные черты
Знакомых лиц, глядеть на виды

Кавказа дикого, Тавриды
Покинутой, степей пустых —
И вызывать воспоминанья,
И смутно чувствовать, что в них
Нет прежнего очарованья?
Ужель разочарован я?!
Давно ли!.. Да, мои друзья,
Кто в самого себя лишь верит,
И говорит, что вера в нем
Еще кипит живым ключом,
Тот или недалек умом,
Иль очень тонко лицемерит.
Что значит верить в самого
Себя... в себя,— в свою особу! —
Нулем быть, подвигаться к гробу
Отдельной точкой, ничего
Кругом не видеть, злою жаждой
Томиться вечно, ибо каждый
Из нас, каких бы ни был сил,
Один — ничтожество, и гений
Без дружных рук, без увлечений
Простынет, если не простыл.

Где сердце тухнет, где не светит
Сей факел гордого ума,
Там, может быть, вопросов тьма
Из жизни встанет; жизнь отметит
Их, может быть, но не ответит
Ни на один из них —
Любви!
Огня, огня побольше! . . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .

Давно один сижу я дома,
Не слышу прежних голосов...
И снится мне мой друг Камков,
Невольно снится!
Вам знакома
Его каморка — стало быть,
Начну короче говорить.
Что делает Камков? Читает —

Статью ли пишет? Нет, страдает.
Но — что за вздор! Ужели он
Серьезно, не шутя влюблен!
Спросите.— Этого не знает
Пока никто, а за него
Я, право, не могу ручаться.
Он может вдруг опять приняться
За философию. Тогда
Мы будем с носом, господа,
И первый буду я сконфужен.
Скажите, без любви кому
Тогда роман мой будет нужен?

Конечно, другу моему
Не чужды были увлеченья,
Но — это были треволненья,
Похожие на вдохновенья;
Он как-то вспыхивал — и гас.
Я знаю, что Камков не раз
Пленялся красотою женской,
То городской, то деревенской,
Пленялся выраженьем глаз,
Пленялся милой простотою
(Неужто более ничем?),
Но он до глупости был нем,
Суров до самоотреченья,
До невозможности желать
Взаимности... Я размышленья
Его могу вам передать.
«Камков! — он думал.— Ты опять
За старое... Тебе ли с рылом
Суконным да в гостиный ряд!
Ты в одиночестве унылом
Уже заплесневел, измят
Ты рано внутренней борьбою...
И ничему не поддался,
И ни за чем не погнался.
Тебе ль роскошничать! Что страсти?!
Ведь это роскошь жизни. Мне ль
Сгорать и млеть у них во власти?
Вон на дворе шумит метель...
В окошки дует... сыро, чадно...
Бюст Пушкина один парадно
Стоит и лоснится в угле.
Поэт! спасибо! (хоть за это,

Бедняк, благодари поэта!)
Вон — беспорядок на столе,
И старых лексиконов томы
Такими кислыми глядят,
Что, кажется, чихнуть хотят.
Увы! в такие ли хоромы,
К иным мечтам приучена,
Взойдет она — моя жена,
Иль хоть любовница? Быть может,
Любовь моя все превозможет.
(Все может статься на беду!)
Чем я отпраздную победу?
Вдвоем с ней к Печкину пойду
Или в Сокольники поеду?..»
. . . .
Извольте видеть, господа,
Как размышлял он иногда.
И размышляй всегда он эдак,—
Я б убедился напоследок,
Что из героя моего
Не выйдет ровно ничего.
Байронствующий Подколесин,
Он был бы для меня несносен.
Но не любил он, а мечтал:
Неизъяснимый идеал
Неизъяснимой красотою
Его дразнил, манил и ждал.
Перед больной его душою
Он встанет тенью молодой,
Неуловимой, роковой,
И ум его не развенчает
Ее чела... Недаром он
Как бы предчувствием страдает —
Как будто чем-то огорчен,
Сердит,— и не подозревает,
Как он велик и как смешон.

Вот он на циферблат косится,
Семи часов зачем-то ждет —
Как будто опоздать боится,
И в то же время тайно злится,
Что стрелка медленно ползет.

У баронессы он обедал,
И хоть шампанского отведал,
Но был невесел, и домой

Пришел сердитый.
— Боже мой! —
Ему сказала на прощанье
Жена барона.— Вас просить
Хотят, через меня, учить
Одно премилое созданье,—
Княжну Таптыгину. Ей лет
Шестнадцать, и она уж в свет
Пустилась. Думаю, учиться
Ей некогда: к тому ж она
Собою очень недурна;
За нею станут волочиться,
И уж волочатся.
— Но я,—
Сказал Камков,— уж две недели
Хожу к *ним* в дом, и вам меня
Просить не нужно.
— В самом деле!..
Уже?! —
И взор ее скользнул
Куда-то в сторону. Минута
Прошла в молчанье. Почему-то
Герой мой фрак свой застегнул,
Вздохнул и руку протянул
За шляпой.
— Признаюсь вам,— рада
Я за княжну, но не за вас...
— Во всяком случае мне надо
Спешить домой... Который час?

— Опять домой? Ну погодите,
Не важничайте. Расскажите...
Неужели не скучно вам
Сидеть с княжной и по складам
Ее учить! Княжну я знаю:
Она мне дальняя родня,
Хоть и бывает у меня
Довольно редко. Князь — отсталый
Помещик и гордец немалый,
Подчас хвастун и враль большой.
В разводе с бедною женой,
В долгах по горло, утопает
В шампанском и лакеев бьет.
Дочь с папеньки пример берет,
И маменьки не уважает:

Как та ее ни умоляет
Видаться с ней,— она как лед,
И нет в ней сердца. Гувернантку...
Ну, словом, эту англичанку...
Кто ей нашел, когда отец
Любимую свою цыганку
Прогнал из дома наконец?
Я и княгиня. И ужели
Княжна умна! Вы две недели
Даете ей уроки — ну,
Как вы находите княжну?
                    — Княжну
Я мало знаю...
— Не успели
Вы раскусить...
            — Да,— подтвердил
Камков,— еще не раскусил.

И баронессе показалось,
Что он надулся. Подошла
Она к роялю, провела
Рукой по клавишам, взяла
Аккорд и громко засмеялась:
— Ах, чтоб раскусывать, у вас
Недостает зубов подчас:
Вы только мастера кусаться!

Камков упрямо стал прощаться,
Сказал, что едет на урок.

— Я б заперла вас на замок,
Я посадила бы вас в клетку,
Когда б могла! Зачем вы редко
Являетесь? По четвергам
Зачем вас нет... И как же вам
Не грех, не стыдно?! —
            Так игриво,
И строго, и полушутливо,
С особенным уменьем дам
Великосветских баронесса
Его бранила и была
Любезна. Вдруг — оборвала
Поток речей, не подала

Руки и вышла вон...

«Мила,

Как бес; но похитрее беса!» —
Подумал про себя Камков...

Домой пришел он в шесть часов,
И трубку закурил, и ходит,
Как будто места не находит
Или не знает, что начать;
Но вы, друзья, хотите знать,
Как мог Камков, от обожанья
Прелестной женщины, с таким
Умом и сердцем развитым,
Дойти до странного желанья
Противоречить ей, сердить
И даже иногда с ней быть,
Ей-богу, чем-то вроде буки?
Давно ли он почти без скуки
Мог с нею время проводить,
Смеяться, спорить, говорить
С ней об открытиях науки,
И об искусствах, и о том,
Куда мы, наконец, идем,
Какая всех нас ожидает
Судьба,— и прочее.— К тому ж
Жена мила, доверчив муж,
Сын туп — и все как подобает.
Давно ли странный мой герой
Был далеко не хладнокровен,
Когда Моцарт или Бетховен
Был оживлен ее игрой,
Когда рояль ее гремела,
Как божий гром, иль нежно пела
И слышался кристальный звук
Под пальцами искусных рук;
Когда у ней лицо горело,
И темные, как ночь, глаза
(Которых ни одна слеза
Не оросила) покрывались
Блестящей влагой и к нему
С заветной тайной обращались.
Когда — бог знает почему —
Она невольно любовалась
Своим влияньем... то терялась
В мечтах — была оживлена,

То становилась вдруг бледна.
Игру внезапно прерывала,
И говорила: «Что же вы
Молчите?» — и сама молчала,
Не поднимая головы.

Когда она его встречает
И руку нехотя дает
И также нехотя берет
Ее назад,— не отвечает,
Или глазами провожает,
Когда он хочет, не простясь,
Уйти домой в урочный час,
Ужели он не замечает
В ней перемены и не льстит
Его такая перемена!
И он не ждет — не дорожит
Минутами!
Какая пена
Морская, взбитая волной,
Сравнится с млечной белизной
Ее роскошных плеч и шеи?
Чей голос мягче, взор смелей?
Что в свете может быть темней
Ее волос? Они, как змеи,
Крутятся — и Камков не раз
Их видел, издали косясь,
И перед поздним балом в бальном
Костюме он ее видал,
И утром иногда встречал
Ее у сына — в белом спальном
Наряде, в блузе и чепце,
С дремотной томностью в лице,
С тем тонким, неостывшим жаром
Постели, ночи и всего,
Что было тайной для него;
В том *неглиже*, в котором даром
Не любят жещины себя
Показывать: они любя
Или по дружбе позволяют
Собой пленить нас по утрам;
Лишь те, которые снимают
С них мерку, этого не знают;
Башмачник, например, для дам
Что значит? — ничего!..

. . . .

Тогда протянутая ножка
Бесчувственна — и, стало быть,
Башмачник может приходить
В тот ранний час, когда окошко
Еще завешено и свет
Дневной из-за пурпурных складок
Скользя глядит на беспорядок
Счастливой спальни. Но поэт —
Философ — словом, мой ученый
Для баронессы был *персоной*,
А не ремесленником; с ним
Нецеремонность эта с детства
Была бы в ней ничем иным,
Как только шалостью кокетства
Или затеями любви.

Как баронесса умудрилась
В него влюбиться? чем пленилась?
Иль, может быть, у ней в крови
Везувий тлел! — К чему напрасно
Судить, рядить иль обвинять!
Природа — деспот: самовластно
Царит и любит направлять
Людей на собственные цели,
Чтобы не слишком разжирели,
Чтоб не застаивалась кровь —
И посылает нам любовь.

И все это герой мой видел
(Хоть и не скоро увидал).
За что ж природу он обидел?
За что, злодей, возненавидел
Ее кокетство? — Дурь нашла,
Или природа обожгла
Его за то, что он, случайно,
Как трус, ей в очи заглянул,
Иль по незнанью оттолкнул
Он чашу с нектаром и тайно
Раскаивался в этом? — Да,
Была минута, господа...
И он домой пришел смущенный,
Почти всю ночь не спал, и, сонный,
Страдал, как будто кошемар
Его давил...
Что это значит?

Не то ли, что любви запрос
Того, кто в бедности возрос,
Всегда сначала озадачит?
Не то ли, что сердечный жар
Мог заразить его? Горячка
Не так прилипчива, как то,
Чего мы скрыть не в силах. Кто
Матрос, того морская качка
Не может не качать; унять
Ее по щучьему веленью
Нельзя: попробуйте придать
К любви сомненье, к увлеченью
Рассудок или долг — и вас
Начнет покачивать как раз.

И долго был обуреваем
Камков, и у него едва
Не закружилась голова,
Он устоял — мы это знаем.
Минервы зоркая сова
Спугнула голубей Венеры,
Он заглянул в лицо Химеры...
Я не завидую ему
И не браню, а потому
И ставлю вместо восклицанья
Недоумения крючок: ?

Там, где блаженство, где страданье,
Там, где кипит страстей поток,—
Что добродетель? что порок?
Кого винить? чем восхищаться?
Кого безжалостно казнить?
Пред кем безмолвно преклоняться?

Что значит в женщине губить
Покой души иль сердца,— быть
Любимым и не откликаться?
Или, любя ее, не сметь
К ней прикоснуться? маску скинуть
И вовремя ее покинуть —
Или, напротив, не иметь
Довольно сил, чтоб с ней расстаться,
Когда мы знаем, что она,
Любя другого, нам верна?
Притворством удовлетворяться

Иль недовольно притворяться?
Кто лучше, выше, наконец,
По мненью света в век наш зрелый,
Ум пламенный, в разврате смелый,
Иль благороднейший глупец?
Та девушка, что отдавалась
Любви и счастию сполна
И, судьями оскорблена,
Наплакалась и настрадалась —
Или бездушная жена?

Все лицемерие отбросив,
Скажите — оттого ль смешон
Нам будет нынешний Иосиф,
Что он в разврат не посвящен
И что за это фараон
Его в темницу не посадит,
А бог казной не наградит?

Вопросов тьма. Кто с ними сладит,
Кто их обсудит и решит?
Любви и счастья кодекс верен
Старинным спискам, но давно
Кой-кем то здесь, то там похерен —
Справляться стало мудрено,
Различно каждый понимает.

Ужель Камков воображает,
Что философия должна
Другие сердцу дать уставы,
Что, наконец, решит она,
В чем наша воля, в чем мы правы?
Или намерен он создать
Теорию любви сначала,
Чтоб хоть *идея* оправдала
Его любовь, чтоб он сказать
Мог смело, почему он любит —
И гибнет сам иль жертву губит? —
Или он думает: любя
Жену другого, подкупая
Лакеев, мужа надувая,—
Как он посмотрит на себя?
И если правде он изменит —
Чем он в душе ее заменит? —

Не правда ли, для многих он
И непонятен? и смешон?
А будь он просто человеком,
Таким, как все, как вы да я,
Не спорь в душе с лукавым веком
И, наконец, не мучь себя
Пустой, но частою борьбою,—
Он был бы франт во всей красе,
Ему б завидовали все.
Итак, Камкову не давалась
Любовь — он это видел сам
(«Где тонко, там и рвется»). Вам
Самим, я думаю, случалось
Такие страсти испытать:
Их, право, можно доконать,
Перекрестившись, в две недели,
Я этот срок нарочно дал,
Ибо герой мой, в самом деле,
Их в две недели доконал.

За что ж, однако, баронессу
Он хитрой женщиной назвал
И даже уподобил бесу —
За что? За то ли, что она
К нему немножко ревновала?
Кто ж не ревнует? Что княжна
Ее немножко напугала,
Что бестолковый мой герой,
С тех пор, как занят стал княжной,
Все брови хмурит — уверяет,
Что он страдает головой,
Что он, быть может, ей мешает,
Когда заходит по утрам
К ней в кабинет — учтив и скучен.
И стал заметно равнодушен
К ее радушным четвергам?

(А четверги друзьям открыты —
Друзьям прогресса и молвы,
И летописцами Москвы,
Конечно, будут не забыты.)

Никто на этих вечерах
Не мог читать у ней в глазах,
И сдержанное нетерпенье

В ней истощилось — перешло
В тревожный сон, недоуменье
В желанье дерзкое — назло
Всему, во что бы то ни стало,
Им овладеть... Она страдала.

Конечно, ей не привыкать
Страданье смехом прикрывать;
А кто привык — тому не надо
На это хитрости большой.

Так ошибался мой герой;
Но говорила в нем досада.

«А! — думал он, когда домой
Шел вечером.— Вы не щадите
Княжны, вы рады клеветать
На девушку — и вы хотите,
Чтоб я был весел!.. Нет, пора
Мне отрезветь! Мне надоели,
Мне скучны ваши вечера:
Ни зла в них нету, ни добра,
Какая польза, в самом деле,—
Пред этой светскою толпой
Мешать науку с болтовней,
И, никого не убеждая,
Хозяев тешить ради чая?
И все, что вызвано трудом,
Нуждой, бессонными ночами,
И жаждой знанья, и слезами,
Нести, как дань, в богатый дом,
Где все так праздны, все так ложно?..»
Но, признаюсь вам, невозможно
И передать всего того,
Что лезло в голову его.

На подмороженные лужи
Ступая всей своей ступней,
Не чувствуя вечерней стужи,
Он шел с поникшей головой.
Но... не забыл он об уроке...

Заря бледнела. На востоке
Туман лиловый холодел,
Над кровлями и над крестами

Ночь тихо двигалась. Блестел
Зенит вечерними звездами.
Москва подобно небесам
Спешила засветить другие,
Таинственные, но земные
Созвездия — и к фонарям
Послала буточников. Вам
Известно, что и с фонарями
В Москве, как в небе со звездами,
Порой так глухо и темно,
Что можно заблудиться; но,
Друзья, примите в рассужденье:
Чем пасмурнее освещенье,
Чем ваши улицы грязней,
Тем вдвое больше наслажденья
Сидеть в семье иль у друзей,
Или с возлюбленной своей
Перед шипящим самоваром,
Вести приятную вдвоем
Беседу (ворковать), иль, ром
В чай подливая, спорить с жаром,
И жизнь халатная тогда
Милее вдвое, господа.
Камков не ездил за границу,
Не видел газовых пучков
Огня при блеске зеркалов,
И нашу древнюю столицу
С материальной стороны
Считал тогда довольно сносной.
Теперешние крикуны
Тогда ходили с рожей постной,
И громко ни один из них
Не смел бесчестить мостовых...
Их фельетоны были слабы
(То были розы без шипов).

Но, господа,— бьет семь часов.
Куда стремится мой Камков
На подрезях через ухабы?
Вот площадь, вот гостиный ряд,
Огни, возы, крестьяне, бабы,
Кадушки, клети... вот стоят
На хвостиках, развесив уши,
Свиней мороженые туши...
Капустой пахнет... вот висят,

Как бусы, пресные баранки;
Стоит мальчишка над лотком,
И сбитень пьет под фонарем
Приказный... Ковыляют санки —
Камков не видит ничего,
Мир будничный пред ним мелькает.
Он брызжет грязью на него,
Когда в ложбину попадает;
То ваньку за кушак хватает,
То упирается в задок.

Камков стремится на урок.
(Урок — обязанность святая...)
И едет он, не забывая,
Что ждет его семья друзей,
Стаканы с чаем, кренделей
Тарелка, трубка, разговоры
На тысячу ладов, мечты,
Приятельские остроты,
Философические споры,
И Б., и К., и Г. [1], и тот,
Кого он скоро обоймет
В последний раз и вдаль проводит,
И тот, кто Гейне переводит,
И тот, кто вечно всех смешит,
И тот, кто иногда грустит
О запертой на ключ невесте...

Когда они сбирались вместе —
Никто из них не козырял,
Не напивался: пьянство, карты
К иным из них — увы! — поздней
Пришли — уже на склоне дней,
Когда Бэконы и Декарты
И Гегели от нас ушли,
Как волны теплого тумана,
Что поутру, поднявшись рано,
Плывут с прозябнувшей земли
Через верхушки леса в небо,
Не зная сами, что весной
Под их волнистой пеленой
Для зерен будущего хлеба
Спасительная теплота
Была незримо разлита.

---

[1] Бакунин, Кетчер, Герцен. (*Примеч. Я. П. Полонского.*)

Друзья Камкова собирались
В тот вечер целою семьей
Затем, что мысленно прощались
Уже друг с другом; разлетались
Они с грядущею весной...
Но мы их общество покинем
И в новый, незнакомый дом
Отправимся.
Пора! — войдем.
Суконный занавес раздвинем,
Отворим лаковую дверь,
Посмотрим, где-то он теперь,
Герой наш? Вот он,— новой сферой,
Как чародейством, окружен,
Как будто воодушевлен
Или проникнут новой верой
(Таков его вечерний вид).
В уютной комнате сидит
Перед молоденькой княжною,
С раскрытой книгой под рукою.
И две свечи пред ним горят,
И девушки глаза блестят
Своей прозрачной глубиною —
В них от ресниц ее порою
Тень неподвижная стоит.
С наивным, робким изумленьем
Она ему в лицо глядит,
Как будто все, что говорит
Камков, каким-то странным пеньем
Ей кажется. Ее уста
Полураскрыты... грудь не смеет
Дышать, как будто тихо веет
Пред ней великая мечта
О жизни... Словно провиденье,
А не учитель перед ней
Сидит и разъясняет ей
Души святое назначенье,
На землю сводит небеса
И в этом видит чудеса.
То прозу, то стихи читает,
Не спрашивает ни о чем,
Вопросы сам подозревает,
Молчит с минуту — и потом
За ученицу отвечает
Так просто и с таким лицом

Спокойно-ясным, что, признаться,
Друзья, вам может показаться
При этом случае, что он
Порядочный хамелеон.
Куда девалась вся досада?
Где эта глупая хандра?
Но, господа, уже пора
Давно, чтоб с силами собраться,
Мне с этою главой расстаться.

Как змей, что, сбросив чешую,
Об ней уж больше не хлопочет,
Так я четвертую мою
Главу бросаю с плеч. Кто хочет
Поднять, пусть поднимает, кто
Желает затоптать, пусть топчет...
. . . .
Зоил бранит — поэт не ропчет.

Глава 5

Зачем стихи, зачем не проза?
Зачем не тополь, а береза?
Зачем не лето, а зима —
Не свет, а тьма, и вечно тьма,
Все покрывающая разом:
И тупоумие, и разум,
И честный подвиг, и обман,
И ваш протест, и мой роман?..

Когда стихи журчат и льются
И свежи, как поток лесной,
Или, как черти над водой,
Поют, и воют, и смеются,—
Я вслед за ними уношусь,
И ближе к жизни становлюсь,
И чувствую, что жизнь больная
Мне не чужая, а родная,—
Родная, кровная моя,
Что с ней невольно связан я
То ненавистью, то любовью,
Как чуткий нерв с живою кровью,
Как с морем зыбкая волна
Или как с арфою струна.

Когда богиня песнопений
Не хочет знать моих сомнений,
Когда, свободная, она
Все то, что может, то и смеет,
К тому и льнет, кого жалеет;
Когда, не внемля никому,
Она свои меняет страсти —
Я как дитя у ней во власти...

Я сам не знаю, почему
Она так дорожит Камковым.
(Увы, друзья, таким неновым,
Непоэтическим лицом!)
Иль старое все так же ново?
Иль новое не зрело слово?
Или у вечно молодой
Камены умысел иной?..
Иль эта прихотница хочет,
Пускаясь за героем в путь,
Меня, и вас, и всех надуть?
Или она о том хлопочет,
Чтоб пищу дать моим врагам
И накормить их до упаду?..
Не знаю!.. Зажигаю вновь
Мою вечернюю лампаду
И вновь пою, врагам в усладу,
Камкова и его любовь.

Итак, в назначенные сроки,
А именно по середам
И пятницам (по вечерам),
Он стал княжне давать уроки.
Иных — поверьте, господа,—
Иных девиц учить беда
Тому, кто слишком деликатен.
Камков был вежлив, был приятен,
Уступчив, но и он подчас
Был раздражителен. Не раз
Больная желчь его страдала.
Кому приятно убеждать,
Что дважды два совсем не пять?
Он утомлялся — и, бывало,
С душой измученной спешил
Домой, ложился и хандрил.

Уж я не знаю, оттого ли
Камков взялся княжну учить,
Чтоб и в тисках суровой доли
Не позабыл, не мог забыть
Ту ночь, тот бал, как сон минувший,
Тот образ девушки мелькнувший...
Тот образ ангела без крыл,
Который так его пленил.
Иль мой философ простодушный
Взялся за подвиг оттого,
Что оставалось у него
Довольно времени...
Признаться,
В последнем можно сомневаться.

Начав учить княжну, он был
Так вежлив, что не приступил
К экзамену; нашел, что поздно
Учить грамматике. Серьезно
Он это все сообразил,
Или, подкуплен красотою,
С своею совестью хитрил.

Еще не ведая, не зная,
Насколько милая княжна
И развита, и смышлена,
Он стал учить ее, читая
Любимых авторов своих.
Читая Пушкина, Кольцова,
Он разбирал их каждый стих,
Докапывался до живого,
До сердцевины — и потом
В теорию вплетал картины
Из русской жизни, без затей
Мешая были наших дней
Со временами пугавщины [1].
Он стал беседовать с княжной,
Как будто с очень развитой
Девицей,— и негодованья
На общество, на ложь, на зло
Он не скрывал, и упованья
Свои высказывал (зело

[1] В Москве случалось мне слышать «пугавщина» — вместо *пугачевщина*. (*Примеч. Я. П. Полонского.*)

Он верил, что заря мерцает,
Что грязь местами подсыхает
И что недаром Гоголь нас
Колол не в бровь, а прямо в глаз).
Он говорил не запинаясь
И уж, конечно, не стесняясь...

Меж тем, в глубокой тишине,
Мисс Плэд сидела в стороне
И, свесив локон, наклоняла
Седую голову — читала,
Писала письма иль вязала
Пред лампой с темным колпаком,
Филейным шевеля крючком.

Мисс Плэд — Ларисы гувернантка —
Была отчасти пуританка,
Пять лет в Париже провела,
Перевела трактат о рабстве
И, говорят, сестрою в братстве
Евангелическом была;
Отлично знала по-французски,
Но... трудно говорить по-русски.
По-русски слов до десяти
Она могла произнести.
Когда же слушала Камкова —
Не понимала ни полслова,
Что не мешало ей подчас,
Немного щуря левый глаз,
Поглядывать с недоуменьем,
О чем Камков мой говорит
Княжне с таким одушевленьем
И почему она молчит.

Княжны суровая пугливость,
Задумчивая тишина
Ее лица, неторопливость
Ее движений, глубина
Очей лазурных, молчаливость,
«Да», «нет» и больше ничего —
Все это друга моего
Сначала трогало, и было
Ему *так ново и так мило*,
Потом сомненье вдруг нашло,
Как тень, на бледное чело

Доверчивого педагога.
Однажды — на грядущий сон —
«Уж не глупа ль?» — подумал он.
И думал он об этом много
И долго мучился. «Княжна
Такая странная! кто знает,—
Твердил он,— может быть, она
Меня совсем не понимает,
Но... господи! как хороша!
Мадонна в детских сновиденьях
Рафаэля!.. Что за душа
В глазах, во всех ее движеньях
Какая прелесть!.. Пусть она
Неразвита и не умна...
Зато... и не глупа же очень...»

В одну из пятниц, озабочен
Таким сомненьем: «Нет же, нет! —
Он мысленно себе в ответ
Твердил упрямо,— нет, глазами
Такими тупость не глядит!
Она меня благодарит
И молчаливыми устами,
И этим взглядом. Боже мой!
Как я неправ перед княжной!»
И вот проклятый Мефистофель
(Московский, стало, без затей)
Ему над ухом шепчет: «Эй!
Не слишком вглядывайся в профиль
Княжны загадочной своей.
Ведь это не мечта поэта
И не мадонна, в бездне света
Меж ангелов по облакам
Грядущая, и не Психея
Из мрамора, среди музея
Поставленная знатокам,
Таким, как ты, на удивленье;
Нет, это смертное творенье —
Княжна Таптыгина... Простись
С надеждами — и отвернись!
Ведь ты и чижика под сетью
Держать не станешь; стало быть,
Тебе, мой друг, обуха плетью
Вовеки не перешибить!»

Так бес поддразнивал Камкова,
Он знал, с чего ему начать.
Другое на ухо другого
Он, верно, стал бы напевать.
В аристократку педагога
Влюбить — задача недурна,
Особенно для психолога.
Конечно, швейка и княжна,
Мещаночка и баронесса
Для любознательного беса
Все одинаково равны,
Все для него испечены
Из одного того же теста:
Но — у людей разряды есть,
У всякого свое есть место,
Своя особенная честь,
И надобно, чтоб грех попутал,
Чтоб кто-нибудь все это спутал...

Пусть говорят: «Попутал грех!»
Я, господа, греха не вижу
В том, что люблю и ненавижу,
Кого хочу... Но едкий смех,
Надменный тон, расчеты света,
Мертвящий холод этикета,
Сердец продажных маскарад —
Какой любви не охладят,
Кого не оттолкнут?
Далеко
От шума светского жила
Моя княжна. Она ждала,
Как развлечения, урока...
И тишина была кругом,
Когда Камков являлся в дом.
Сам князь в ту зиму был в отлучке.
Пустым казался бельэтаж,
Когда Камков касался ручки
Звонка. Дверей парадных страж,
Швейцар, являлся без ливреи;
Лакей в душе, как все лакеи,
Почуя носом бедняка,
Глядел немного свысока
И молча принимал Камкова,
Как господина, нанятого
В известный час, в известный день

Тревожить княжескую лень.
И как обычный посетитель,
Шел без доклада мой учитель.
Сперва по лестнице шагал,
Потом через холодный зал,
Покашливая, направлял
Свои шаги он к коридору
Довольно темному, к дверям,
Завешанным ковром,— и там
Встречал застенчивую Лору,
Или Ларису,— у окна
Или у лампы с книгой. Странный
Был взгляд у ней, когда она
Его встречала. Так со сна
Глядит на вас ребенок, рано
Разбуженный и чем-нибудь
Приятно изумленный. Грудь
Прикрывши книжкой, подходила
Она к столу, не говорила
Ни слова и была бледна.
Она к уроку приступала
Как будто к таинству, она
Как будто молча изучала
Камкова. (Мой ученый друг
Стал унывать.) Она молчала,
Молчала три недели — вдруг
Пришла в себя, заговорила,
И так Камкова изумила,
Что он... и руку протянул,
И усмехнулся, и вздохнул
От радости... И боже мой!
С какою милой простотой,
С какой улыбкою приветной,
С какою искренней, заметной
Доверчивостью начала
Она с ним говорить!.. Призналась,
Как в первый раз она боялась
Его прихода; как была
Она тупа и как страдала,
Когда его не понимала.
— Я думала, что на меня
Вы будете кричать,— сказала
Она, ресницы опустя,
С зардевшимся лицом.— Ведь я,
Сказать по правде, бестолкова.

Так, например, что значит слово
«*Сосредоточенность*»?..— Потом
Княжна, чертя карандашом
Какой-то нос в пустой тетрадке,
Сказала: — Не могу смекнуть,
Что значит «*личность*». Брань, нападки?

Или другое что-нибудь? —
Не повторю вам объяснений,
Всех выводов и заключений,
Всего того, что говорил
Герой мой и чему учил:
Нет, вы сочли б за неприличность,
Когда б я стал вам объяснять
В стихах, как надо понимать
«Сосредоточенность» и «личность».
Все это нам давным-давно
Журналами объяснено.

Хоть личностью в толпе безличной
Из нас никто не знаменит,
Но каждый франт иль фат столичный
Вам все на свете объяснит.
Он летом, по дороге с дачи
На дачу весело решит
Все философские задачи,
И, уж конечно, разбранит
Идеалистов. В наше время
Другое выплывает племя —
Не любит слова «идеал».
Ах, это слово!.. это слово
Несчастное чуть дышит —и
Ждет как лекарства от Лаврова
Или от Страхова статьи!
В те дни, напротив, было внове
Оно, и каждый в этом слове
Глубокий смысл подозревал
И философствуя мечтал.
И может быть, княжна мечтала,
Ждала чего-то впереди
И думала, что все возможно...
И сердце в девственной груди
Полнее билось: сон тревожный,
Смыкая очи, не смыкал
Горячих уст... Он рисовал

Не за пределами могилы,
А в жизни — разума и силы
И чести светлый идеал...

Камков ей часто намекал,
Что есть у всякого народа
Святая цель — его свобода.
По-своему он понимал
Свободу. Быть вполне свободным —
Он думал — значило связать
Себя во многом, сочетать
Свой личный идеал с народным.
Так отчего же мой Камков
Не сделался славянофилом?
Друзья! не тратя лишних слов,
Скажу, что бедный мой Камков
Не верил потаенным силам.
«Нет! — часто думал он: — Пока
Наш мужичок без языка,
Славянофильство невозможно,
И преждевременно, и ложно...»

Но что он думал, я писать
Подробно вовсе не намерен;
Я, господа, вполне уверен,
Что из подобных дум создать
Лицо — напрасный труд. Едва ли
И те, которые читали
Его статьи (осьмнадцать лет
Тому назад), воображали,
Что он *лицо*... Полупоэт,
Полуфилософ, часто с видом
Насмешки над самим собой
Он говорил: «Э, боже мой!
Ни разу не вступивши в бой,
Каким гляжу я инвалидом!
Пора на лаврах отдыхать!
На содержанье поступать,
Пора усердно притворяться
Влюбленным в баронессу, стать
Ее собачкой, к ней ласкаться
И перед ней хвостом вилять...»

А баронесса начинала
Не в шутку волноваться; знала
Она, что с ней, но не могла

Понять, что с ним: он стал желтее,
Рассеяннее, холоднее,
Скорей придирчив, чем остер.
«Ужель княжна!.. Нет, это вздор!
Нет, это только под сомненьем
(Уж если я не увлекла!)...»
И баронесса с нетерпеньем
Влюбленной женщины ждала
Развязки...
В мае за границу
Она с собой его звала.
Она звала Камкова в Ниццу,
В Венецию, в Неаполь, в Рим,—
Столицу папы, идиотов —
Попов, натурщиц, патриотов
И мраморных богов. Пред ним
Она хвастливо раскрывала
Большой с рисунками альбом,
Рассказывала, намекала,
Где *можно умереть вдвоем...* [1]
Камков шутил, и бес лукавый
В ней колебал рассудок здравый,
На что уж, кажется, она
Была умна и учена!

В тот день, когда княжна Камкова
Так удивила, уж никак
Не ждал сюрприза он другого.
Домой вернувшись, мой чудак
Нашел записку; распечатал,
Прочел... еще прочел — и спрятал.
Писала женская рука,
Но не по-женски коротка
Была записка. Лаконична,
Насколько можно, и ясна,
Насколько должно. Я отлично
Ее запомнил.
Вот она:

Записка баронессы

«За что вы стали избегать
Друзей? Чудак вы!.. разве честно
Так с женщинами поступать?

[1] Стих А. Н. Майкова. *(Примеч. Я. П. Полонского.)*

Позвольте прямо вам сказать:
То, что изволит вас пугать,
Не может быть для вас нелестно.
Мне ваше сердце неизвестно.
Свое я не хочу скрывать,
К чему скрывать! ведь я страдаю
Не оттого, что я люблю,
А от того, что я не знаю,
Любима ли? Я вас молю
Меня не мучить! Дайте слово,
Что завтра в *десять* вы у нас.
Я для других больна: для вас
Я буду вечером здорова...»

И только!.. Если не считать
За этим точек... Точки эти
Затем и выдуманы в свете,
Чтоб непонятно выражать
Понятное. Блажен, кто может
По ним о счастии гадать,
Кого их тайный смысл тревожит!

И эти точки мой герой
Невольно принял к сердцу близко.
Но откровенная записка —
Увы! не сердце, а покой
Больной души его смутила...

. . . .
. . . .
. . . .
. . . .

И вот, не без душевных слез,
Припал он жаркой головою
К своей подушке, не раздет
И не разут, точь-в-точь поэт,
Неумолимою судьбою
В темницу брошенный, и там,
На жертву крысам и мечтам,
Покинутый...
Свеча горела
И догорала... Он лежал,
Лежал... потом лениво встал,

Разделся... Полночь прогудела
На дальней башне; он задул
Свечу и, наконец, заснул.

Герой мой спит.— Чу! зачиликал
На мокрой кровле воробей:
Не солнце, а весну он кликал.
Заря все шире, все теплей
Вставала... в полдень дождик капал
С дощатых кровель; рыхлый снег
Был смешан с грязью; санный бег
Каменья мостовой царапал;
Колес глубокие следы
Сплывались; не было езды
Ни на санях, ни на колесах.
Весна протягивала посох,
И слышался со всех сторон
В Москве великопостный звон.

Еще довольно было рано,
Чтоб ехать в гости к холостым,
Но мы старушке извиним.
В ворота въехала Ульяна
Ивановна, спеша застать
Камкова, и была серьезно
Удивлена, что он так поздно
Еще изволит почивать.
Она приехала с служанкой,
С своим мешочком и с вязанкой
Баранок.— «А когда ж он встать
Изволит? скоро будет восемь
Часов; мы разбудить попросим».
Пошла кухарка отворять
Скрыпучий ставень. Встал с постели
Герой мой, и глаза протер,
И удивился:
— Неужели
Княгиня?.. где? с которых пор?..
Сейчас оденусь.
— Не сердитесь,
Отец мой: еду из Москвы
Молиться к Троице...— Уж вы
И за меня там помолитесь,—
Сказал он, отворяя дверь.

Она вошла...

— Ну да, конечно,
Мой милый Петр Ильич; теперь
Угоднику поклоны вечно
Я буду класть и за тебя.
— За что ж так долго за меня
Вы будете трудиться? Я
Таких молений недостоин!

— Ну, милый, ты уж будь покоен
На этот счет. Ведь это я
Уладила, что ты уроки
Даешь моей княжне. Была
У родственницы и дала
Твой адрес. Я тебя в пророки
Какие-то произвела:
Сказала... ну, что я сказала,
Про то молчу. Ведь я слыхала,
Какой ты мастер: говоришь
Как книга — и не улетишь
Вслед за тобой, и не поймаешь:
Так высоко ты забираешь!
Недаром ты одну из дам
Приворожил; чуть не свихнула
С ума... ну да! — И по губам
Старушки бледной проскользнула
Усмешка. Впрочем, не кольнуть
Камкова и не намекнуть
Хотелось ей на что-нибудь:
Напротив, бедная хотела
Ему польстить и не умела.

«О! — выслушав ее слова,
Камков подумал.— О, Москва,
Москва!.. (Вчерашнее посланье
Мелькнуло в голове его.)
Неужели твое призванье —
Все знать, не делать ничего
И сплетничать?..»

Совсем иное
Происходило в голове
Старушки, и не о Москве
Напоминало ей больное
В душе местечко! Может быть,
Довольная своим вступленьем,

Она с заметным нетерпеньем
Решилась вдруг его спросить:
— Что дочка? И чему ты учишь?
И скоро ли ее приучишь
Меня за ведьму не считать?
Ведь я люблю ее... я мать!
Камков очнулся. Не с ума ли
Она сошла?.. — Что вы сказали?
Какая ведьма?..—
— Отчего ж,
Когда она меня встречает,
Ее, голубушку, бросает
Всю в лихорадочную дрожь?
Ты ей скажи, я не желаю
Пугать... не подойду... Я знаю,
Как тяжело и страшно ей
Встречаться с матерью своей.
Вот и на днях она каталась
С своей мадамой, и на ней
Был бархатный салопчик; ей
Остановиться б... сильно сжалось
Во мне сердечушко, когда
Она как ветерок промчалась.
И то сказать, прошли года
С тех пор, как я с княжной рассталась!
Тогда еще и трех годков
Ей не было. Отец боялся,
Что я приду за ней: суров
Он был со мной и горьких слез
Моих не слушал. Богу клялся,
Что мне, как собственных ушей,
Не видеть дочери моей...

Княгини голос оборвался.
Камков с усилием молчал.

— Ну вот, он клятву и сдержал!..—
Она с тоской договорила
И с беспокойством поводила
Платком по подбородку...
— Зла
Я не желаю,— начала
Опять княгиня.— Только знаешь,
Какие деются дела
На свете! и не разгадаешь,

Как поступать...
                                    — Что ж было с вами? —
Спросил Камков, моргнув глазами.
— Не вынесла, мой друг. В наш дом
Князь поместил свою Любашу,
Цыганку. Заваривши кашу,
Хотел он скрыть ее — и скрыл!..
И где ж ее он поместил?
С княжною рядом — подле детской!!
«Я няньку нанял,— говорит,—
Привез из слободы немецкой».
Да с этой нянькой и кутит...
Что будешь делать? Я ни слова,
Ни полсловечка... Я взяла
Да и ушла. Ну да, ушла,
В день воскресения христова,
Из церкви прямо, как была,
В нарядном платье, наняла
Карету, да и покатила
Вон из Москвы — да и забыла
Про колыбельку!
                                    — Не могли
Вы поступить иначе — и
Недурно поступили.
                                    — Свято
Я исполняла долг мой... Но
Тут, извини: я виновата.
И не оправдывай!.. Грешно
Мне было в эдаком содоме
Покинуть дочку. Наказал
Меня господь... Всех в нашем доме,
Всех муженек мой разогнал;
И няню... и ее отправил
В деревню; при себе оставил
Двух поваров, да из людей
Каким-то чудом лишь Матвей
Мой уцелел — старик усердный.
Он недоимки собирать
Был послан. Любит куликать,
А, впрочем, честности примерной.
Конечно, в дом меня пускать
И он не смел: за мной следили.
Я знаю, старика водили
В полицию за то, что он,
Вишь, от меня принес поклон

Малютке...

— Как же поступили
С ним полицейские?

— Ну, как!
Известно как — обыкновенно.
— Что ж он?

— Да ничего,— смиренно
Ответила княгиня.— Так
Несчастного и наказали
Из-за меня... С тех пор, мой друг,
Чтоб люди-то не пострадали,
И на меня нашел испуг;
В особенности за Матвея
Мне было тягостно...—

Краснея
До самых, так сказать, бровей,
Хозяин мой внимал своей
Печальной гостье. Ничего-то
Не знал он, хоть и жил в Москве.
В его горячей голове
Был мир иных идей — работа
Ученая... Мой педагог
Никак вообразить не мог
Своей наивной ученицы
В такой среде... среди такой
Житейской грязи. Так царицы
Иль нимфы посреди гнилой
Трясины мы никак не можем
Себе представить.

Но отложим
Фантазию, не утомим
Читателя и сократим
Рассказ княгини.

— Я добиться
Хотела прав своих... мириться
Хотела — гордости своей
Не слушала — и что ж? меня ж
За это обвинили! Даже
И репутации моей
Не стали верить... Он, злодей,
Не пощадил меня нисколько...
«Убью! — кричал...— Попробуй только!»
Вот начала и подрастать
Моя княжна, и стали мать
Ей людоедкой представлять.

Чего уж ей ни говорили,
Чем ни пугали, ни мутили
Рассудка детского!.. При ней
Хороших не было людей.
Еще не знаешь ты, как люди
Жестокосердны. Впрочем, буди
Его святая воля! Все
Перетерплю — и что мое,
То не уйдет. Ушло — вернется,
У бога очередь ведется...

— Но,— перервал ее Камков,—
Положим, трех-пяти годов
Ребенок был напуган вами!

— Ну да, напуган. Он слезами
Меня встречал, рвался из рук,
Головку прятал...
— Уверяю,
Княгиня, если б кто другой
Рассказывал... Но, боже мой!
Я все еще не понимаю:
Ребенок мог бояться вас,
Ну, а теперь?
— Теперь? — не знаю
Отец мой! Только всякий раз,
Когда случайно я встречаю
Мою красавицу,— она,
Как плат, становится бледна,
Ну, словно видеть хладнокровно
Меня не может... ну... ну, словно,
Я враг заклятый. Да и я
Сама к ней подступить не смею:
Что, если оттолкнет меня?..

— А если бросится на шею?
Чего же вы боитесь?
— Нет,
Боюсь я...— был ее ответ.
И бледная старушка стала
Еще бледней. Бог весть о чем
Она потупясь размышляла,
И в этот миг ее черты,
Которые года измяли,
Еще живей напоминали
Остатки прежней красоты;

И вглядываясь, можно было
Узнать в ней мать княжны (в сухом
Цветке мы узнаем с трудом
Его родню, что с ветерком
Весной льет аромат кругом).
И мысль свести их соблазнила
Камкова...
— Я вас помирю,—
Сказал он,— я вам говорю,
Как честный человек.
— Неужто?—
Отозвалась она,— а муж-то
Мой благоверный,— разве он
Допустит!
— Полноте бояться,
Он где-то рыщет.
— Я, признаться,
Сама хотела... Ты поклон
Мой отнеси сначала. Еду
Сегодня к Троице; ну, да
Авось господь пошлет победу
Над сопротивными... Когда
Я ворочусь,— ты ей, мой милый,
Просвирку отнесешь: поверь,
Что это хорошо... Теперь
Прощай пока! —
И заспешила
Старуха — и, перекрестясь,
Уехала.
Десятый час
Был на часах Камкова. Он
Невольно вспомнил вечер. Лег он
На свой диван между двух окон,
И, грустный, вслушивался в звон:
Колокола протяжно пели,
Тянули душу, но не грели.
Одна мечта была тепла,
И та — мучительна была...

Глава 6

Изведано, что хитрость есть
Ум дураков, и несвободных,
Добавлю я: и всех, чья честь
Вращается среди природных

Ее врагов. Врагам же несть
Числа — их больше, чем голодных
Волков в лесу, чем хищных птиц
В степи; что шаг, то и возможность
Сгубить всю жизнь свою... В лисиц
Нас превращает осторожность...
Мы, люди с правилами, так
Искажены, так лицемерим,
Что поневоле только верим
Чистосердечию собак.

Муж баронессы был скорее
Баран, чем волк; но с ним хитрее
Она была, чем с кем-нибудь:
Она не слишком опасалась
Его рогов,— она боялась
Своей изменою кольнуть
Его достоинство баранье,
Утратить все свое влиянье
И быть осмеянной пустой
Великосветскою толпой,
К которой ни по состоянью,
Ни по связям, ни по призванью
Никак принадлежать не мог
Мой благородный педагог.
Но баронессе мало было
Хитрить с бароном: нет, она
Сама с собой осуждена
Была хитрить, и так хитрила
Как никогда...
В условный день
Свиданья долго притворялась
Она поутру спящей: лень
Ей было встать. Она терялась
В своих сомненьях, зарывалась
В подушки... «Вечер все решит!»
Она мечтала.
Люди встали,
Скребли, мели и перестали.
Все думали, хозяйка спит.
А между тем она твердила,
Твердила: «Вечер все решит».
Но вот, одевшись, побранила
Она себя за этот бред
И за вчерашнее посланье

К Камкову.— Кажется, признанья
В ней не было... «Конечно, нет!» —
Лукавый ей шепнул в ответ.

Потом за чаем рассудила
Она, что глупо поступила;
А впрочем, вряд ли он поймет —
В чем дело... Нечего напрасно
Тревожиться, и он прекрасно
Поступит, если не придет.
Да и она его не ждет,
Совсем не ждет и им не бредит:
Напротив, очень может быть,
Что и сама она уедет
На целый вечер. Заложить
Велит двуместную карету
И ко всенощной к Филарету
Отправится. Пускай придет
И не застанет дома... Боже,
Как он рассердится!

«За что же
Вы сердитесь, философ мой!
Могла ль я думать, что решитесь
Вы на свидание со мной?
Нет, вы сперва в меня влюбитесь,
Потом уже... О, вы чудак
Такой, каких на свете мало!
Что за беда, что я не стала
Вас дожидаться? Если так
Вас это сердит,— чем хотите
Я искуплю мою вину...
Желайте, требуйте, ищите —
И я... я вас не обману.
Отбросьте недоразуменья!»

Так в области воображенья
Она беседовала с ним:
Герой был счастлив и — незрим.
Она была боготворима
И так же, как и он, незрима...
Пускай глядят — пусть смотрит сын...
Пусть смотрит муж...
И за обедом
С одним помещиком-соседом

Она кокетничала; вин
Ему заморских предлагала,
Сама в стаканы наливала
И тешилась... пусть ни один
Из них не видит, что там бродит
У ней в мозгу, что происходит
В душе... В смеющихся глазах
У ней темнее было вдвое,
Чем ночью в черных облаках
Иль в омуте на дне. Какое
Намеренье скрывалось в ней,
Когда она своих гостей
Так угощала за обедом —
Кто понял?.. Но с ее соседом,
Едва из-за стола он встал,
Случилось диво: он повесил
Свой красный нос и задремал...
Потом привстал, поклон отвесил,
Потом, чтоб больше не дремать,
В гостиницу поехал — спать.

С утра болтающие гости
Ее терзали. Тайной злости
Полна, она лишь об одном
И думала и говорила
При всех, открыто, за столом,
Что хочет выехать; потом,
Когда она сам-друг осталась
С бароном, вдруг ей показалось,
Что в спину колет, что она
И простудилась, и больна...
Что ей так хочется к графине
Заехать... и... увы! должна
Скучать...
— Ах! — вспомнила она
При муже,— буду по-латыне
Учиться... кажется, звала
Сегодня я Камкова. Зла
Я на него. Да, никакова
В нем такта нет: по четвергам
Зову, зову... дает мне слово —
И надувает! Вечно к нам
Придет не вовремя. Намедни
Пришел поутру; я к обедни
Сбиралась — вечно невпопад!

Такой чудак!
— Ну что ж? я рад! —
Тряхнувши гладенькой головкой,
Сказал барон,— он малый ловкий
И, нечего сказать, учен.
Учен, собака! —
Вот, рассталась
Она с супругом и пошла
В свой будуар. Уже смеркалось:
Заря по окнам пронесла
Огни свои и за гардиной
Куда-то спряталась. В гостиной
Часы пробили девять. Свет
Прощальный в сумерках печальных
Еще кой-где мелькал в зеркальных
Померкших стеклах. В кабинет
К барону лампу осторожно
Пронес лакей, но будуар
Был темен... Щек румяных жар
Не озарял его... тревожно
Она оглядывалась: слух
Ее был напряжен.— Возможно ль,
Чтоб время медленное вдруг
Подкралось к ночи! Не безбожно ль
Оно обманывает нас?
Неужели условный час
Так близок?.. Сдержанно и бурно
Дышала грудь ее... звонок —
И он войдет...
Чу! молоток
Позолоченного Сатурна,
У Гименея не спросясь,
Протяжно, с расстановкой, раз
Ударил... два... и сосчитала
Она удары: десять!.. Встала
И, бледная, пошла к дверям
Передней.
— Ты сегодня в клуб?
— Ну, да, мой друг, конечно, там,—
Сказал барон.
Барон был в шубе
И ждал кареты; кучерам
Был послан нагоняй. Терпенье
В нем лопнуло.— Какой подлец
Закладывает! — в заключенье

Ворчал он под нос. Наконец
К крыльцу карета подкатилась
И в клуб барона увезла.
Жена в переднюю вошла
И на швейцара покосилась;
Но не к швейцару обратилась,
А к камердинеру:
— Позвать
Мне сына.
— Он, никак, изволил
В концерт уехать...
— Кто позволил?
Барон? Как мальчика пускать
В такие лета одного! Спросите,
Кто из людей поехал с ним!
Какая мука!.. Доложите,
Коли придет Камков. Другим
Отказывайте: говорите,
Что я больна и спать легла.—

Сказала, бровью повела —
И вышла. Боги! Нет страданья
Несноснее, как ожиданье
Влюбленных. Тот, кто испытал
Его,— тот медленно глотал
Сок приторный из чаши самой
Противной скуки. Надо быть
Не женщиной, не светской дамой,
Чтоб до конца ее допить
И на другой же день в постелю
Не слечь на целую неделю.

Еще довольно весела
Она была, когда вошла
В свой кабинет. Нашла, что мало
Огня в камине. Набросала
Туда щипцами угольков,
Подумала: «Придет Камков
И что-то скажет?.. Не дождаться
Ему признанья новых слов!
Нет, я вторично унижаться
Не стану. Нет!» — И ей заняться
Хотелось. Спичкою зажгла
Она свечу, достала книжку,
Читать хотела — прилегла

И встала... Вспомнила Амишку,
Свою собачку, и пошла
Ее укладывать, а кстати
Узнать об горничной, об Кате,
Которая вчера слегла
От головной простудной боли.
Ей нужно к икрам привязать
Горчишники. Не худо знать,
Что делается... Словом, все ли
В порядке.
— Боже мой!.. Камков!
Ты, может быть, своих часов
Не заводил — или пропала
Моя записка... или... но
Мне совершенно все равно...—
И баронесса повторяла,
Что никого она не ждет
И ждать не хочет. Пусть придет,
Пусть не придет,— ей дела мало,
Ей все равно!.. Из-за него
Она терзать себя не станет.
Что он такое? ничего!
Плебей, учитель! Вечно занят,
Чтоб хлеб насущный добывать...
Ему ль ценить! Ему ль понять!
И прочее.— Нет, нет! Вернее,
Всего вернее, что Камков
Не заводил своих часов,
И непременно он позднее
Придет... Не получить не мог
Он моего письма... У ног
Моих он выпросит прощенье
И за минуту промедленья,
Не только за десять минут!
А между тем часы бегут.
Заметно исчезают краски
С ее лица, глаза не лгут:
Они горят... Лицо без маски
Омрачено уже такой
Досадою, такой тоской,
Что... если ум с душою бедной
Еще по-прежнему хитрит,
— Ты, баронесса,— говорит
Ей зеркало: — такою бледной,
Такою смутной не была

С тех пор, как сына родила.—
И, покачнувшись, отошла
Она от зеркала, и руки
Скрестила, и опять легла,
И долго вслушивалась в звуки
Иль в гул шагов, колес, саней
На улице... Войди он к ней
Сейчас,— она бы не сумела
Подняться: так оцепенела
Всем телом, так была она
Вся в чуткий слух превращена.
Войди он к ней сейчас,— и в зренье
В такое ж чуткое, как слух,
Она бы превратилась вдруг.
И ни одно его движенье
Не ускользнуло бы: в одно
Неуловимое мгновенье
Все было б понято.
                                        Грешно
Ему так медлить! Как! ужели
Одиннадцать?! Как бой часов
Далеко слышен! Прогудели
Удары... кончено! Камков
Не будет...
                              В залу устремила
Она свой взор — там тьма была,
И в темную она вошла
Гостиную, и показалось
Ей там, что будто помешалась
Она, что бредит наяву —
К невидимому существу
Идет навстречу... Испугалась
Она такой мечты; осталась,
Однако же, впотьмах, потом
К окошку подошла и, лбом
Прижавшись к темной раме, стала
Глядеть на улицу. С угла
От фонарей была светла
Большая улица. Мелькали
То здесь, то там, то вырастали,
То съеживались тени. Вот
Какая-то мамзель идет,
Какой-то кавалер за нею,
Спешит, вытягивает шею —
Картуз клеенчатый блестит

И пропадает... Вон в овчинной
Шубейке баба штоф несет.
Вот едет рысью с пикой длинной
Казак и, может быть, везет
Депеши... Вот и неуклюжий
Фонарщик: с лестницей над лужей,
Должно быть, вздумал помечтать.
Остановился... и опять,
Опять все пусто... Вот из мрака
К столбу фонарному собака
Идет, за ней из-за угла
Другая, третья... и прошла
Собачья свадьба... Раздается
Задорный лай... Что это, сон
Проклятый или жизнь?! А он!..
Он, может быть, теперь смеется,
Иль начал Гегеля читать!
Увы! мечтою не догнать
Того, что в руки не дается!..
Чего ж ты ждешь? Какой любви,
Каких чудес из-под земли?
Поверь, никто в плаще не встанет
С гитарой под окном твоим
И серенады петь не станет!
Тут не Испания, не Рим!

. . . .

И баронесса воротилась
В свой кабинет и ухватилась
За колокольчик... Боже мой!
Какой нервической рукой
Она звонила, дозывалась
Кого-нибудь — и вот уж к ней
Идет по коврикам лакей.
— Кто был у нас? мне показалось,
Что кто-то позвонил?
— Чего-с?
— Кто был за полчаса?
— Никто-с.
— Ступай.—
Теперь пора сознаться,
Что никогда еще она
Так не была оскорблена.
Она хотела засмеяться
И стала плакать... (нежный пол
Красиво плачет). Огоньками

Сверкали на ее ушах
Алмазы; все лицо руками
Она закрыла, и с висков
На локти черными волнами
Сбегали косы... Не Камков
Уж был в уме у ней... Что значит
Камков? И не любовь в ней плачет,
А плачет гордость. Уж дотла
В ней догорела страсть; желанья
Потухли... баронесса зла —
И только!.. Тихие рыданья,
Истерики припадок... Но
Что долго плакать! Уж давно
И спать пора! «Давно ль я стала
Такой нервической? — сказала
Она, и локти отняла
От столика, и подняла
Свечу, и в спальню отворила
Дверь полированную.— Спать
Так спать!» Другую засветила
Она свечу, но раздевать
Себя не кликнула ни Кати,
Ни Дуни; а замечу кстати,
Что баронесса никогда
Сама не раздевалась; это
Событье с нею, господа,
Случилось в первый раз... Ну да
Событье! Впрочем, без корсета
Она была и, стало быть,
Ей не предвиделось большого
Труда себя разоблачить.
К тому же Катя нездорова,
А Дуня спит — к чему будить!
Неторопливо раздевалась
Она и наконец осталась
В одной сорочке. «Боже мой!
Какой, однако же, больной
Кажусь я в зеркале! — уныло
Подумала: — а прошлый год
Я так свежа была!..» И вот
Она вниманье обратила
На томные свои глаза,
На пятна слез (заметно было,
Что по лицу прошла гроза)...
Раздетая она осталась

Перед трюмо; сперва созналась
С невольной грустью, что она
Без платья уж не так стройна,
Как в платье, что на пьедестале
Поставленную, может быть,
Ее не стали бы ценить
И восхищаться бы не стали,
И баронесса начала
Себя осматривать: нашла,
Что плечи пышны, грудь бела
И высока, и руки стройны,
И волосы роскошны, и
Все, все, что нужно для любви
И неги... Но благопристойны
Мы будем и не скажем вам
Всего, что в зеркале предстало
При двух свечах, без покрывала,
Ее заплаканным глазам.
«Дурак Камков!» — она сказала
Почти с презреньем и в сердцах
Задула свечи. Вот впотьмах
Отдернутая занавеска
Опять задернулась, и спать
Легла спокойно баронесса.
Ей тихой ночи пожелать
И мы не прочь: ведь ей досталась
Довольно трудная игра.
Она, несчастная, с утра
Страдала, вдоволь настрадалась,—
Пора заснуть! Но не спалось
Ей, бедной: в жизнь ее былую,
Блистательную, молодую,
Воображенье унеслось
И унесло с собой до слез
Обиженное сердце... Было
Над чем подумать! Но забыла
Она, как ветрено губила
Она сердца, когда была
Моложе. Память говорила
Ей о другом: она плыла
На пароходе за границу;
Была в Милане, как царицу
Ее встречали там: она
Всей тамошнею молодежью,
Как василек шумящей рожью,

С утра была окружена.
За ней ухаживал посланник,
И лорд в гороховом пальто,
И политический изгнанник,
И пламенный артист — и кто,
Кто был тогда ее избранник?
Кто был у ног ее? — Никто
И все до одного!.. И каждый
Из них, томясь ревнивой жаждой,
Готов был жертвовать собой
За миг любви и — боже мой!
Все позабыть, и где ж влюбиться!
В Москве!.. И может это быть?
И может вздор такой присниться?
И кто поверит, что она
Была в Камкова влюблена?
Плебей! учитель! — Нет, Россия!
Еще ты дикая страна!
Невеждами населена,
Медведями! И молодые
Как старики, и старики
Как дети... Можно от тоски
Здесь умереть. Пора в Тоскану,
В Милан, в Венецию. Не стану
Я больше медлить; прощай,
Прощай, Москва! с тобой прощаться
Я рада, только пожелай
Мне никогда не возвращаться.
Конечно, можно кой-кого
Здесь уважать. Литература
Цвесть начинает; я не дура
И понимаю... для чего
Пристрастной быть? — уж за науки
Россия принялась от скуки,
И в этом можно принимать
Участье, но... но — не дышать,
Не жить! Такие-то блуждали
В ней мысли и мешали спать,
И до нее не долетали
Ночные звуки: так она
Была в себя погружена.
Но вот Амишка заворчала,
И баронесса услыхала,
Что кто-то в спальню к ней вошел.
То был барон; он был в халате

И шаркал туфлями; на стол
Ночник поставил и к кровати
Придвинулся.— Ты спишь, друг мой?..—
Бледна, как мрамор гробовой,
Она в подушках чуть дышала.
— Ты спишь? — Она не отвечала
И не хотела отвечать.
— А я хотел тебе сказать,
Что я сегодня двадцать тысяч
Привез из клуба; а тебя
И не разбудишь! — «Если б высечь
Тебя могла я,— про себя
Она подумала,— признаться,
Была б от этого не прочь.
Как жаль, барон, что в эту ночь
Ты не изволил проиграться».
Так, чуть дыша, в объятьях сна
Притворно сладкого, она
Кипела. Видно, притворяться
Ей не наскучило... И он
Не разбудил ее... Барон
Был деликатен. Но закроем
Их ложе пологом: авось,
Соединив их, успокоим
Сердца их, бьющиеся врозь.

И на другой день в праздник (в будни
Для баронессы) ровно в час
Она проснулась пополудни.
Явилась Катя.— Что ты? — Вас
Я разбудить не смела; надо
Вам в магазин; уже давно
Заложена карета.— Но
Я нездорова... впрочем, рада
Я выехать. А какова
Погода?..— Баронесса встала
Усталой, впрочем, голова
Была свежа. И причесала
Ей Катя волосы. Корсет
Уж баронесса надевала,
Когда ей подали пакет
С печатью. Тихо положила
Она письмо на туалет.
Задумалась, но не спросила,
Откуда, от кого? Заныло

В ней сердце. Может быть, Камков
Вчера был очень нездоров,
Не мог приехать? — никакого
И оправданья нет другого.
Но если только умирать
Не вздумал он, я и читать
Не стану! Долго колебалась
Она: назад ли ей послать
Письмо или прочесть? Осталась
Одна и — сорвала печать.

Послание Камкова

«Когда б в условный час свиданья,
Дав волю роковым мечтам,
Прочел я по твоим глазам
О тайнах твоего страданья,—
Клянусь, я б пал к твоим ногам,
И, сердцем нищий, все богатства
Его тебе бы обещал,
Твое бы сердце обокрал,
И совершил бы святотатство.
Клянусь! я б обманул тебя,
Себя, и бога, и природу,
Я б исказил свою свободу
И обладал бы, не любя.
Нет, перед любящей душою,
Перед страданием твоим
Я прохожу, склонясь главою,
Как перед чашею святою,
Глухим отчаяньем томим.
Запуган жизнью, я страдаю,
Когда люблю и не люблю,
Но о прощеньи не молю,
И ничего не принимаю
От тех, которым не даю.
Скажи,— и справедливо будет,
Когда ты скажешь обо мне:
Несчастный! он меня не любит,
А мог бы счастлив быть вполне!..»

И баронесса прочитала
Стихи, и тут же разорвать
Хотела их, но воздержала
Себя от гнева, чтоб опять
Их на досуге прочитать...

Как вам понравились, читатель,
Стихи героя моего?
— Да что, помилуйте! мечтатель! —
Мечтатель, больше ничего!
Писал он искренно, быть может,
Но... но и это не поможет.
В наш век в поэзии смешон
Восторженный какой-то тон...
К чему, прикидываясь птицей,
Парящей в небе, сознавать,
Что не умеем мы летать?
К чему нам язвы врачевать
Какой-то розовой водицей,
Тогда как нужен, может быть,
Нам яд, чтоб вышло все наружу
И кровь очистилась?..— Ну да!
Согласен с вами, господа,
Но — яд глотая, вы на стужу
Не выходите: ревматизм
Получите и в прозаизм
Такой вдадитесь, что микстура
Да пластыри заменят вам
Все, чем могла б литература
Гордиться, жизнь цвести и греть
И двигать вас... Больного
Здоровым мы не назовем,
Но и на суд не позовем
Ничем невинного Камкова.
В те дни, когда он обитал,
Учил, учился и мечтал
И землю бременил,— едва ли
Друзья больным его считали:
Для них служил он образцом
Души и мысли непреклонной.
В среде холодной, дряблой, сонной
Он вырос — но глядел бойцом,
Когда его впервые встретил
Студент Белинский, и Камков,
Быть может, прежде всех заметил
В нем искру божью — и ответил
На первый пыл его идей
Живою дружбою своей...
Белинский долго оставался
К нему пристрастным (господа,
Скажу вам на ухо), тогда...

Наш первый критик восхищался
Стихами друга моего
И даже видел в нем поэта...
Камков, напротив, на него
Нередко нападал за это.
Своих стихов он не ценил;
Когда же Лермонтова скорбный
Раздался голос — он почтил
Свою поэзию надгробной,
Без слез и жалоб... Не упал
Он духом, только раз, угрюмый,
Поник над лермонтовской думой:
«Мы здесь пропущены»,— сказал.

Послание к Камкову одного
из учеников его в 1846 году

Ты был угрюм, но тих и бледен,
Приветлив, но не весел,— беден,
Но в людях счастья не искал;
А я был юноша-мечтатель,
Тщеславный, ветреный искатель
Удач, разгула и похвал.

Душой мельчая с каждым годом,
Тебе внимал я мимоходом;
Со мной ты мало говорил,
Наставник наш красноречивый!
Но и вне школы,— твой пытливый,
Твой светлый взор за мной следил.

Ты выжидал.— Настало время,
Жизнь на меня легла как бремя:
Изныл я от пустых страстей,
От пересудов, пошлых мнений,
От вековых предубеждений,
Не сознавая их цепей.

И я пришел к тебе — невольно
Меня к себе ты влек — и больно
Признаться было мне...— но ты
Не дождался моих признаний:
Ты понял *суть* моих страданий
И обновил мои мечты.

Тебя я слушал, как пророка;
Ты предо мной раскрыл широко
Иную жизнь, учитель мой.

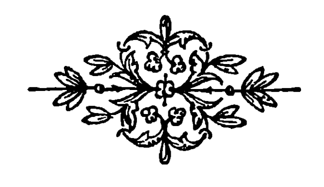
Твой ум сиял — ты смело ставил
Иную цель, свободу славил...
Пылало сердце — факел твой...

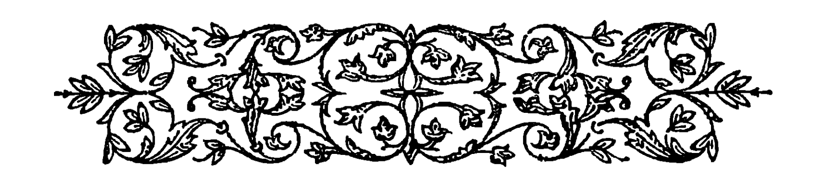
Вникать я стал — и, как туманы,
Редели предо мной обманы
Всех стран земли
И всех веков,
Кумиры падали — народы
Внимали голосу свободы
И выходили из оков.

И вот, в углу для всех сокрытом,
Как ты, я стал космополитом,—
Стал гражданином мировым:
Порою в лес иду, порою
Стою задумчив над рекою,—
Увы! что делать мне с моим
Никем не понятым гражданством?
Здесь, перед рабством и тиранством
Равно я жалок и смешон.
Пишу к тебе средь ночи бурной,
Средь копоти избенки курной,
Буграми снега занесен.

Хозяева мертвецки пьяны,
И тараканы — тараканы...
Средь обитателей степных
Они одни — хоть и трусливы —
Свободны, трезвы и счастливы,
И молча я гляжу на них.

Ползут на грудь, ползут на шею,
И я — я силы не имею
Давить их на моей груди.
Так я гуманен! так доволен
Своим гражданством! но я болен...
Больной пишу — не осуди!





В КОНЦЕ СОРОКОВЫХ ГОДОВ

(Из поэмы «Братья»)

Мечты и веселые проводы

Для юношей-художников все мило —
И розы и крапива; все они
Мечтатели, и сердцу их постыло
Все, что влечет к расчету в наши дни;
Случайными удачами богаты,
Они беспечны, горды, простоваты,
То ненавидят всех, то любят всех,
То восторгаются. Есть исключенья,—
Но мой Игнат отчасти был таков:
То изнывал без веры в провиденье,
То в чудеса поверить был готов.

Порой не выносил он блеска, шума,
Порой балы в собраньях посещал,
Но и тогда томительная дума
Его не покидала: он блуждал
Рассеянно, на ветреные речи
Не отвечал; казалось, новой встречи
Искал глазами; но чего хотел?
Чего искал? — сказать бы не сумел,—
Быть может, взгляда, полного вниманья,
Быть может, лучезарной красоты,
Достойной клятв, мольбы и обожанья,
Быть может, воплощения мечты —
Возвышенной мечты, ему неясной.

Никем любим он не был, несмотря
На то, что юности его, опасной
Для юных дев, румяная заря
Сияла пробуждающим рассветом.
В Москве никто ни лаской, ни приветом
Его немой тоски не разогнал.
Недаром он мечтой перелетал
На дальний юг, за снежные вершины:
«Там,— думал он,— монументальный Рим,
И лавры, и фонтаны, и руины,
И,— бредил он,— там буду я любим...

Там кисть Брюллова молнии с вулкана
Похитила, там Гоголь создавал
Нам типы мертвых душ, там Иоанна
Крестителя Иванов созерцал...
Там,— думал он,— источник вдохновенья...
Туда, туда! Создатель, дай терпенья!
Не выношу я жизни мелочной,
Холодной, грязной, вялой и тупой».
И вот уже отъезд его назначен,
И вот уж брат зовет его кутить.
Игнат мой рад, взволнован, озадачен,
На все готов, всем хочет угодить.

Кутить в Москве неловко показалось
По случаю великопостных дней,
И за город, по их следам, помчалось
Семь троек, семь ямских больших саней.
Минуя Триумфальные ворота,
Летит стремглав веселая забота,
И ночь, и вихрь навстречу ей летят,
На хомутах бубенчики звенят;
Разбрасывая снег, стучат подковы,
Под шапками торчат воротники,
И слышен смех и говор: «Что вы! что вы
Шалите!» — и в ногах лежат кульки.

Ночь белая на них сквозь сон глядела,
При лунном свете падала метель,
И у Игната (видно, кровь кипела)
Распахивалась теплая шинель.
Вот дача: в зале музыка играет,
Нетоплен зал, но это помогает
Гостям резвее быть, вину пьяней.

Всех впереди шумит Алеша: «Гей!»
И множество свечей (местами сальных)
По ломберным столам кругом зажглось,
И, внемля завыванью скрипок бальных,
Слетели с дам салопы: началось!

Тут были две цыганки, две сестрицы,
И Даша, первой молодости цвет,
И Палагея, прямо из больницы
Махнувшая к Алеше на банкет;
Тут доктор медицины был с гитарой
На алой ленте; тут, гуляя с парой
Румяных граций, толстый казначей
Забыл, что он трех взрослых дочерей
Плешивый папенька; тут полицейский
Какой-то шляпку женскую надел;
Студент орал: «Быть иль не быть!», армейский
Корнет играл Офелию и пел...

Все было глупо, шумно и беспечно;
Игнат был в этом мире новичок;
Он, может быть, и тронут был сердечно,
Но предпочел забраться в уголок;
То улыбался он, то брови хмурил,
Какой-то балагур с ним балагурил,
Какой-то литератор под хмельком
Ему шептал с таинственным лицом:
«Ты гений, гений! Верь ты мне, все шансы
На стороне успеха — будем пить...»
Распущенность! в тебе есть диссонансы,
И музыкой их вряд ли заглушить.

И трезвая душа их чутко слышит,
И хочется заплакать ей, когда
Хрипливый смех в лицо ей спиртом дышит
Или разврат, под маскою стыда,
Старается в любви ее уверить.
Как юноша, не мог он лицемерить.
Чтоб позабыться, лишнее он пил
И все-таки был видимо уныл.
Уже пред ним за бешеным канканом
Последовал трепак — гудел, дрожал
Паркетный пол. В азарте полупьяном
Иной плясал, иной рукоплескал.

И под шумок в ту залу проскользнула
Неведомая гостья; на нее
Одна лишь Даша искоса взглянула
И мысленно спросила: «Это чье
Сокровище явилось?..» Гостья, вея
Ночною влагой, как ночная фея,
Попавшая к сатирам на банкет,
Дрожала, и немудрено: паркет
Гудел, трещал, Алеша мчался, топал,
И развевались волосы его,
И «Браво! Браво!» каждый выл и хлопал.
Лишь брат молчал, любуясь на него.

А гостья шла, и зимней ночи холод
Лежал румянцем на ее лице;
Румянец этот был, как утро, молод
И свеж, как роза в свадебном венце;
Прильнувшие к ее кудрям снежинки
Растаяли в алмазы; до косынки,
До самых плеч ее, со всех сторон
Спадали кудри, русые, как лен;
Ее глаза не изменяли цвета —
И при свечах ясна была лазурь,
Лазурь, напоминающая лето
В дни жаркие без пыли и без бурь.

В лиловом платье, с лентой над пробором,
В надорванных перчатках, шла она,
Скользя по лицам неспокойным взором,
И постепенно делалась бледна.
Ее никто не знал; но что за дело
До незнакомых граций там, где смело,
Без всяких рассуждений, всякий мог
Девицу пригласить на вечерок?
В ее чуть подвижных и тонких бровках
Чуть-чуть сквозила... (как бы это вам
Сказать?..) та смелость, что в иных плутовках
Так нравится печальным острякам.

В ней было артистическое что-то,
Какою-то умильной простотой
Прикрытое кокетство иль забота
Владеть другими так же, как собой.
Она была или актриса, или
Одна из тех, которых вы любили

С бессовестной надеждой на успех,
Толкали в грязь и золотили грех
Наследственный наследственным карманом.
Что привело ее на сей банкет?
Боязнь найти измену в друге пьяном
Иль жажда веселиться в двадцать лет?

Игнат не мог не обратить вниманья
На эту гостью. Никого она
Не поражала, но очарованья
Невыразимого была полна.
Она его пронзила томным взглядом,
Прошла, сняла перчатку, села рядом,
С усильем не глядела на него,
Задумалась — бог знает отчего,—
С Алешей, кажется, переглянулась;
Тот молча отошел, шепнул двум-трем:
Студент вздохнул, цыганка улыбнулась,
И гости их оставили вдвоем.

Кто с кем заговорил, уж я не знаю.
Кокетливый, но скромный разговор
На прозу я легко перелагаю;
Но как поймать в размер невинный вздор!
Их разговор, однако же, по счастью,
Стал понемногу проникаться страстью.
К его плечу припавши головой,
Как голубок к стене ему родной,
Она его о чем-то умоляла.
Он долго, долго отвечать не мог;
Но все больней, в чаду и в шуме зала,
Звучал ее певучий голосок.

«Глазам не верю: господи! ужели
Все это бред и больше ничего!..»
И слушал он, ему над ухом пели:
«А помнишь, помнишь, мимо моего
Окна ты шел и я тебе кивала!» —
«Окна! какого?» — «Помнишь, я гуляла
С тобой по маскараду и любить
Клялась...» — «Когда?» — хотел ее спросить
Игнатий, но тревожный ум терялся,
И замирал в устах его вопрос:
Позвали к ужину — он отказался,
И брат ему шампанское принес.

Шампанское! ты страсти убиваешь
У гастронома да у старика,
Но в юности ты пламя раздуваешь
И делаешь пожар из огонька.
Игнат мой пьет и чокается с нею,
И ей клянется, и зовет своею
Возлюбленной, душой души своей,
И плачет, и целует руки ей,
Благодарит ее — весь пыл и трепет,—
За что?! За то, что в жизни в первый раз
Его души коснулся страсти лепет.
Заря любви ужели занялась,

И занялась пред самою разлукой?!
Все, все, о чем безумно он мечтал,
Ужель окончится безумной мукой?
Уж гаснут свечи, бледен дымный зал,
Зари играют золотые струйки
По отпотевшим стеклам; шубы, чуйки,
Салопы разбираются гостьми...
Чу! Тройки скачут. «Где же, черт возьми,
Мои калоши?» — слышен голос сонный.
«Прощай, Игнат!» — И стоя на крыльце,
Как призрак бледный, как дитя влюбленный,
Он утирает слезы на лице.

Стоит с открытой грудью... «Улетела!
И я — не полетел за ней вослед!
Влюблен, люблю,— и никому нет дела!
Любим,— и никакой надежды нет!
Разлуки ночь — в ночь первого свиданья!
За что, за что такое наказанье!»
Алеша мог утешить бы его,
Но сам глядел на брата своего,
Как сильно пьяный, мутными глазами,
И будь он трезв — кто знает? может быть,
Успел бы он двумя-тремя словами
Все рассказать и бездну обнажить...

Уж по снегам, следам ночной метели,
Давно струилась розовая мгла,
Вдали кресты церквей, как пламя, рдели,
И разносили звон колокола.
Они поехали... домой, конечно;
Веселие, как ночь, недолговечно,

Пора им выветрить хмельной угар,
Их дома ждет прислуга, самовар
И чемоданы. Но никто не знает
Своей судьбы, встречая новый день,
И если счастье впереди сияет,
Несчастье следом гонится, как тень.

Навстречу нашим братьям, просыпаясь,
Встает Москва. Их пошевни летят,
Летят. То упираясь, то качаясь,
«Валяй!» — кричит спросонья старший брат,
Игнатий свеж, но нравственно измучен,
Его картуз сердито нахлобучен.
Вот брата обнял он одной рукой
И мысленно прощается с Москвой;
Вот он глядит вдоль серого забора
И видит угол дома своего,—
Но из Москвы он вырвется нескоро,
И дилижанс укатит без него...

Вот (помнил он) визжа, хвостом виляет
Барбоска: няня старая седой
Головушкой с любовью припадает
К его плечу: «Эх ты, кормилец мой,
Всю ночь ждала... Беспутная башка-то,
Как нализался!.. Господи! когда-то
Увижусь я с тобой, дитя мое!
Забудешь, чай! А я твое белье
И платье уложила — все сдается:
И не увидимся — ох-хо, хо-хо!»
Но из Москвы нескоро он урвется,
И дилижанс укатит без него...

Маленькая неприятность

Игнат Москву, конечно, бы покинул —
И, так сказать, уж парус поднят был,—
Как вдруг его ладью шквал на мель кинул
И темною волною окатил.
Игнат уже к отъезду уложился,
Рассеянно на образ помолился,
В последний раз облобызал отца,
Уж ждал его извозчик у крыльца,
Алеша провожать его сбирался

И освежал водой свой сонный лик,
Как вдруг, в передней, сабли стук раздался,
И замелькал жандармский воротник.

И свой арест Игнат мой помнит живо;
Но за него я должен вам сказать,
Что в оны дни никто б не счел за диво,
Что вздумали его арестовать.
То было время — время роковое:
За старый строй, за право крепостное
Дрожа, одни представили себе,
Что на Козихе, или на Трубе,
Того гляди, затеют баррикады;
Других смутил осиротевший трон
Луи-Филиппа. Слухи и тирады
Газетные встревожили наш сон.

Париж кипел, народы волновались,
Одни лишь мы, вне всяких бурь и гроз,
И мыслями и чувствами сливались
Как бы в один бестрепетный колосс.
Святая Русь ни бури той, ни воя
Не слушала, спиной к Европе стоя
(Не все читал в газетах высший свет,
Народ же вовсе не читал газет).
И, вдохновясь бестрепетным колоссом,
Не ради рифм, не ради звучных строф,
Тогда поэт сравнил его с утесом
На рубеже бушующих валов [1].

Поэта бред был многими проверен
С тем, что другие видят наяву;
Утес, как мощный образ, так был верен,
Что умилял и радовал Москву.
(В одном лишь клубе кто-то очень тихо
Заметил: «Рад, что вздули Меттерниха».
Но и такой антиавстрийский дух
В те дни не смел бы радоваться вслух.)
И все-таки нашлись и повлияли
На все дела такие мудрецы,
Что наш колосс от комаров спасали
(То были всё отечества отцы).

---

[1] Но огненный змей преломил свое жало,
И весь невредимый грохочет утес.
Бенедиктов
(Примеч. Я. П. Полонского.)

Был глупый случай (кой-кому желанный).
В одной кофейной кто-то кофе пил
И на полях газеты иностранной
Карандашом три слова начертил
Весьма непозволительного свойства:
В порыве легковерного геройства
Он пожелал, безумец, чтоб Москва
Вдруг сделалась Парижем! Какова
История! В Париже воем воет
Не шквал, а ураган; разбит компас,
Оторван руль; а он гримасу строит
И что же пишет? «Жаль, что не у нас».

И этот кто-то — какова отвага! —
Как и другие, вышел из дверей;
Но так как беспардонная бумага
Выносит все, что ни пиши на ней,
Не он попался, а она попалась —
И — караул! — начальство заметалось —
Пошло писать! — погром и суета! —
Курьеры скачут! Мигом заперта
Кофейня. (Ставни, болты и печати...)
И сам кондитер — где тут рассуждать! —
Ужасно струсил; рад, как благодати,
Что подали надежду взятку взять.

Искали долго — не нашли писаки;
Но тот, кто в это утро кофе пил
В кондитерской, записан в забияки,
И даже тот подозреваем был,
Кто карандаш с собой носил в кармане;
Какого-то враля поймали в бане.
Москва разахалась,— и наш Игнат
Попал не в дилижанс, а в каземат.
В то утро, как свершилось *преступленье*,
Он — донесли — кофейню посещал,
Купил себе какого-то варенья
И, уходя, кондитеру сказал:

«Я еду в Рим, у вас родных там нет ли?
Я отвезу, пожалуй, коробок».
Из этих слов сплели такие петли,
Что мой герой, как чиж, попал в силок.
Его в кофейной знали как артиста
И не могли принять за афериста,

И, стало быть, смекнули, что при нем
Был карандаш с готовым острием.
Кого ж и взять? Игнатий растерялся,
Клялся, божился, честью уверял,
Ну, словом, как преступник, запирался,
Но тайный суд его не выпускал.

Пока Алеша по Москве метался,
Расспрашивал, куда девался брат,
Да в разных канцеляриях справлялся,
Да кланялся властям — увы! — Игнат,
Не уличенный, но приговоренный,
Лишь мог в окно глядеть на двор казенный,
На стойло для курьерских лошадей,
На караульню да на голубей,
Слетавших с кровли на помост дощатый...
Мог от порога до стола шагать,
Мог, наконец, к подушке на примятый
Матрац прилечь да с горя задремать.

Вот все, что мог на первый раз Игнатий!
Судьбу свою он проклинал иль нет,—
Не знаю, не слыхал его проклятий;
Но не без ужаса на божий свет
Взглянул Игнат. Москву возненавидел,
Был раздражен, суду конца не видел,
Просил пера, чернил, хотел писать...
Боялся свой рассудок потерять...
Подняв окно, протягивал он руки
На вольный воздух и не раз сжимал
Холодную решетку, словно муки
Своей души железу поверял.

Он испытал допросы, рук сличенья
И ласки те, в которых слышен был
Намек и на возможность снисхожденья
И на возможность петли. Он забыл
Все это. Так мы часто забываем
Наш кошемар, когда встаем и знаем,
Что незачем трудиться объяснять,
Как это мы не в силах были встать,
Придавленные призраком к постели;
Но помнил он, как пламенно ждала
Его душа свободы, как летели
Часы и дни, как наконец пришла

Ночь светлого Христова воскресенья.
В Кремле Иван Великий загудел.
Игнат не спал — смирял свои сомненья,
Молился; но все тот же мрак глядел
Из-за решеток в мутные окошки;
Казенный двор не озаряли плошки;
Торжественно лился полночный звон,
И долго, долго лежа слушал он,
Как колебались эти волны гула,
И в то же время слушал, как прошли
Солдатики на смену караула —
То были звуки неба и земли...

Прошла святая, наступило лето,
И стал он чувствовать, что за окном
Железная решетка разогрета
Уже не им, а солнечным лучом.
А дело шло, неслышно разъяснялось,
И узнику, должно быть, улыбалось...
Ему позволили читать, писать
И от родных посылки получать.
Записки от Алеши присылались
Не иначе, как в нитяных носках,
Они его сердечных тайн касались,
И он читал их не при сторожах.

Впервые был он откровенен с братом
И «кто *она*?» в письме его спросил.
Увы! Злой рок смеялся над Игнатом,
Мечтателя он в нем не пощадил.
Брат отвечал, и вот что, между прочим,
Писал ему:
«Мы о тебе хлопочем,
Отец угрюм, я трачусь — толку нет;
Но ты желаешь знать, кто твой *предмет?*
Ты это от меня сейчас узнаешь...
Затеявши пикник, чтоб покутить,
Смекнул я, что ты в карты не играешь,
Бракуешь граций и не мастер пить.

Итак, чтоб не заснул ты на прощанье,
Я для тебя Раису пригласил —
Погибшее, но милое созданье,
Которое когда-то я любил.

В своем кругу она аристократка,
Затеи любит и не без задатка
Быть некогда принцессой: ибо в ней
Сидит бесенок и толкует ей
С утра до вечера, как нарядиться:
Роскошно или бедно, что сказать,
С кем пококетничать, в кого влюбиться,
Чем кончить день, зевать иль не зевать?

Я пригласил, Раиса не сказала
Ни «да», ни «нет», и вот, любезный брат,
Чтоб все мое старанье не пропало,
Я вздумал с ней побиться об заклад.
И знаешь ли, о чем я с ней побился?
Что ты в нее никак бы не влюбился
И что изящный вкус твой так развит,
Что надо быть богинею на вид,
Чтоб сразу заслужить твое вниманье.
Брани меня, голубчик, виноват,
Я подзадорил милое созданье.
— Приеду,— говорит,— а в чем заклад?..

— Фунт шоколаду.— Хорошо, приеду! —
И, черт возьми! чего не ожидал:
В метель примчалась одержать победу!..
И я фунт шоколаду проиграл.
Правдивая душа! Я понимаю,
Что я тебя немножко огорчаю,
Но ты меня, душа, не огорчай,
Люби ее, да только не страдай.
Она теперь с откупщиком в союзе,
Наивная и скромная на вид,
Я видел сам, в широкой ходит блузе
И за двоих имеет аппетит.

Не спорю, брат, изящная Раиса
Прелестна, как сто двадцать пять чертей!
Теперь она на даче. Из Тифлиса
Чудак один волочится за ней —
Тот самый, что на днях одной сильфиде
Мороженую кошку, в трезвом виде,
На сцену бросил; я б расцеловал
Его за это одолженье...»
Так писал
Алеша к брату. Мой Игнат смеялся,

Но горьким смехом, и когда в ответ
Писал к Алеше, сильно выражался,
Как ложью возмущаемый поэт.

В те дни одна поэзия спасала
От пустоты и пошлости — она
Одна кой-что внушала, врачевала,
Хоть и сама подчас была больна.
Ее болезненные вдохновенья
Пророчили нам дни выздоровленья,
И каждый сразу понимать привык
Ее метафорический язык.
Никто не разумел под словом «лира»
Какой-то инструмент, а просто строй,
Известный, строй души. Еще сатира
Не думала глумиться над душой...

Теперь рассудка мелочной анализ
Мы применили к языку страстей.
Мы поняли, что глупо выражались.
Погасни, сердце! Лирою моей
Не дорожу. Коли не нужно, к черту!
Но узник мой, принадлежавший к сорту
Художников, был юн и одарен
Живым воображеньем; вот как он
Писал к Алеше:
«Брат, отбрось сомненье!
Любовь моя мертва, погребена,
Отпета... но, как злое привиденье,
Преследует в минуты полусна...

Искал я вверх идущие ступени,
Грядущий образ истины, и что ж?!
Средь праздной роскоши, тоски — и лени
Тот ангелоподобный образ — ложь!
Ты тешишься, а я изныл от боли,
Не хлопочи, я рад моей неволе...
К чему свобода!..»
Так писал Игнат.
И это сущий вздор, чтоб он был рад
Неволе; но душевное расстройство
И в прозе выражается темно:
Что делать! у страстей такое свойство,
Таков язык,— и это ли смешно?

Смеялся ль я, когда встречал в журнальной
Полемике горячие места?
Смешон ли ты, поэта враг реальный,
Наш публицист, когда твои уста
В пылу себялюбивых вдохновений
Полны чудесных олицетворений,
Когда *«лукошки»*, *«мошки»* и *«стрижи»*
Так и мелькают? Тут холодной лжи
Нет ни на каплю, мелочное чувство
Так горячо, что *образно звучит:*
Ликуй, лиризм! журнальное искусство
Язвить врага с тобой вошло в зенит.

Прошел июнь, июль. Игнат обжился
В своих стенах, освоился, притих,
Кой с кем из полицейских подружился
И доставал при этом кучу книг:
Прочел Ламне, Капфига, Луи Блана,
Фурье, Токвиля, Сю два-три романа,
Да запрещенных несколько брошюр,—
Соль политических карикатур
Стал ощущать: события в Париже
Впервые уяснились перед ним,
В своей тюрьме он стал к Европе ближе,
Чем дома; но мы это поясним.

К Игнату был приставлен полицейский,
По части наблюдений; хоть и брал
Он взятки, но такой уж такт житейский
Был у него, что многим угождал.
По чуткости и сметливости гений,
Из разных под рукою послаблений
Он мигом догадался, что Игнат
Окажется совсем не виноват,
И заключил, что надо приласкаться;
«Э! — думал: — мастер виды малевать...
Из дружбы даром должен постараться
С моей жены портретик написать».

Он разные любовные интрижки
Рассказывал Игнату, чай с ним пил
И от своей жены в карманах книжки
Французские тихонько проносил
(То были всё отобранные где-то
И у кого-то). Миновало лето,

Настала осень, и в один сырой,
Холодный день мой узник и герой
Почувствовал, что весь он на свободе,
С руками и ногами,— и,
Счастливейшее существо в природе,
Бежал, не слыша под собой земли.

Нашелся ли наивный сочинитель
Трех глупых слов и праведный закон
Достиг ли цели, яко охранитель,—
Не знаю, но Игнатий был *прощен*.
Какие думы или впечатленья
Он вынес в голове из заточенья
(С весны до сентября) или каких
Идей понабрался из разных книг? —
Не знаю, но домой он воротился
Уже не тот... не вешал головы,
Когда старик отец его сердился
И говорил: «Попался! из Москвы

Не выпущу».— «Уеду!» — возражал он.
Спешил работать, в моду стал входить,
Уже Москва-старушка,— замечал он,—
Ему, как внучку, стала ворожить:
Таинственно соседка улыбалась,
Девицы встреч искали, собиралась
Атаковать его со всех сторон
Любовь эманципированных жен,
И недруги и други руку жали,
Как будто он их чем-то одолжил:
«Сидел, несчастный! — всюду повторяли.—
Чуть-чуть было в Сибирь не угодил!»

О публика! как часто ты любила,
Прислушиваясь к музыке оков,
Творить героев; ты производила
Не раз в герои даже пошляков,
По глупости добившихся скандала!
Как истинных в тебе героев мало!
Игнат скандала вовсе не желал,
Нечаянно в герои он попал,
Не оттого ль, что горя иль страданья
Случайного фальшивый ореол
Нам озаряет темные преданья
О каждом, кто на смерть за правду шел?

Так иногда напоминают стразы
Блеск настоящих бриллиантов. Так,
В отсутствии идей, иные фразы,
Которых искры наполняют мрак,
Обманывают нас и увлекают
Не тем ли, что иным напоминают
Могучий свет действительных идей,
Когда-то разбудивших нас? «Скорей,
Скорей на Запад! — полный увлеченья
Наивного, твердил Игнат.— Туда!
«Dahin! dahin...» — стремился он — стремленье,
Понятное в те юные года!

Успехи

Чтоб не вводить в соблазн свой околодок
И чтоб врагом порядка не прослыть,
Игнат стал брить усы и подбородок
(Квартальный посоветовал их брить):
Подозревая тайную опеку,
Он вел себя, как надо человеку
Себя вести, когда за ним следят;
Быть может, ошибался мой Игнат,
Но это положило отпечаток
На все его поступки... Никогда
До этого он не носил перчаток —
Теперь без них почти что никуда.

«Артист Илюшин! это что за птица?» —
Подумала одна графиня Z (зет),
Известная в московском свете львица,
И заказала юноше портрет.
«А-а! какая кисть! какая сила!» —
Пришла в восторг и смело посулила
Игнату к ноябрю добыть паспорт.
Она была влиятельна, как черт,
Добра, как ангел; но не полагался
На милые слова ее Игнат
И, как разочарованный, казался
В ее глазах немножко простоват.

Графиня Z Игнату в высшем свете
Хотела случай выискать; а он
В гостиной нем был, скучен в кабинете,

И явно не для света был рожден;
Он знал, что принят в качестве артиста,
Который чертит бойко, пишет чисто,
Что если сунуть под руку ему
Альбом, он не уступит никому,
Усядется в сторонке, злой, серьезный,
И выйдет у него из-под руки
Какой-нибудь рисунок грациозный:
«Головка нимфы», «бережок реки»

И прочее. Графиня Z желала,
Чтоб он кончал как можно поскорей
С нее портрет. Она воображала,
Что юноша неравнодушен к ней,
Что несомненно в нем таится страстность,
И, стало быть, предвидится опасность.
А между тем — открою вам секрет —
Графине было с лишком тридцать лет,
Что не мешало ей, хоть для портрета,
Хоть в сумерки, казаться молодой,
И грудь у ней дышала зноем лета;
На всем лежал тончайший пудры слой.

Глаза горели, или так казалось,
Когда в лицо ей падал полусвет.
Игнат писал, графиня рисовалась —
И выходил прелестнейший портрет!
Но с полотна какой-то бледной Нормы
Сияли строго девственные формы.
Игнат краснел: как ни была мила
Графиня, кисть отчаянно лгала...
Он знал ее по слухам, был послушен
Ее причудам, как усердный паж,
Но втайне был глубоко равнодушен,
И в голову не приходила блажь...

Вот, помнит он, отец его в халате
Глядит в окно и крестится, звонят
К вечерне, он, о загулявшем брате
Горюя, зябнет... в коридоре спят
Старуха няня, на старухе кошка;
В гостиной мачеха — она немножко
Посоловела и порасползлась —
Гадает в карты. На подносе квас...

И пахнет мятой. Мерно в ту же ноту
Постукивает маятник, на всем
Лежит покой, на все свою дремоту
Кладет тоска, и тих семейный дом.

Но, чу!.. звонок!.. и вот покой нарушен...
Кто там? — Курьер с пакетом.
— Что за вздор!
Какой курьер?! — кричит старик Илюшин.
Игнат встревожен (с некоторых пор
Все, все его волнует).— Вы откуда?
— С пакетом от графини.— Что за чудо!..
Неужели мой паспорт?! Боже мой!
Сейчас! сейчас! — Кто это за тобой?..—
Ворчит отец, но сын его не слышит,
Он прочитать спешит наедине
Заветное письмо. Графиня пишет:
«Надеюсь, вы заедете ко мне...»

Так наши дамы часто сами любят
Похлопотать, замолвить за того,
Кого они, по всем приметам, губят
Во славу эгоизма своего.
Графиня Z в Игнате не нуждалась,
Но у нее, конечно б, сердце сжалось,
Когда б Игнат, хоть он и не был князь
Иль знатный франт, уехал не простясь.
Ей было б очень грустно усомниться
В его любви, и потому Игнат
Был должен непременно с ней проститься,
Чему он был, конечно, очень рад.

«Несчастный! — думала аристократка.—
Забудь меня!» И, не платя долгов
По разным векселям, как меценатка
За несколько альбомных пустяков
Да за портрет с Игнатом расплатилась
Чуть не по-царски. Настежь отворилась
Дверь за границу, крылья отросли,
Кругом туман, сияние вдали.
При деньгах как-то легче верить в славу,
Чем верить в бескорыстную любовь.
— Прощай, Москва! — А по какому праву? —
Спросил отец, приподнимая бровь.

И в спальню он ушел, где к половице
Привинчен был железный сундучок,
Сел на кровать, и на его реснице
Слеза повисла. Удружил сынок!..
Зашиб себе копейку, знать не хочет,
Что о его куске отец хлопочет,
И даже не стыдится ремесла!
Хорош сынок!.. И грусть его взяла...
А мачеха Игнату на дорогу
Купила валенки, достала погребок,
Стаканы, ложки... «Так угодно богу»,—
Решил старик и отпер сундучок.

Алеша незаметно пристрастился
К Игнату, он не мог не унывать,
На старый долг свой брату молча злился
И пьяный возвращался ночевать.
Не много дней Игнату оставалось
Прожить в Москве, и эта жизнь слагалась
Так хорошо, так искренно тепло,
Что даже он подумал: в чем же зло?
Казалось, все добра ему желали;
Казалось, все заботились о нем,
Любили, верили ему, ласкали
И с грустью озирался он кругом.

Товарищи по школе учинили
Подписку и затеяли обед,
И на обед прощальный пригласили
Поборников искусства прошлых лет.
Все пили за здоровие Игната,
Все целовали и его и брата,
И Рамазанов весело острил,
И Щепкин анекдоты говорил,
Ну, словом, пообедали отлично.
Когда ж Игнат сошел на тротуар,
Двоились фонари и фантастично
На всю Москву ночной ложился пар.

У Иверской, как бы в дыму, лампады
Мерцали, тени двигались; колес
Неровный гул катился; у ограды
Шарманка пела; у фонтана пес
Сидел и выл, и свет белесоватый,
От башни к башне, по стене зубчатой

Скользил, и теплились в лучах луны
Шпили и кровли; около стены
Деревья, вея осенью, шептались,
И чудилось Игнату, что они,
Оборванные ветром, с ним прощались
На долгие, неведомые дни!..

И помнит он, куранты заиграли,
Пронесся звон, и раз, и два, и три...
Тот самый звон, которому внимали
И схимники и грозные цари.
Он вздрогнул от неведомого чувства,
И никакое тонкое искусство
Не передаст вам страшной тонины,
Той девственной, сердечной той струны,
Которой не затрогивают страсти,
В последний раз услышав этот звон,
Игнат подумал: знать, не в нашей власти
Ни тайное предчувствие, ни сон.

Луна была уж в облаке, как в дыме,
И звездный пар кружился над землей.
— Послушай, брат Алеша, если в Риме
Иль на дороге что-нибудь со мной
Случится, ты из моего наследства
Во имя дружбы, нас связавшей с детства,
Хоть часть отдай на школу... да найди
Скульптора Ванина и огради
От нищеты, чтоб с горя он не запил...
«Молчи! — сказал Алеша.— Бог с тобой!..»
И обнял брата (иначе, облапил),
И так они в ту ночь пошли домой.

Еще, еще одно воспоминанье:
Уж он совсем собрался в путь, как вдруг
Какой-то франт принес ему посланье
От ветреной Раисы: «Милый друг! —
Писала эта девушка к Игнату,—
Я вас хочу просить, не верьте брату.
Я вовсе не хотела вас надуть.
Назначьте мне свиданье где-нибудь...»
Пленительной Раисы образ снова
В его воображенье промелькнул,
Но «уже поздно!» — молвил он сурово
И чемодан ремнями затянул.

Вот сели все, вот начали прощаться.
Отец — honni soit qui mal y pense [1],—
Отец рыдал, а сын спешил убраться —
Он прозевать боялся дилижанс.
Чего-то жаль! — он думал,— не домашних,
Не стен, не друга, не своих всегдашних
Забот, привычек, даже не *ее*;
Но что-то жаль, и в этом *что-то* — всё.
И много дней потом прошло, и много
Он думал про себя, про брата, про отца,
И скоро ли граница; но дорога
Шоссейная казалась без конца...

Дорога

Хоть он глядел привычными глазами
На бедную безграмотную Русь,
Но за его дорожными мечтами
И думами следить я не берусь;
Он выехал в такое время года,
Так хмурилась осенняя погода,
Что наводила сон или хандру.
Туманы расстилались поутру,
Потом всплывали тучи, моросило,
Потом морозило, потом заря
В прогалины густых лесов сквозила
И освещала слезы ноября.

Порою были светлые мгновенья,
Как для природы, так и для него,
И эти блестки, эти впечатленья
Еще мелькают в памяти его.
Он видел Киев — колыбель той веры,
Которая, воздвигнув Кремль, прошла
На отдаленный север и спасла
Всю Русь от папы и от Магомета.
Украйна посреди своих садов
Ему сквозь осень улыбнулась; где-то
Он угощал *горилкой* чумаков;

О Наливайке, о казацкой доле
Он где-то слушал песню кобзаря.
И сам мечтал все о какой-то воле,

---

[1] Позор тому, кто это дурно истолкует *(фр.)*.

И думал — с запада встает заря
(Не знал он, что славянские пророки
Зарю встречать привыкли на востоке)...

И двигался на запад.
Киев-град,
Волынь, Варшава, все ушло назад...
Уж по дороге русского не слышит
Он говора, уже ямщик — поляк,
Кондуктор — немец, ночь теплее дышит;
Но нет луны... земли не видно... мрак.

И помнит он, как в этом мраке стали
Усталые глаза его встречать
Какие-то огни... они играли.
Качались, поднимались и опять
Кувыркались. То телеграфы были [1],
И ум его впотьмах они дразнили:
Условные огни во все концы
Переносили вести, все дворцы
Их ожидали с жадным нетерпеньем;
А он дремал, глядел, опять дремал,
Хотел понять их и воображаньем
Газетные известья дополнял.

Недель пять-шесть Игнат мой был в дороге
(Уж он теперь границу миновал),
Был постоянно в нравственной тревоге,
Но к умственной свободе привыкал,
В политике он бы недальнозорок,
Но понимал, что наступивший срок
Девятый — бурями чреватый год,
Что Франция по-прежнему поет,
Назло бонапартистам, Марсельезу,
Италия шумит, Берлин — и тот,
Раздвинув политическую прессу,
Не устает *дрессировать* народ,

В гостиницах, где жить ему случалось,
Кокетничали Zimmermädchen [2] с ним.
Одна из них, Луиза, добивалась,

---

[1] Электрических телеграфов в России еще не было. *(Примеч. Я. П. Полонского.)*
[2] Горничные *(нем.)*.

Чтоб он увез ее с собою в Рим.
Но не желая в Рим везти Луизы,
Игнат ее довез до ближней мызы
И с ней простился: в Дрезден он спешил,
Где ждал его один славянофил.
Сикстинская *Мадонна* Рафаэля
Художника глубоко потрясла.
Так в Дрездене прошла одна неделя,
Другая в Праге, третья унесла
В Тироль, туда, где каменные горы,
Блестящие снега по высотам,
Титанами воздвигнутые хоры,
Где вопли бури вторят голосам
Ревущих водопадов, где порою
Такой эфирной веет тишиною,
Что слышны далеко звонки коров,
Пасущихся в соседстве облаков,
Где в январе нередко засыпает
Дороги снегом; там Игнат ходил
С проводниками, но куда? бог знает,
Он дневника не вел, а я забыл.

Одно скажу: лицом к лицу с природой
Он отдохнул от разных встреч. Тогда
Бранить Россию было общей модой.
(Пройдет ли эта мода, господа?)
«Вы, вы враги свободы и прогресса!
Вы варвары!» — так голосила пресса,
И ей везде сочувствовал народ
За наш последний в Венгрию поход;
И Австрии мы тем не угодили...
И много раз несчастный наш Игнат
Чуть не вопил, когда его язвили:
«Да я-то, я-то чем тут виноват!..»

Патриотизм его был без защиты,
Он, так сказать, был в сердце поражен.
Но снова зацвели его ланиты,
И телом и душой воскреснул он,
Когда в горах, один, в часы свободы,
Играл с детьми или писал с природы.
Железных много строилось дорог,
Но не везде по ним летать он мог,
И только в марте перед ним открылась

Италии смеющаяся даль.
Италия! она уже рядилась
В весенние гирлянды, цвел миндаль.

Цвели оливы, персики, и розы
Благоухали, и, свои узлы
И нити перебрасывая, лозы
Вились по белым стенкам, и теплы
Те были ветры, что сады качали;
И ящерицы резвые взбегали
На камни, яркой зеленью своей
Почти не отличаясь от плющей.
Флоренция, иль нет, всего вернее
Венера Медицейская, слегка
Склоня свой стан, как бы стыдясь и млея,
Ждала его к себе издалека.

Божественно-кокетливое тело
Недаром жило сотни две веков,
И хоть оно заметно потемнело
От ревности аскетов, от следов
Бесчинства и царапин, все же было
Богини тело и не позабыло,
Какой пред ним курился фимиам,
Когда народы верили богам.
И что же! (говорю без всяких шуток)
Игнат сию богиню созерцал
Довольно равнодушно трое суток
И Форнарину ей предпочитал.

Но иначе взглянул через неделю,
Он в ней постиг всю грацию стыда
И стал смекать, что даже Рафаэлю
Могла б она присниться иногда.
Потом Игнат взялся за диалоги,
А как произносить слова и слоги
По-итальянски, спрашивал порой
Он у одной певицы молодой,
Свое гнездо покинувшей в Милане:
Погром австрийский разгонял певцов;
Так хищной птицы крик в ночном тумане
Из гнезд выпугивает соловьев.

И мирное туристов настроенье
Нарушилось. В крови дымясь, Милан
Напрасно вопиял: vendetta! мщенье!

Италия изнемогла от ран.
В одних соборах панихиды пели,
В других — молебны, патеры скорбели:
Народ приказывал молиться им,
А папа запрещал молиться. Рим
Свои победы праздновал без боя.
А Карл-Альберт, Сардинии король,
Уже в надорванном венке героя
Доигрывал трагическую роль.

Игнат все лето мог бы оставаться
Над Арно, в обществе знакомых, но
Взяла бессонница, и в Рим пробраться
К началу мая было решено.
Как этот Рим, средневековый, папский,
Сойдет с пути и как из жизни рабской
Народный, новый Рим начнет вставать,—
Не он один хотел бы наблюдать.
Так иногда, во время извержений
Везувия, к Неаполю спешит
Иной искатель сильных ощущений
И думает: чудесный будет вид!..

До сей поры Игнат грустил, влюблялся,
Дружился, потешал себя, хандрил,
Таил свои надежды, колебался;
До сей поры он личной жизнью жил,
Для счастья тихого, я в том уверен,
Ему судьбой был тесный круг отмерен,—
Теперь куда! наивный мой герой
Спешит верхом за конною толпой!
Зачем вооружен, пуглив и мрачен?!
Игнат мой, очевидно невзначай,
Волною исторической захвачен...
Уж близок Рим! Аркадия, прощай!

Новизна впечатлений

Чтоб описать затеи карнавала,
Вдоль Корсо бег невзнузданных коней
Иль женщин веющие покрывала
При зареве бесчисленных огней,
В ту ночь, когда народ снимает маски —
Я на мою палитру мог бы краски

Заимствовать у многих — я и сам,
Во дни моей весны тревожной, там
В одну неделю сотни три букетов
По окнам и балконам разбросал,
И знаю — для фантазии поэтов
Дает немало римский карнавал.

Но описать Рим, словно чародейством
В республику преображенный, Рим —
И папою, и всем его лакейством
Покинутый, Рим — знаменем своим
Луи-Наполеона испугавший,
Рим — бедный, беззащитный и поднявший
Вдруг три перчатки, брошенных ему
Тремя державами, Рим — никому
Без боя прав своих не уступивший,—
Где краски?! И споет ли голос мой,
Давным-давно на севере охрипший,
Тот гимн — увы! для Рима роковой...

Тот гимн, что протекал под знаменами
И заглушал гул тысячи шагов,
Звуча, как море, мерными волнами
Его поющих, страстных голосов,—
Гимн, льющийся из потрясенной груди
Взволнованной толпы, в которой люди —
Все братья, все одной родной семьи
Проснувшиеся дети,— гимн любви
Торжественной и ненависти львиной
К тому, кто ходит в стадо похищать
Овец, как волк, прикрывшийся овчиной,
Иль в пастыря переодетый тать.

Не без труда Игнат мой в Рим пробрался:
Когда же он услышал в первый раз
Народ поющий — побледнел, прижался
К чужим воротам, потекли из глаз
Невольные, неведомые слезы,—
И никакие творческие грезы
Так отозваться не могли бы в нем,
Как это пенье — этот божий гром
В устах народа. Так во храм Софии,
Когда в него язычника ввели,—
Он содрогнулся, в пеньи литургии
Почуявши спасителя земли.

Игнат мой в Риме вел себя как скромный,
Из темного угла, провинциал,
Нечаянно попавший в зал огромный
При ярком освещении на бал.
Он чувствовал неловкость положенья —
Не знал, что́ делать: вера, страх, сомненье,
Восторги — все перемешалось в нем.
Не мог он, забирая свой альбом
И уходя с квартиры утром рано,
Сказать, что жив воротится домой;
Везде он видел скрытого тирана,
Готового спросить: кто ты такой?

Австриец ты? поляк? иль их подобье?
Зачем приехал и куда идешь?!
Уже не раз глазами исподлобья
За ним следила чернь — как острый нож,
Ему в глаза сверкали эти взгляды,
И одинокий, часто без отрады,
Входил он в храм Петра — и храм порой
Был так громадно пуст, глядел такой
Могилою величия, что, право,
Казалось, жизнь оцепенела там —
Орган молчал, и тенью величавой
Скользила смерть по мраморным плитам.

На лестнице, ведущей в галерею,
Сидела стража — и была пуста
Истоптанная лестница, над нею,
При входе, надпись шла: «Proprietà
Della republika» [1]. Она спасала —
Та надпись — все, что только прикрывала;
Дворцы Боргезе, Дориа (князей,
Из Рима убежавших) только в ней
Нашли свою защиту. Чернь щадила
Их древнее богатство — лето шло
Без грабежей: толпой руководило
Презренье к роскоши — врагам назло.

Рим беден был; но жизнь текла богато;
Игнат мой был приятно поражен
Всеобщей дешевизной — у Игната
Хозяином был гробовщик,— и он

[1] Собственность республики (*итал.*).

Платил ему за комнату, за солнце
И мастерскую в месяц два червонца
(За ту же плату, он и сам не знал,
Кто без него квартиру убирал);
«С тех пор, как Пий, отец наш, уезжая
Из Рима, всех нас к дьяволу послал,
Ни одного нет в Риме негодяя,
И все подешевело»,— уверял

Хозяин дома; — целый день, бывало,
Он в лавочке то скоблит, то сверлит;
Но спешная работа не мешала
Ему порой принять веселый вид —
Соседа подозвать, мигнувши глазом,
Похвастаться, что он почтен заказом
Правительства, что это для него,
Гробовщика, приятнее всего,—
Уже с утра визжал его подпилок,
С утра стучал он молотом своим,
Так, к вечеру немало он носилок
Сколачивал и был неутомим.

Но гробовщик ни за какую цену,
Ни для какого в свете мертвеца
Не стал бы делать гроба — за измену
Великую почел бы...
Вот жильца
Увидел он, под зонтом, в серой блузе,
И кличет: «Гей! зайдите о французе
Потолковать.— Что́ стали говорить
Газеты?! — О! О! надо нам спешить
С носилками. А что сказал Маццини
С трибуны — вы читали? — Я читал...
Божественно!.. Э!.. никакой Рубини
Так не споет!.. Я губы измарал

Печатными чернилами, целуя
Газету — всю ее исцеловал.
И знаете ли, что вам доложу я,
Синьор Иллючи! Я всю ночь не спал —
Все думал: для чего им нужно папство,
Когда оно и нам не нужно! Рабство
Проклятое — и больше ничего!»
А иногда Игната моего
Хозяин озадачивал: «Смотрите,—

Он говорил таинственно,— беда!
Уж лучше вы, синьор, не выходите,
Пока того... Все выезжают — да!

Недаром же все выезжают... Даже
Намедни англичане собрались...
Наш Рим теперь стоит как бы на страже...
Все ждет чего-то,— и в него сошлись
Защитники: кто на большой дороге
Разбойничал, и тот теперь в тревоге,—
Беспечно жил — теперь пришел стоять
За новые порядки. Как тут знать,
Что́ может быть?! Сидите лучше дома».

. . . .

— Что я люблю Рим — это из альбома
Увидит всякий,— возражал Игнат.

О! я б желал достать альбом Игната...
Но как достать! Погиб он или нет?
Судьба вещей, которые когда-то
Нам были дороги (как тот портрет,
Который ваша бабушка снимала
В подарок дедушке), меня нимало
Не забавляет: то, что на столах
У вас блестит,— без вас, в чужих руках,
Утратит блеск иль в сор преобразится,
И для далекого потомства, может быть,
Из тысячи рисунков сохранится
Едва один, чтоб редкостью прослыть.

Не праздник ли? — однажды, просыпаясь,
Спросил Игнат; конечно, он спросил
Об этом у окна, во сне встречаясь
Глазами с поздним солнцем: он любил
Предупреждать зной утра; но был болен
И трусил лихорадки. С колоколен
Неслись трезвоны всех колоколов;
Казалось, сотни медных языков
Кричали: встаньте, граждане!.. спешите,
Настал великий день! — Но, может быть,
Идет процессия? — Тут, как хотите,
А надо встать, одеться и спешить.

Народ сновал — колокола звучали...
Вот увидал двух женщин наш Игнат.
В свои платки закутавшись, стояли

Они в тени, как статуи стоят;
Но не было в лице их и намека
На праздничное чувство,— нет, широко
Раскрытые глаза их ничего
Кругом не замечали — ни его,
Ни пробегающей толпы,— казалось,
Они прислушивались. Мой Игнат
Почувствовал, как в нем вдруг сердце сжалось,—
Вдоль жаркой улицы он бросил взгляд.

Куда идти? Хоть лица женщин этих
Ему сказали: уходи домой!
Он медлил — он как бы не смел задеть их
Своим вопросом, и они с толпой
Вошли на паперть. Нищие шептались,
Стучали фуры, лавки запирались.
Вот проскакал Росселли [1], горяча
Хлыстом коня, и поднял пыль, брянча
Прицепленною саблей; показался
Вдали отряд — он площадь проходил;

Блеск стали под лучами загорался,
Бил барабан тревогу — рог трубил;
Колокола по-прежнему звучали.
Но молчалив был подвижной народ,
Как будто для него часы настали
Особенных каких-нибудь забот.
Вот, с мрачным видом, взвод народной стражи
Прошел под окнами, и бельэтажи
Раскрыли окна,— город запестрел
Цветными флагами, как бы хотел
Действительно отпраздновать бог знает
Какой счастливый день. Велик народ,
Который в день грозы не унывает! —
Пришла гроза — французы у ворот.

Грядущая империя штыками
Грозит республике — так вот зачем
Повсюду римляне идут толпами
Вооруженными, средь веющих эмблем
Своей свободы, вот зачем сверкают
У всех глаза и руки всех сжимают
Ружейные приклады; словно брат

[1] Один из римских военачальников. (*Примеч. Я. П. Полонского.*)

Родной, им стал губительный булат,
Защитник сердца, родины и чести!
Вот почему, какая б ни была
Обида личная, нет личной мести,
Вот почему звонят колокола.
«К стенам, народ! к стенам, граждане!»
Команда эта мигом разнеслась,
И в мирном Риме, как в военном стане,
У каждого в груди отозвалась.
Мясник, башмачник, ювелир, факины,
Купцы, виноторговцы, веттурины,
Художники (и наш один гравер) [1],
И поселяне из окрестных гор,
И слуги из гостиниц, все бросают
Обычные занятья и дела,
Идут, грозят, оружьем потрясают —
Вот почему звонят колокола.

Вот папские сады пестрят стрелками,
Вот Гарибальди двинулся вперед
И на распутьях стал за воротами,
С ним красноблузники... Герой не ждет,
Спешит врага он пулями поздравить
С нашествием и не дает направить
Ему передовой свой батальон
На верх горы, откуда весь бастьон
И вся почти защита Ватикана
Как на ладони. Вот ружейный дым
Зардел на солнце; из его тумана,
За куполом Петра, услышал Рим
Звук первого сраженья — рокот ружей
И пушек, эхом повторенный, гром.
И вот, на Пинчио Игнат досужий
Взбирается, идет, дыша с трудом
От тайного волненья; с напряженьем
С горы следит он взором за сраженьем,
Но где же войско? — Косвенным столбом
Завихрившись, дым пушек над холмом
Ближайшим к Риму, начал расстилаться,
Ружейный рокот словно замирал,
Стал уходить куда-то — стал теряться.
Что б это значило? — Никто не знал...

[1] Ф. И. Иордан. *(Примеч. Я. П. Полонского.)*

Кто победил? кого поколотили?
Вестей не приходило. Знойный Рим
Затих — колокола уж не звонили,—
Лишь женщины у алтарей в немых
Церквах толпой коленопреклоненной
Рыдали; — воздух, солнцем накаленный,
Всех собирал под своды, и пустым,
Судя по улицам, казался Рим;
Одни ослы по площадям бродили
Без всякого надзора: — за водой
Никто не шел; уединенно били
Фонтаны; час прошел — настал другой.

Шло время к ночи — Рим не шевелился.
Он словно замер — слухи до него
Не доходили,— Рим не торопился
Услышать вести,— сердце у него
Пугливо ныло за своих любимых
Гарибальдийцев, за неутомимых
Своих защитников... Никто не знал,
Что первый батальон врага попал
В засаду — падал — и кричал: пощада!
Что часть сдалась, другая с Удино
Пошла назад в Кастель де Гвидо. «Надо
Подумать — это вовсе не смешно...» —

Сказал французский вождь, воображавший,
Что римляне не смеют воевать.
И тут, скажу заранее, пославши
В Париж курьера, он решился ждать
От президента новых подкреплений;
Хотел он, чтоб победоносный гений,
Любимый гений Франции, у ног
Ее властителя с размаху мог
Свободную республику увидеть
В оковах по рукам и по ногам.
Кто смеет честь французскую обидеть!
Шесть тысяч отступало — по пятам

Шли сотни сорванцов.— Победа! Где вы,
Служители святого алтаря!
«Te deum» пойте! Вы, святые девы,
Поблекшие в стенах монастыря,
Страдалицы за вечное спасенье
Своей души,— несите облегченье

Страдающим за братьев! Где бинты
Для раненых, для падших — где цветы?!
И встал весь Рим, и огласились стоном
Его площадки, паперти церквей
И лестницы,— но с похоронным звоном
Сливалась музыка: среди теней,

Над трупами склоняющихся, тени
Восторженно поющих провели
Французских пленных угощать в кофейни.
Вот ночь сошла, везде огни зажгли,
Героям дня толпы рукоплескали;
С носилок раненые поднимали
Повязанные головы; на их
Померкших лицах, холодно-немых,
Сквозь выраженье нестерпимой муки
Проглядывала сила — и стонать
Они переставали, свесив руки
В надежде чью-нибудь в толпе пожать.

И было множество рукопожатий
Со всех сторон,— да, в эту ночь весь Рим
Сносил свои страданья без проклятий
И был в своей любви неистощим.
И Гарибальди имя повторялось
Впервые так, как никогда,— рождалась
Неведомая слава — для венца
Нетленного,— и братские сердца
Народа колыбель новорожденной
Поставили высоко в эту ночь,
Чтоб видел мир, неправдой возмущенный,
Италии воинственную дочь.

Растроганным пришел домой Игнатий —
С таким же чувством он пришел домой,
С каким из первых, трепетных объятий
Давно любимой девушки — иной
Бедняк иль труженик, людьми забытый,
В час ночи, месячным лучом облитый,
Один приходит к ложу своему,
И уж оно не кажется ему
Таким пустым, каким вчера казалось.
Нет! новая волшебница — мечта
С ним обнялась, тепло к нему прижалась,
И к невидимке льнут его уста...

Так не давалось сразу водворенье
Святого папы с помощью штыков.
Луи-Наполеон был (нет сомненья)
Меж двух огней: подачу голосов
(Suffrage universel) подготовляя,
Он должен был достать ключи от рая
И, стало быть, беречь карман попов...
. . . .
Не только папе, но и папской свите
Он должен был усердно угодить —
Или готовиться к его защите,
Или уж императором не быть.

А что республиканцы скажут? Эти,
Готовые лезть прямо на штыки —
Трех революций уличные дети,
И наконец — такие чудаки,
Что им присяга, даже честь дороже
Наполеона.
«Это не похоже
На то, к чему веду я мой народ;
Не я, сама история ведет...» —
Так думал президент, сосредоточен
На мысли все прибрать к рукам своим;
Он тайным был расчетом озабочен
И для начала выбрал вольный Рим.

Над ним в венцах орлы-мечты играли,
И страх паденья, ежась, ползал в нем...
Но ничего глаза не выражали
Своим как бы потускнувшим свинцом.
Республика кой-что подозревала
И, гневная, уже едва скрывала
Свое негодованье; рокотал
Подземный гром, над кратером вставал
Зловещий дым, предтеча бури — пена
Уже катилась по морю с волной;
Как чайки крик, носился крик: измена!
Париж шумел пред новою грозой.

А он, грозой барышников пугая,
Являлся им в сиянии щита,
Спасающего мир, и, обольщая

Солдат, тайком готовил coup d'état [1].
За ним стояла тень Наполеона,
Им вызванная, и ступеньки трона
Пред ним мелькали, так же, как порой
Сквозь сон мелькают рифмы предо мной.
(Пожалуйста, от этого сравненья
Ты не сгори, о муза! от стыда:
Пусть наш зоил придет в недоуменье
И разбранит — не велика беда!)

Так президент короны добивался —
Он в папу так же верил, как и я,
Не больше; но за папу ополчался
И, стало быть, похож был на меня
Так точно, как на правду ложь похожа.
Стремленьем к власти дух свой не тревожа,
Блажен я — мне до папы дела нет,
Меня не мучит красный дух газет,
Ни темный дух моей родни отжившей;
Я не давал присяги охранять
Республику и каждой, вновь возникшей,
Сочувственную руку подавать.

В своей палатке, наконец, дождался
Ответа Удино — он застегнул
Сперва мундир свой (хоть и задыхался
От жару), а потом уж развернул
Письмо от президента.
«Подкрепленье,—
Писал сей президент,— без замедленья
К вам будет выслано; до той поры
Спасайте ваше войско от жары
И лихорадок. Отступите в горы —
Республики не надо раздражать,
Пока Лесепс ведет переговоры,
Не начинайте бомбардировать.

Без штурма все уладить будет можно,
А если нет — да будет невредим
Алтарь Петра — громите осторожно,
Но с торжеством войдите в славный Рим,—
В ворота или просто через бреши».
Таков был смысл таинственной депеши.

[1] Переворот (*фр.*).

В ней между строк еще кой-что вилось
И пряталось, как змейка между роз,
Как между водяных растений — рыбка,
Как на устах спокойного лица
Коварно проскользнувшая улыбка,—
Но Удино все понял до конца.

Французский лагерь гангренозным чирьем
На теле Римской области засел;
Опасный чирей! — Хитрым перемирьем
Спасая лагерь, Удино глядел
На Рим сквозь пальцы — ждал и лицемерил.
Его французской чести Рим поверил
И быстро перенес на юг свой гром;
Едва король Неаполя тайком
Убрался из Валетри,— под командой
Росселли, Гарибальди наскочил
И город взял с размаху — Фердинанда,
Как короля, он этим огорчил.

Разубедясь в чудесном предсказаньи,
Король смутился, и его полки
Уже на благородном расстояньи
Бросали ружья, сабли и мешки.
Завертывали ночью в одеяла
Колеса пушек, чтоб не грохотала
Их артиллерия, чтоб как-нибудь
Не разбудить врага и скрыть свой путь,
Благоразумный путь — путь отступленья!
Шесть тысяч римлян не могли никак
Склонить их тридцать тысяч на сраженье,
И Гарибальди занял их бивак.

Но воспевать его я не намерен —
Едва ль настало время воспевать
То, что само поет! Кто ж не уверен,
Что это имя будет вдохновлять
Италию — столетья! Нет, уж лучше
Без громких фраз вернемся мы к Иллючи
Или к Игнату,— к Риму он привык,
Стал лучше понимать его язык,
И был спокоен до исхода мая,
Наивный человек! Он полагал,
Что Рим спасен,— так, каждый день читая
Газеты, он в политику вникал.

Увы! не он один — другой ребенок,
Маццини, триумвир, воображал,
Что эта, вышедшая из пеленок,
Республика прочна, как идеал —
Тот идеал, который никакие
Превратности судеб, ни бури злые
В его душе не в силах сокрушить.
Он думал Рим от ядер сохранить
Крестом распятого, щитом святыни —
Сияньем правды — словом, отрицал
Политику задумчивый Маццини,
И, как пророку, Рим ему внимал.

Когда с победным криком пробегала
По улицам горячая молва,
Казалось, в Риме все торжествовало,
Сердца мужали в блеске торжества,
И шумно победителей встречали:
«Зачем вы Фердинанда в плен не взяли?» —
Один в народе слышится упрек.
«Французы! Мы и вам дадим урок,
Коли вы сами с честью не уйдете!»
Лесепс бесился (бедный дипломат!),
И Удино сказал ему: «Вы ждете,
А я так дождался,— Рим будет взят».

И вот, в лазури неба вещей птицей
Заклоктала — и, мерный полукруг
Чертя, спускаться стала над столицей
Дымящаяся бомба — ниже, ниже... вдруг
Над кровлями разорвалась — осколки
Посыпались на черепицу — с полки
У нашего Игната в мастерской
Слетели вместе с гипсовой ногой
Две стклянки с маслом — и кусочки глины
Посыпались,— куда уж тут писать!
Он быстро отшатнулся от картины
И, бледный, встал, не зная, что́ начать.

А! началось! — и грозное начало
Не предвещало доброго конца.
Игнат вставал с зарей, и что ж? Бывало,
Одеться не успеет, ни лица
Водою освежить, как за лучами
Проснувшегося солнца над домами

Уже летят чугунные шары —
Гремят,— и утра свежие пары
Уж пахнут порохом; невольно
Он выбегал на улицу,— народ,
Вооружась, на смерть шел добровольно
И, к счастью, не заглядывал вперед.

Рим перестал подозревать измену
В своих стенах, и на неравный бой
Шел с облегченным сердцем,— так на сцену
Идет смеясь трагический герой.
Но там, где служат вековые стены
Кулисами,— там не такие сцены,
И не такие ложи,— широко
Они расставлены, и высоко
Сидят там короли в венцах — златая
Тиара свесилась — мундир посла
Блестит — министр, министра надувая,
Наивно спрашивает: как дела? —

На римской сцене совершалось много
Такого, что в наш меркантильный век
Напоминало дни, когда за бога
С богами шел бороться человек.
Вот, у крыльца на каменной площадке
Два женских трупа: на груди их складки
Изорванной рубашки припеклись
К изорванному телу. Вот сошлись
Соседи — маленькие дети жмутся
К подолам женщин — старики намёт
Хотят поставить — руки их трясутся —
Игнат мой за носилками идет.

За полчаса несчастные божились
Из бомбы вырвать трубку иль фитиль,
Заспорили и обе устремились
На подвиг; сквозь поднявшуюся пыль
Над мостовой, ударом потрясенной,—
Обеим захотелось им зажженный
Фитиль схватить — и вот над фитилем
Они бороться стали. Грянул гром —
Не с неба грянул — небеса молчали
В тот миг, когда осколки чугуна
Ретивые сердца их разорвали
И выбили в кофейной два окна.

А вот одной из южных горожанок
Такой же подвиг удался вполне...
Художники! вы пишете вакханок,
Венер, Диан на вашем полотне;
Оставьте мифы — посмотрите: гордо
Подъемля кисти рук, походкой твердой,
Вся смуглая, под солнечным лучом
Она идет, сияя торжеством,—
Толпа за ней — и все кричат ей «браво!».
У ней на голове чугунный шар...
На целый день ее бессмертит слава.
И эту славу празднует базар.

Но никогда еще Игнат мой смеха
Такого не слыхал, как в день, когда
На улицах народною потехой
Был лист с проклятьем папы,— никогда
Он не слыхал еще таких визжаний,
Таких гнусливых дудок, завываний —
Концерта, не сравнимого ни с чем;
Я думаю, чертям в аду, и тем
От этих диссонансов было б тошно,
Сам сатана сгорел бы от стыда.
(Такой концерт придуман был нарочно:
Так пьяных в Риме водят иногда.)

Проклятье папы или отлученье
Прибито было к палке — и над ним
Несли дырявый зонтик,— без сомненья,
Сам Пий не ждал с проклятием своим
Такого всенародного почета.
Илюшин молча шел, но сзади кто-то
Его толкнул и дал ему свечу:
Неси! — и он понес; — не умолчу,
Как покраснел сконфуженный Игнатий,
Как он рукой старался защитить
Огонь свечи,— как, не боясь проклятий,
Боялся он толпе не угодить.

А бомбы падали... О! бомбы эти
Не ты ли, добрый пастырь, мечешь в Рим,
И бьют они детей твоих — и дети
Хохочут над проклятием твоим.
Твоею гордою душой Христос не понят —
Ты храмы запер,— слушай, как трезвонят

Колокола... они благовестят,
Что дети выросли... и что навряд
Тебе их испугать своим проклятьем...
Так думал про себя Игнатий — он...
На этот раз был пресмешным Игнатьем,
Так гордо выступал, что был смешон.

Смешон не так, как иногда бывает
Смешон болван, когда в толпе гостей
Он на себя вниманье обращает
Забавно-важной пошлостью своей.
Нет, в той толпе, где роль ему досталась,
Почти ни на кого не обращалось
Вниманья — каждый роль свою играл
По вдохновенью; каждый понимал,
Что это смех народа — смех притворный,
У многих на лице сквозь этот смех
Дрожали слезы — Рим в борьбе упорной
Не ждал и не желал таких потех.

Еще толпа была религиозна
И суеверна,— можно доказать.
Так, например, однажды, после грозной
И жаркой канонады, чтоб занять
Народ, друзья народа учинили
Такое зрелище: они сложили
На площади del' Popolo костры
И запалили. (Далеко с горы
Французы увидали сероватый
Столб дыму,— Удино вообразил,
Что город загорелся от гранаты,
И гром пальбы на время прекратил.)

На площади ж del' Popolo свершали
Ото-да-фе — как казнь новейших дней.
Кареты кардиналов сожигали,
Так точно, как когда-то жгли людей;
Те люди были в саваны одеты,—
Но не нуждались в саванах кареты.
В те дни, когда везде торжествовал
Дух инквизиции, стон землю оглашал —
Теперь же кардиналов экипажи
Трещали очень весело, когда
Со всех сторон огонь лизал их,— даже
И не вздохнули,— только иногда

Атласные подушки, слишком плотно
Обсиженные, покорясь нужде,
Горели как-то очень неохотно,
Шипели, как блины в сковороде.
Пока трещали кузова и стекла
В них лопались, румяные, как свекла,
Народные ораторы порой,
Чтоб как-нибудь подняться над толпой,
На козла вспрыгивали, на запятки
Влезали... и орали, не боясь,
Что прогорят у башмаков их пятки
Или шальная искра выжжет глаз.

Так за монашеские преступленья
Народ монашескую роскошь жег.
Свершая это жертвоприношенье,
Он, разумеется, никак не мог
Забыть одну... преступную карету,
Карету папы,— колесницу эту,
Украшенную дорогой резьбой
И золотом,— как жертву на убой
Уже везли — кто уцепясь за дышло,
Кто за рессоры... все кричали: жечь,
Жечь греховодницу!— и что же вышло?
Ее спасла нечаянная речь —

Речь одного поклонника искусства.
Любуясь изумительной резьбой
Фигур и орнаментов, он, из чувства
К прекрасному, невольно крикнул: «Стой!
Стой! Прежде выслушайте адвоката;
Я адвокат — карета виновата —
Она возила папу,— стало быть,
Ее нам также следует казнить;
Но слушайте, другое назначенье
Мы ей дадим... Взгляните на нее
Какая прелесть,— эти украшенья,
Гирлянды... ангелы. Нет! мнение мое —

Такое мненье... мы карету эту
Тому Христу-малютке подарим,
Который, гордому не внемля свету,
Так любит нас и нами так любим;
Как Пий, он никогда не брезгал нами,
Стучался в двери к нам, когда слезами

Мы обливались,— к бедным и больным
Он шел охотно, как родной к родным,
Как к братьям брат; везде, где умирали,—
Везде полупотухшие глаза
Его как бога, с верою встречали,
И вспыхивала мутная слеза.

И что ж! пока в карете мы возили
Святейшего отца — как сироту
С открытою головкой в жар носили
Небесного младенца: мы Христу
Не посвятили даже балдахина;
Мы видели, как маленький (bambino)
Мок под дождем... и не жалели мы
Спасителя, когда во дни зимы
Он к нищим шел, как нищий неодетый.
О братья, мы должны загладить грех,
Загладить грех наш этою каретой,
Другого средства нет — пошлюсь на тех,
На тех пошлюсь, в ком вера не простыла
И не замолкла совесть,— не дадим
Христа в обиду,— в нем вся наша сила...» —
«Так что ж нам делать?» —
«Вот что, подарим
Мы эту золоченую карету
Христу, пускай он ездит». И на эту
Простую речь откликнулся народ
Восторженно — к Христу, к Христу! — и вот
Пока одни, водой наполнив шляпы,
Гасили уголья, другие повезли
Великолепную карету папы,
Под звон колоколов, к царю земли

Иль к детскому его изображенью.—
Так простодушной веры полон был
Народ, не верующий отлученью;
Так, ненавидя папу, Рим любил
Распятого, и так необычайно
Спаслась карета (этот факт — не тайна,
Его все знают),— только отнята
Теперь карета эта у Христа,
И в дни парадные в карете этой
Опять качается святой отец,
Любовью, правдой, разумом отпетый
И, стало быть, давно живой мертвец.

Гроза росла; — но не извивы молний,
А выстрелы сверкали. Никогда
И сам Зевес с Олимпа в мир наш дольний
Не извергал таких громов, когда
С титанами боролся. Облаками
Клубился дым, их серыми волнами,
Как некий древний бог, со всех сторон
Вольнолюбивый Рим был окружен.
Гроза росла — к французам приливали
Те силы, что позднее шли стеной
На вольных парижан и запятнали
Свой стяг братоубийственной враждой...

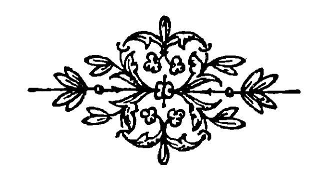
Они теперь над Римом упражнялись:
Зигзагами кой-где траншеи шли,
Кой-где росли, тянулись, приближались
Окопы и — мелькали фитили.
Окрестности от залпов содрогались,
Осадные орудья разгорались,
С холма на холм свинец дождем летел,
На груды тел валились груды тел;
Республика держалась за стенами;
Но этих стен кирпич за слоем слой
Срезали ядра,— мусор стен, местами
Заваливая рвы, лежал горой.

Рим стал дышать не воздухом, а дымом;
Однажды, из окон, на этот дым
Глядел Игнат — глядел, любуясь Римом,
И думал, злым отчаяньем томим:
«Неужели от этого пожара
Останется цела одна тиара!
Неужели враг мысли и труда,
Народа враг — не общий враг, когда
Он на своих чужое поднял знамя...»
И с ужасом воображал Игнат,
Как фрески Рафаэля лижет пламя,
Как, накалившись, мраморы трещат...

«С одним великим именем я связан
Был с ранних лет, и это имя — Рим;
Я лучшею мечтой ему обязан —
Обязан и погибнуть вместе с ним...»

Так юноша-художник волновался.
Уж под столом альбом его валялся,
Уж высохла палитра, уж давно
Пожухлое пылилось полотно.
Унылый скромник стал неузнаваем:
На перевязки рвал свое белье
Иль, освежась поспешно русским чаем,
Двухствольное захватывал ружье

И выбегал . . . .
. . . .



СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ

ВЕ	— «Вестник Европы».
Вечерний звон	— Вечерний звон. Стихи 1877—1890 Я. П. Полонского. СПб., 1890.
Высокая лестница	— Сергей Тхоржевский. Высокая лестница. Л., 1978.
Гаммы	— Гаммы. Стихотворения Я. П. Полонского. М., 1844.
Изд. 1935	— Я. П. Полонский. Стихотворения и поэмы. «Библиотека поэта». Редакция и примечания Б. М. Эйхенбаума. Л., 1935.
Кузнечик-музыкант	— Я. П. Полонский. Кузнечик-музыкант. С добавлением некоторых стихотворений за последние годы. СПб., 1863.
Лепта	— Лепта в пользу нуждающихся. Несколько стихотворений Я. П. Полонского. СПб., 1892.
М	— «Москвитянин».
На закате	— На закате. Стихотворения Я. Полонского. 1877—1880. М., 1881.
ОЗ	— «Отечественные записки».
Озими	— Озими. Новый сборник стихов Я. П. Полонского. Ч. I—II. СПб., 1876.
Оттиски	— Оттиски. Стихотворения Я. П. Полонского. СПб., 1866.
РВ	— «Русский вестник».
РС	— «Русская старина».
С	— «Современник».
Сазандар	— Сазандар. Стихи Я. П. Полонского. Тифлис, 1849.

Сб. 1845	— Стихотворения Я. П. Полонского. Одесса, 1846.
Сб. 1851	— Несколько стихотворений Я. П. Полонского. Тифлис, 1851.
Сб. 1855	— Стихотворения Я. П. Полонского. СПб., 1855.
Сб. 1859	— Стихотворения Я. П. Полонского (Дополнения к стихотворениям, изданным в 1855 г.). СПб., 1859.
Соч. 1885—1886	— Полное собрание сочинений Я. П. Полонского. 10 томов. СПб., 1885—1886.
Снопы	— Снопы. Стихи и проза Я. П. Полонского. Т. I—II. СПб., 1871.
Соч. 1870	— Сочинения Я. П. Полонского. 4 тома. СПб., 1869—1870.
Складчина	— Литературный сборник в пользу пострадавших от голода в Самарской губ., «Складчина». СПб., 1874.
Соч. 1896	— Полное собрание стихотворений Я. П. Полонского в пяти томах. СПб., 1896.
Творчество	— Альманах «Творчество», 1920.


Комментарии

Поэтическое наследие Полонского наиболее полно представлено в двух прижизненных изданиях: в Полном собрании сочинений в десяти томах (1885—1886) и в Полном собрании стихотворений в пяти томах (1896).

В советское время в Большой серии «Библиотеки поэта» вышло два авторитетных издания, подготовленных к печати Б. М. Эйхенбаумом (1935 и 1954). Особый интерес представляет издание 1935 г., снабженное подробным комментарием и многочисленными вариантами, извлеченными из первых публикаций, а также из автографов поэта (Рукописный отдел Института русской литературы, Ленинград).

В настоящем издании дан свод избранных стихотворений и поэм Полонского. Стихотворения расположены в хронологическом порядке. В тех случаях, когда дата написания стихотворения точно не установлена, оно датируется по первой публикации, то есть временем, позднее которого стихотворение не могло быть написано; такие условные даты поставлены в угловые скобки. Вопросительный знак означает, что дата предположительная.

В комментариях указаны первые публикации произведений. Тексты печатаются по последнему прижизненному изданию стихотворений 1896 г., с проверкой по предшествующим изданиям. Отступления от текста 1896 г. специально оговариваются.

В комментариях к отдельным стихотворениям использованы разыскания Б. М. Эйхенбаума. Несколько новых стихотворений вставлены в сборник по материалам С. С. Тхоржевского; по его же сведениям уточнены некоторые датировки и источники первых публикаций. Составитель приносит ему глубокую благодарность. В подготовке издания принимал участие М. И. Гиллельсон.

«Священный благовест торжественно звучит...» (с. 28). — *ОЗ*, 1840, №9, с. 225. Первое стихотворение Полонского, появившееся в печати.

Жницы (с. 28).— Альманах «Подземные ключи». М., 1842, с. 155.

Солнце и Месяц (с. 29).— *М*, 1841, ч. I, № 2, с. 352. В журнальном варианте было еще два заключительных четверостишия.

К демону (с. 30). — *Гаммы*, с. 36—38, без заглавия, снятого, вероятно, по цензурным соображениям (см.: Новые пропилеи. М., 1923, т. I, с. 63).

Дорога (с. 31).— *М*, 1842, ч. I, № 2, с. 359.

Маска (с. 32).— *ОЗ*, 1842, № 5, с. 31.

«Пришли и стали тени ночи...» (с. 33).— *ОЗ*, 1844, № 6, с. 316. Б. М. Эйхенбаум датировал это стихотворение 1842 годом на основании черновика письма Полонского к Белинскому от 11 мая 1842 г.: «Ради бога не печатайте второго стихотворения, *где ночные тени стоят на страже у дверей*. Это такая дрянь, что совестно вспомнить. Я его только что написал, так и послал к Вам, как говорится, сгоряча — раскурите же им Вашу трубку» (Венок Белинскому. М., 1924, с. 236).

На могиле (с. 33). — Альманах «Подземные ключи». М., 1842, с. 5.

К N. N. (с. 34).— *М*, 1843, ч. I, № 2, с. 357, под заглавием «N N».

Вечер (с. 34).— *М*, 1843, ч. I, № 2, с. 358.

Тишь (с. 35).— *М*, 1843, ч. I, № 2, с. 358.

Узник (с. 35). — *Гаммы*, с. 3. В стихотворении чувствуется полемика с «Шильонским узником» Байрона в переводе Жуковского. Герой Полонского воодушевлен мечтой о свободе, в то время как узник Жуковского, морально раздавленный долгими годами заточения, с трудом возвращается к «бедной воле»: «Когда за дверь своей тюрьмы // На волю я перешагнул —//Я о тюрьме своей вздохнул».

Зимний путь (с. 36).— *Гаммы*, с. 19.

Встреча (с. 37).— *Гаммы*, с. 26. *Погибшее, но милое созданье.*— Цитата из «Пира во время чумы» Пушкина.

Диамея (с. 37).— *Гаммы*, с. 35.

Кумир (с. 38). — *Гаммы*, с. 40.

«Посмотри — какая мгла...» (с. 38).— *Гаммы*, с. 44.

Ночь в горах Шотландии (с. 39). — *Гаммы*, с. 45.

Лунный свет (с. 40).— *Гаммы*, с. 49.

«Уже над ельником из-за вершин колючих...» (с. 40).— *Гаммы*, с. 51. При первой публикации после второй строфы следовало:

Ты говорила мне — как хороша свобода,
Ты говорила мне о братстве, о любви
И о грядущем. . . . .
. . . .

По предположению Б. М. Эйхенбаума, третья строка кончалась словами «равенстве народа», которые, по всей вероятности, не были пропущены цензурой.

Из Корана (с. 41). — *Гаммы*, с. 62. Отрывок из незаконченной драматической поэмы Полонского «Магомет».

Прогулка верхом (с. 42).— Сб. «Литературный вечер» (Памяти В. В. Пассека). М., 1844, с. 270; в издании 1896 не вошло. Печатается по первой публикации.

Вызов (с. 43).— *ОЗ*, 1845, № 5, с. 1.

Тени (с. 44). — *Сб. 1845*, с. 3.

Прощай (с. 44).— *Сб. 1845*, с. 8.

Маяк (с. 45).— *Сб. 1845*, с. 27. В изд. 1896 г. не вошло.

Вальс «Луч надежды» (с. 45).— *Сб. 1845*, с. 61, под заглавием «Вальс Hoffnungs-Strahl».

Последний разговор (с. 46).— *Сб. 1845*, с. 63.

Утро (с. 47).— *Сб. 1845*, с. 68.

«Ах, как у нас хорошо на балконе, мой милый! смотри...» (с. 48).— *Сб. 1855*, с. 143.

Переход через Неман (с. 48).— *Сб. 1855*, с. 20.

Птичка (с. 49). — Пантеон, 1853, т. IX, кн. 6.

«Когда я люблю...» (с. 50).— *Творчество*, с. 6.

Прогулка по Тифлису (с. 50). — *Сазандар*, с. 41, с подзаголовком: «(Письмо к Л. С. П-шк-ну 1846 года)». *Мне виден замок за Курою.*— «Метех» — небольшое укрепление, построенное при главнокомандующем в Грузии А. П. Ермолове. Метех стоит над Курою, на краю береговой скалы, и господствует над городом. В начале семнадцатого столетия здесь был дворец царя Арчила, им покинутый и потом занятый турками». *(Примеч. автора.)*

Затворница (с. 56).— Московский литературный и ученый сборник на 1847 год. М., 1847, с. 261. Стихотворение Полонского с изменением отдельных строк («Такие речи дерзкие//Она твердила мне//О мужестве, о родине,//О дальной стороне») вошло в репертуар острожного пения (Ядринцев Н. Русская община в тюрьме и ссылке. СПб., 1872, с. 115).

Грузинка (с. 57).— Газета «Кавказ», 1856, № 31, с. 121. Первоначальная редакция отличается от последней. Поэт снял несколько строф, из которых, по всей вероятности, впоследствии возник рассказ «Квартира в татарском квартале»:

Здесь родилась она, среди родных руин,
И расцвела в виду Казбека;
В ней княжеская кровь,— отец ее грузин,
А мать — была сестрою бека.

Темны, как ночь, ее восточные глаза:
В них есть и блеск, и жар, и сила,
Как будто никогда и ни одна слеза
Ей бледных щек не оросила.

Вчера, когда зари багровый пламень гас
За виноградными садами,—
Ее — мою княжну — я видел в первый раз,
На кровле, устланной коврами.

А нынче — вон она, под белою чадрой,
Скользя тропинкою нагорной,
Чтоб зачерпнуть воды, в потоке под горой,
Несет сама кувшин узорный;

Иди за ней, но знай, усталый путник мой!
Ее любовь — мираж среди пустынных
Степей: — не утоляет жажды в зной
И не врачует ран старинных!

Татарская песня (с. 57).— Газета «Закавказский вестник», 1847, № 3 (часть неофициальная), с. 17—18. В первоначальной публикации было авторское примечание, впоследствии снятое поэтом: «Эта песня переведена Абас-Кули-Ханом и заимствована из ненапечатанного сборника восточных песен, собранных г. Ладо-Заблоцким, в сборнике она переведена прозой на польский язык. Размер, данный мною этой песне, совершенно произвольный». *Абас-Кули-Хан* — Аббас-Кули-Бакиханов (1794—1847), азербайджанский поэт, историк, философ. *Ладо-Заблоцкий Тадеуш* (1813—1847) — польский поэт, воспитанник Московского университета, арестованный в 1833 г. по делу «О песне возмутительного содержания» и сосланный на Кавказ в рядовые (об этом см.: Поляков М. Студенческие годы Белинского.— ЛН, т. 56. М., 1950). Знакомство Полонского с Заблоцким относится к 1846 г. Стихотворение «Татарская песня» посвящено писателю Григорию Петровичу Данилевскому (1829—1890).

Нищий (с. 58).— Литературные вечера. Издание Николая Фумели. Вечер второй. Одесса, 1850, с. 324.

Внутренний голос (с. 59).— Литературные вечера. Издание Николая Фумели. Вечер второй. Одесса, 1850, с. 321.

Горная дорога в Грузии (с. 60).— Газета «Закавказский вестник», 1848, № 4, с. 16.

Грузинская песня (с. 61).— Газета «Закавказский вестник», 1848, № 10, с. 39, под заглавием «Содержание одной простонародной грузинской песни».

Грузинская ночь (с. 62).— Газета «Закавказский вестник», 1848, № 24, с. 105, с посвящением М. Чиляеву. При перепечатке в сборнике «Сазандар» к слову «чингури» дано более развернутое авторское примечание: «*Чингури* — музыкальный инструмент с четырьмя, а иногда и с пятью металлическими струнами. На струнах играют одним пальцем, на который обыкновенно надевают искусственный костяной ноготь (музрапи). Чингури такой же общеупотребительный инструмент за Кавказом, как в России балалайка».

Татарка (с. 63).— Газета «Закавказский вестник», 1848, № 27, с. 118, с посвящением Ф. Байкову. Стихотворение посвящено живописцу

и литографу Федору Ильичу Байкову (1825—1879), с которым Полонский подружился в Тифлисе. Как пишет Л. Ф. Пантелеев, Ф. И. Байкову наместник граф Воронцов как-то заказал «какую-то картину, где сам должен был фигурировать. Картина готова, но Воронцов потребовал, чтобы был перерисован конь, на котором он сидел,— вместо белого ему понадобился вороной. Байков смолчал и взял картину обратно; простояла она у него несколько месяцев, а он и не подумал исполнить желание Воронцова. Но вот является посланный от Воронцова с настоятельным требованием, чтобы картина была немедленно закончена. Байков отвечал — хорошо. Вскоре приходит к нему Яков Петрович. «Ты мне друг?» — спрашивает его Байков. «Конечно,— отвечал Я. П.,— разве можно в этом сомневаться».— «Так обещай мне сделать, что я тебя попрошу». Не зная, чего от него хочет Байков, Я. П. начал было упираться. «В таком случае выходит, что ты мне не друг». Кончилось тем, что Я. П. дал слово. «Так вот что: возьми ружье и выстрели в эту картину, я ее видеть не могу, а у самого руки не поднимаются». Я. П. стал было отговаривать, но Байков стоял на своем и ссылался на слово, данное Я. П. Тогда Я. П. берет ружье и очень удачно выстреливает в картину. «Теперь вот еще что: пойди к Воронцову и скажи, что все это вышло случайно; ты взял ружье, а оно само у тебя выстрелило». Пошел Я. П. к Воронцову; тот, выслушав без вины виноватого Я. П., сказал: «Много вы здесь глупостей наделали, но это превосходит все; пора бы вам, Я. П., убираться с Кавказа». Этот случай мне лично подтвердил Я. П. в 90-х годах» (Пантелеев Л. Ф. Из воспоминаний прошлого. СПб., 1905, с. 193—194).

В Имеретии («Царя Вахтанга ветхие страницы...») (с. 64).— Газета «Закавказский вестник», 1848, № 49, под заглавием «В Грузии».

После праздника (с. 65).— *Сазандар*, с. 18—19, с посвящением И. Ф. З—ву (Ивану Федоровичу Золотареву). К слову «азарпеша» в «Сазандаре» дано следующее пояснение: «...серебряная или золотая с рукояткой заздравная чаша, необходимая принадлежность грузинских обедов,— азарпешу передают из рук в руки по приговору тулубаша, или начальника попойки, избранного гостями. Обыкновенно каждый должен пить за здоровье каждого, т. е. столько раз, сколько присутствующих».

Не жди (с. 66).— *Сазандар*, с. 22—23. Обращено, вероятно, к возлюбленной Полонского Софье Гулгаз. Подробнее об этом см.: *Изд. 1935*, с. 652—653.

Кахетинцу (с. 67).— *Сазандар*, с. 29—31. Стихотворение обращено к князю Давиду Александровичу Чавчавадзе (1818—1884), родному брату Н. А. Грибоедовой.

Агбар (с. 68).— *Сазандар*, с. 32—37. *Миновал он колючий плетень*.— «Эпитет колючий покажется неверным для тех, кто не знает, из каких колючих сучьев делаются здешние плетни — слово плетень скорей неверно, потому что их делают, насаживая на колья пучки сухих, тесно перепутанных колючих сучьев. Перелезть через такой плетень просто нет возможности» (примечание автора в сборнике «Сазандар»).

В Имеретии («Риона шум и леса тень...») (с. 70).— Газета «Кавказский вестник», 1851, № 25, 21 июня. В издание 1896 г. не вошло.

Имеретин (с. 71).— Газета «Кавказ», 1850, № 89, с. 355, под заглавием «Дума имеретина», с посвящением князю А. И. Гагарину.

Над развалинами в Имеретии (с. 73).— Газета «Кавказ», 1851, № 25, с. 98, без заглавия, с редакционным примечанием: «Стихотворение это написано г. Полонским в Имеретии, когда он путешествовал по ней, сбираясь писать свою драму «Дареджана, имеретинская царица». Пьеса, написанная Полонским для Тбилисского театра, не была дозволена к постановке и появилась в печати с цензурными искажениями» (*М*, 1852, ч. II, № 7).

Старый сазандар (с. 74).— *Сб. 1855*, с. 33—37.

Качка в бурю (с. 76).— Библиотека для чтения, 1850, № 11, с. 9, без посвящения писателю М. Л. Михайлову, которое появилось в *Сб. 1855*. Об этом стихотворении Г. П. Данилевский писал: «...Я уехал на пароходе «Тамань» в Крым одновременно с Я. П. Полонским, который возвращался на Кавказ, где он в то время редактировал «Закавказский вестник». На пути мы вынесли сильный шквал; половину путешественников укачало. В Ялте Я. П. Полонский, остановившись со мной в одной гостинице, прочел мне и вписал карандашом в мою памятную книжку новое свое стихотворение «Качка в бурю», очевидно написанное им под впечатлением перенесенного нами шквала, обозначив под ним: «Пароход «Тамань». Сентябрь 1850 г.» (Данилевский Г. П. Собр. соч., т. XIV. СПб., 1901, с. 159).

Ночь на восточном берегу Черного моря (с. 78).— Газета «Кавказ», 1851, № 1, с. 2, с датой: «Пароход «Тамань», 1850 года», с подзаголовком «Сонет» и с эпиграфом: «Oh, who can tell. Byron» («О, кто может рассказать. Байрон»).

Ночь (с. 78).— *М*, 1851, ч. I, № 2, с. 167.

«Не мои ли страсти...» (с. 79).— *М*, 1851, ч. II, № 7, с. 136.

Сатар (с. 79). *Сб. 1851*, с. 21—22. С подзаголовком «(Посв. И. А. Сливицкому)». При первой публикации стихотворение оканчивалось строфой:

Я чувствую, что раб иначе петь не может,—
И в музыке твоей мне слышен звук цепей,
Сатар! Сатар! твой плач меня тревожит
Не легче грустных дум об участи людей.

Автор пояснял: «Сатара можно слышать на грузинских и армянских свадьбах, куда он является в сопровождении музыкантов. Ему аккомпанируют: *чунгури, бубен, тимплипито* и *чианури*, т. е. азиятская скрипка. Его восторженно-дикие вопли, поражая слух европейца новизною, рождают в душе странное, тревожное чувство».

Саят-Нова (с. 80).— Газета «Кавказ», 1851, № 2. Саят-Нова (настоящее имя — Арутюн Саядянц, XVIII в.) — поэт-певец, писавший на армянском, грузинском и азербайджанском языках. В статье о нем,

напечатанной в газете «Кавказ» (1851, № 1 и 2), Полонский писал: «Саят-Нова — имя, которое несколько дней тому назад было неизвестно даже тому, кто в эту минуту решается писать об нем, и которое, однако же, сто лет тому назад было громко в стенах старого Тифлиса и, вероятно, повторялось на всех пирушках, начиная с царского дворца до сакли ремесленника. Если б судьба не сохранила одной небольшой тетрадки, сшитой еще до нашествия Ага-Мухаммед-Хана и исписанной по-армянски грузинскими буквами, тетрадки, у которой края получили кофейный цвет от бесчисленного множества пальцев, по нескольку раз переворотивших каждую страницу,— что между прочим само говорит за ее достоинство; если б, наконец, не в добрые руки попалась эта тетрадка, имя Саят-Нова навсегда исчезло бы из людской памяти подобно тысяче имен, достойных жить по крайней мере для двух или трех поколений и невозвратно потерянных для самого ближайшего потомства. Эта тетрадка — импровизации Саят-Нова, записанные им самим, с его собственноручными отметками; она шла из рода в род, и старина ее не подлежит сомнению: бумага заграничная, и на двух ее страницах, если только рассматривать их к свету, ясно просвечивается 1725 год ее фабрикации. Бедный армянин по происхождению, ткач по ремеслу, сазандар или певец по влечению души своей, гуляка в юности, отшельник в старости и, наконец, христианин, с крестом в руках убитый врагами веры на пороге церкви. Вот кто был Саят-Нова». Подробнее об этом народном поэте см.: Налбандян В. С. Певец человека и любви — В кн.: Саят-Нова. Стихотворения. Л., 1982, с. 5—52.

Тамара и певец ее Шота Руставель (с. 81).— Газета «Кавказ», 1851, № 12, с. 47. Первоначальная редакция значительно отличалась от окончательного текста. Стихотворение связано с замыслом драмы «Дареджана...», которую строгий критик творчества Полонского Ап. Григорьев назвал «вещью не без достоинств». В газете к первой строке стихотворения было дано примечание: «Замок Роз, по-грузински *Вардис-цихе*, был построен верстах в 20 от Кутаиса. Тамара, по словам преданий, любившая роскошь и все изящное, любила розы и развела их во множестве в замке, бывшем ее летнею резиденциею. Эти розы дали название замку, а может быть, он получил это поэтическое прозвище и вследствие восточного обыкновения давать подобные имена дворцам и вообще богатым загородным домам. Например: *Розовым садом* (Гюлистан) назывался загородный дворец близ Сарая. Развалины Вардис-цихе до сих пор сохранились, но разумеется, что там уже нет ни следов роскоши Тамары, ни кустов ее любимых роз. Г. Мегвинетхуцесов, посещавший замок в прошлом году, говорил мне, что он расположен на горе, окружен полууцелевшими стенами, имеет башни и небольшую церковь, без надписей и остатков живописи». *Довершу я созданье мое.*— «Некоторые из грузин уверены, что в поэме своей «Барсова кожа» Шота Руставель под именем дочери индийского царя, Нестан-Дареджаны, воспевал царицу Тамару. Все изустные предания о веке Тамары единогласно подтверждают, что Шота Руставель был влюблен в знаменитую царицу. Есть еще преданье, будто Руставель был отрав-

лен за то, что осмелился просить руки царицы в награду за стихи свои».

Кн. С. А. Г—ной (с. 83).— *РС*, 1884, № 11, с. 300. Обращено к Софье Андреевне Гагариной, жене художника Г. Г. Гагарина.

Выбор уста-баша (с. 83).— Газета «Кавказ», 1851, № 30, с. 121. Под заглавием: «О том, как тифлисские нищие избирали себе уста-баша».

Караван (с. 85).— *Сб. 1859*, с. 84.

На пути из-за Кавказа (с. 92).— Газета «Кавказ», 1851, № 70. *Ты, с которой так много страдания...*— Обращено, вероятно, к Софье Гулгаз, тифлисской возлюбленной поэта.

Времени (с. 94).—*Сб. 1855*, с. 164.

«Когда я слышу твой певучий голосок...» (с. 95).— *Творчество*, с. 6.

Рыбак (с. 95).— *С*, 1852, № 1, с. 87. Вольный перевод баллады Гете «Der Fischer».

Финский берег (с. 96).— *М*, 1852, № 21, с. 20, с подзаголовком «Идиллия» и с датой «1852. Пароход Гелламо». Посвящено товарищу детства Полонского Михаилу Егоровичу Кублицкому (1821—1875), о котором писатель упоминает в своих воспоминаниях (см. т. 2 наст. изд., с. 426). На это стихотворение написана дружеская пародия Козьмы Пруткова «Разочарование» (Сочинения Козьмы Пруткова. Кострома, 1958, с. 41—42).

Весна (с. 97).— *С*, 1853, № 5, с. 162, где имелась заключительная строфа, исключенная в последующих изданиях:

И, лукаво подмазавши петли
У дверей, что нескромно скрыпят,
Для других засветила лампаду
И окно занавесила в сад.

Письмо (с. 98).— *М*, 1853, № 14, с. 75.

Песня цыганки (с. 99).— *С*, 1853, № 11, с. 54. Текст первоначальной журнальной публикации отличался от окончательного текста второй строфой:

Видишь, ветер мачту клонит;
В степь далеко, милый мой,
Нас от города прогонит
Этот ветер кочевой.

Авторская датировка (1853) вызывает сомнение, так как противоречит воспоминаниям Фета о годах студенчества: «Что касается меня, то едва ли я был не один из первых, почуявших несомненный и оригинальный талант Полонского... Помню, в каком восторге я был, услыхав в первый раз:

Мой костер в тумане светит,
Искры гаснут на лету...»

(Фет А. Ранние годы моей жизни. М., 1893, с. 155). Вероятно, это стихотворение было написано в первой половине 1840-х гг.

Воспоминание (с. 99).— *ОЗ*, 1853, № 12, с. 255.

«Ж и з н ь   д в и ж е т с я   в п е р е д   п о х о д к о ю   н е р о в н о й...» (с. 101).— *Сб. 1855*, с. 93.

Б р е д (с. 101).— *Сб. 1855*, с. 96.

П о с л е д н и й   в ы в о д (с. 102).— *Сб. 1855*, с. 111. Адресат стихотворения — вероятно, университетский товарищ поэта А. В. Новосильцев, участник студенческого поэтического кружка. Стихотворение проникнуто внутренней полемикой с «Думой» Лермонтова. Впоследствии в своих студенческих воспоминаниях Полонский высказывал недовольство тем, что Лермонтов в «Думе» «не заметил их поколения» (об этом см. т. 2, настоящего изд.). В финале стихотворения имеется реминисценция из «Гамлета Щигровского уезда» (1848) И. С. Тургенева, утверждавшего, что «таких Гамлетов во всяком уезде много...».

Смешным неверием осмеянные слезы...— Перифраза строки Лермонтова «неверием осмеянных страстей».

Мы так же, как и ты, похожи на Гамлета;//Ты так же, как и мы, немножко Дон Кихот.— Эти строки воспринимаются как реминисценция из статьи Тургенева «Гамлет и Дон Кихот» (1860), между тем как первые наброски статьи Тургенева относятся к началу 1857 г., а стихотворение Полонского было написано в 1855 г. Не исключено, что Полонский знал о замысле статьи Тургенева.

К о л о к о л ь ч и к (с. 102).— *С*, 1854, № 7, с. 119. «Любители поэзии Полонского обыкновенно особенно выделяют среди его стихотворений «Колокольчик» ⟨...⟩ Им, вероятно, будет приятно узнать, что сам поэт именно это стихотворение считал своим любимым» (П е р ц о в П. Литературные воспоминания. М., 1933, с. 124—125). Зимой 1878/79 г. на «пятницах» у Полонского произошла знаменательная встреча автора «Колокольчика» с Достоевским. Полонский в это время жил на углу Николаевской и Звенигородской улиц. Окна его квартиры выходили на Семеновский плац. «Яков Петрович Полонский сам подвел Достоевского к окну, выходящему на плац, и спросил: «Узнаете, Федор Михайлович?» Достоевский заволновался... «Да!... Да!... Еще бы... Как не узнать?...» И он мало-помалу стал рассказывать про то утро, когда к нему в каземат крепости кто-то пришел, велел переодеться в свое платье и повез... Куда? Он не знал, как и не знали его товарищи...» Достоевский вспомнил тот страшный день 22 декабря 1849 г., когда он стоял на эшафоте, на Семеновском плацу, приговоренный к расстрелу. После того, как Достоевский умолк, Яков Петрович подошел к нему и ласково сказал: «Ну, все это было и прошло... А теперь пойдемте к хозяюшке... чайку попить». «Прошло ли?»— загадочно сказал Достоевский» (Ф. М. Достоевский в восп. современников, т. 2. М., 1964, с. 381—383). В жизни Достоевского ничего не проходило бесследно. Так и стихотворение «Колокольчик», прочтенное в 1854 г. во время его мучительного романа с М. Д. Исаевой, врезалось в память художника и отразилось в его романе «Униженные и оскорбленные» (об этом см. во вступ. статье к наст. изд., с. 9—10).

Р ы ц а р с к а я   о ш и б к а (с. 103).— *С*, 1854, № 11, с. 123. В издание 1896 г. не вошло.

С м е р т ь м а л ю т к и (с. 105).— *Сб. 1855*, с. 70.

В г л у ш и (с. 105).— *ОЗ*, 1855, № 2, с. 294.

«С в е т в о с х о д я щ и х з в е з д — в с я н о ч ь, к о г д а о н а...» (с. 106).— *ОЗ*, 1855, № 2, с. 294, под заглавием «Глаза».

У А с п а з и и (с. 107).— *С*, 1855, № 2, с. 305, под заглавием «Аспазия».

П ч е л а (с. 107).— *С*, 1855, № 3, с. 188.

«М о я с у д ь б а, с т а р у х а, н я н ь к а з л а я...» (с. 108).— *С*, 1855, № 4, с. 315.

Н а Ч е р н о м м о р е (с. 109).— *С*, 1855, № 10, с. 139. В журнальном варианте вместо 6-й строфы были напечатаны три другие строфы:

И одолели мы врага...
И замер крик... Едва нога
Француза перешла тот вал,
Где был когда-то *их* редут —
Вслед за громами вдруг настал
Как бы последний страшный суд.

Неслыханная тишина,
Тоски и ужаса полна,
Распространившаяся вдруг,
Казалось, говорила нам,
Что небеса пришли в испуг,
Что страшно даже мертвецам.

На камнях я, лишенный сил,
Лежал — и вот глаза раскрыл...
Казалось мне, что я дремал
На дне могилы — до того
Тишь моря и молчанье скал
Смутили друга моего.

Наш новый полубог — французский император Наполеон III, захвативший престол после государственного переворота 2 декабря 1851 г. Стихотворение «На Черном море»— монолог французского солдата, раненного во время последнего штурма Севастополя. *Мадзини* (Маццини) Джузеппе (1805—1872)— один из вождей итальянского национально-освободительного движения.

«Н е т, н е т! н е о т т о г о п р и з н а н ь е м м е д л ю я...» (с. 111).— *Сб. 1855*, с. 53.

П р о с т и (с. 112).— *Сб. 1855*, с. 75.

З в е з д ы (с. 112).— *ОЗ*, 1856, № 2, с. 396.

«М о е с е р д ц е — р о д н и к, м о я п е с н я — в о л н а...» (с. 113).— *РВ*, 1856, № 6, с. 166, под заглавием «Песня».

«П о д о й д и к о м н е, с т а р у ш к а...» (с. 113).— *С*, 1856, № 6, с. 281. Это стихотворение было отмечено Добролюбовым в рецензии на *Сб. 1859* как одно из «самых замечательных».

И. С. А к с а к о в у (с. 114).— Русская беседа, 1856, т. III, с. 103. Ответ на стихотворение И. С. Аксакова «Добро б мечты» (1856), в котором

поэт высмеивал либеральные упования в среде поместного дворянства на реформы. 24 ноября 1856 г. И. С. Аксаков писал родным: «Прочел стихи Полонского ко мне. Это было для меня совершенным сюрпризом, я ничего не знал об этом, да и с Полонским вовсе незнаком. Стихи — как стихи превосходные, особенно первый стих, но последние четыре строфы довольно темны; я в свою очередь не понимаю, что именно он хочет сказать» (И. С. Аксаков в его письмах. М., 1892, ч. I, т. III, с. 304). В 1857 г. в «Русской беседе» появилось стихотворение И. С. Аксакова «Ответ», вызванное посланием Полонского, в котором И. С. Аксаков возражал против идеализации его поэтической личности Полонским: «...ты хвалой неосторожной//Мои стремленья оскорбил...»

Ты мир души не видишь тайный,
Ты за вседневный принял строй
Восторга миг необычайный,
Порыв поэзии живой.

Нет! пусть дары ее высоки,
Но даже лучшие жрецы
Во храме — вещие пророки,
Вне храма — жалкие слепцы!

Пускай поэт — небес избранник,
Но, к долу снидя с высоты,
Он снова узник, раб и данник
Страстей и мелкой суеты!

На пути из гостей (с. 115).— Библиотека для чтения, 1856, № 12, с. 30, с цензурным изъятием стихов 75—78, обозначенных точками.

Соловьиная любовь (с. 117).— *С*, 1857, № 2, с. 235—236.

Туман (с. 118).— *Сб. 1859*, с. 54.

На корабле (с. 119).— *Сб. 1859*, с. 95.

«Не сердце разбудить, не праздный ум затмить...» (с. 119).— *Творчество*, с. 7.

«Тень ангела прошла с величием царицы...» (с. 120).— *РВ*, 1857, № 1, с. 208. Эпиграф — начальная строка первой «Еврейской мелодии» Байрона.

Ночь в Крыму (с. 120).— *С*, 1857, № 4, с. 276, с вариантом в строке 4 (не цынцырны, а цикады).

А. Н. Майкову (с. 121).— Библиотека для чтения, 1857, № 10, с. 215—218. Полонский отвечал на послание А. Н. Майкова, которое начиналось словами:

Полонский! суждено опять судьбою злою
Нам розно дни влачить:
Меж тем моя душа сроднилась уж с тобою —
Ей нужно так любить!

Тридцать лет спустя в стихотворении к Я. П. Полонскому А. Н. Майков, вспоминая о юношеской дружбе с ним и с Фетом, писал:

В полустолетье ж наших муз
Провозгласим мы тост примерный
За поэтический, наш верный,
Наш добрый тройственный союз!

Я помню как неловко с ней//Ты шел на шумную арену // Народных браней и страстей.— Намек на стихотворения А. Н. Майкова времен Крымской войны, в которых поэт восхвалял Николая I.

Утрата (с. 124).— Русское слово, 1859, № 1, с. 34—35. Об этом стихотворении А. Н. Майков писал: «В пьеске, присланной тобой мне, есть два великолепные, пушкинские стиха, да и вся пьеска пахнет ароматом Пушкина: *«Все недосказанное вами// И недослушанное мной» (Высокая лестница*, с. 94).

Хандра (с. 125).— Русское слово, 1859, № 1, с. 176.

На берегах Италии (с. 126).— Русское слово, 1859, № 2, с. 1.

Ночь в Сорренто (с. 127).— Русское слово, 1859, № 12, с. 125, под заглавием «(Посвящается А. И. Майковой)». Адресат — Анна Ивановна Майкова, жена Аполлона Майкова. *Торквато Тассо* (1544—1595) — великий итальянский поэт, уроженец Сорренто, автор рыцарской эпопеи «Освобожденный Иерусалим», романтически влюбленный в Элеонору, сестру феррарского герцога Альфонса II д'Эсте; за эту любовь был заключен в дом умалишенных. Трагическая судьба поэта положена в основу поэмы К. Н. Батюшкова «Умирающий Тасс» (1817). Образ Тассо был чрезвычайно популярен в русской поэзии XIX в. Подробнее об этом см.: Горохова Р. М. Образ Тассо в русской романтической литературе.— В кн.: От романтизма к реализму. Л., 1978, с. 117—188.

Чивита-Векиа (с. 128).— *Кузнечик-музыкант*, с. 87—88.

Холодеющая ночь (с. 128).— *С*, 1858. № 9, с. 265. Адресат — Мария Федоровна Штакеншнейдер (1811—1892), хозяйка литературного салона в Петербурге в 1850—1860-е гг.

«Корабль пошел навстречу темной ночи...» (с. 130).— *Сб. 1859*, с. 58.

Песня (с. 131). — *Сб. 1859*, с. 93. Адресат — поэт и переводчик Николай Васильевич Гербель (1827—1883).

Сумасшедший (с. 132).— *С*, 1859, № 5, с. 95.

Женщине (с. 133).— *С*, 1859, № 7, с. 95.

«По горам две хмурых тучи...» (с. 134).— *С*, 1859, № 10, с. 358.

Иная зима (с. 135).— Русское слово, 1860, № 1, с. 257—258.

Для немногих (с. 135).— Русское слово, 1860, № 1, с. 256. Название стихотворения соотносится с посланием Пушкина к Жуковскому «Когда к мечтательному миру...», в котором Полонский выделил для себя ключевую строку: «Ты прав, творишь ты *для немногих*». В издание 1896 г. не вошло.

Казачка (с. 136).— *С*, 1862, № 1, с. 257.

Сны (с. 138).— 1 — *С*, 1856, № 4, с. 235, 2 и 3 — *Сб. 1859*,

с. 26—29; 4 — *С*, 1859, № 7, с. 93, под заглавием «Во сне»: 5 — Русское слово, 1860, № 4, с. 301.

«Ты моя раба, к несчастью!..» (с. 145).— *Творчество*, с. 5.

Чайка (с. 146).— Русское слово, 1860, № 5, с. 235. В открытом письме к редактору «С.-Петербургских ведомостей» И. С. Тургенев писал о «Чайке»: «Я не много знаю стихотворений на русском языке, которые по теплоте чувств, по унылой гармонии тона стояли бы выше этой «Чайки». Весь Полонский высказался в нем» (Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем в 28-ми томах. Сочинения, т. 11. М., 1968, с. 158).

«Я ль первый отойду из мира в вечность — ты ли...» (с. 146).— Русское слово, 1860, № 11, с. 206. Обращено к жене поэта.

Безумие горя (с. 147).— Русское слово, 1860, № 12, с. 52. Посвящено памяти первой жены поэта — Елены Васильевны Устюжской, умершей в возрасте 20 лет в июне 1860 г. Француженка по матери, дочь псаломщика при русской церкви в Париже, она с первой встречи очаровала Полонского; в июне 1858 г. Полонский писал Л. П. Шелгуновой: «У нее высокий, умный лоб, глаза синие, с таким звездным блеском и такими большими зрачками, каких я от роду не видывал. Ее профиль правильный и строгий, выражение глаз тоже строгое, а улыбка веселая и совершенно детская... Вы меня теперь спросите — влюблен ли я? Чувство, которое я испытываю теперь, совсем не то, которое я испытывал, когда влюблялся, и, вероятно, это от того происходит, что я начал с того, что сам не знаю, почему задумал жениться. Я этим до такой степени сам себя озадачил, что все, что есть в страсти слепого и безрассудного, все меня покинуло.— Я жажду понять ее, даже ищу, нет ли в ней недостатков, и, право, нашел бы их, если бы они были. Роковая встреча с нею и вообще все это дело, мною начатое, подняли со дна души моей все, что чуть ли не с детства покоилось в ней. Все хорошие и дурные стороны моего характера, все выступили наружу, и я борюсь то со своим самолюбием, то с испугом за будущее, то с невольной боязнью взять на свою ответственность новое для меня существование, не имея под ногами у себя прочной почвы. За все такие колебания я называю себя Подколесиным, упрекаю себя в такой трусости» (газ. «Родная земля», 1904, № 3, от 3 января). В июле 1858 г. Полонский женился в Париже, а в августе того же года возвратился с женой в Петербург.

«Я читаю книгу песен...» (с. 148).— Время, 1861, № 3, с. 328. Книга песен — «Buch der Lieder» Г. Гейне; в 1858 г. этот цикл стихотворений Гейне вышел в переводе М. Л. Михайлова, который послал свою книжку переводов Полонскому.

«Признаться сказать, я забыл, господа...» (с. 148).— *Изд. 1935*, с. 170—171. Это стихотворение представляет собой непосредственный отклик Полонского на крестьянскую реформу 19 февраля 1861 г. При жизни автора не было напечатано, скорее всего, по цензурным соображениям. *Когда его музу цензура сечет.*— Реминисценция из стихотворения Некрасова «Вчерашний день, часу в шестом...».

«К о г д а б л ю б о в ь т в о я м н е с п у т н и ц е й б ы л а . . .» (с. 149).—Русское слово, 1861, № 5, с. 52. В издание 1896 г. не вошло. Обращено к покойной жене.

Д а в н и ш н я я п р о с ь б а (с. 150).— *Снопы*, с. 351, под заглавием «Обличительному поэту». Стихотворение вызвано нападками Д. Минаева и Д. Писарева на поэзию Полонского. Слова, выделенные курсивом, взяты Полонским из журнально-критических статей, опубликованных в «Русском слове», перефразированы и зарифмованы. *С темным человеком.* — Полонский имеет в виду «Дневник темного человека» (Русское слово, 1861, № 10) Д. Минаева. *Тогда-то Писарев и чувство*... и далее.— Это непосредственный отклик Полонского на статью Писарева «Писемский, Тургенев, Гончаров» (Русское слово, 1861, № 11), в которой были такие строки: «Г.г. Фет, Полонский, Щербина, Греков и многие другие микроскопические поэтики забудутся так же скоро, как те журнальные книжки, в которых они печатаются... Они считают себя художниками, имея на это звание такие же права, как модистка, выдумавшая новую куафюру».

Б е г л ы й (с. 151).— Время, 1861, № 11, с. 222. *Цепь железная, и та, вишь, порвалась.*— Ср. с более поздними стихами Некрасова из поэмы «Кому на Руси жить хорошо» (часть первая, гл. 5): «Порвалась цепь великая, порвалась — расскочилася: одним концом по барину, другим по мужику!..»

О д н о м у и з у с т а л ы х (с. 152).— *Кузнечик-музыкант*, с. 85—87. В издание 1896 г. не вошло.

Д в о й н и к (с. 154).— Время, 1862, № 4, с. 315. Сообщая это стихотворение (в первоначальной редакции, сильно отличающейся от печатной) Л. Толстому, Полонский писал: «Посылаю Вам, граф, стихотворение, написанное мною вчера под влиянием нескольких аккордов, взятых Вами из пьесы Шуберта «Двойник» (Летопись Гос. лит. музея, кн. 12. М., 1948, с. 215). *Пьеса Шуберта* — романс «Двойник», написанный композитором на слова Гейне. В этом стихотворении Полонского чувствуется сопереживание мировосприятию Г. Гейне. Ср. со стихами Гейне в переводе Блока (из цикла «Опять на родине»):

Двойник! Ты — призрак! Иль не довольно
Ломаться в муках тех страстей?
От них давно мне было больно
На этом месте столько ночей!

(Г е й н е Г. Собр. соч., т. 1. М., 1956, с. 94).

Б е л а я н о ч ь (с. 154).— Время, 1862, № 11, с. 298.

«П о л з е т н о ч н а я т и ш и н а...» (с. 155).— Время, 1862, № 11, с. 353, под заглавием «На мызе». Стихотворение адресовано приятельнице поэта — Елене Андреевне Штакеншнейдер (1836—1897), дочери петербургского архитектора А. И. Штакеншнейдера. *Мыза Ивановка* — дача Штакеншнейдера под Гатчиной. В эти годы Е. А. Штакеншнейдер сочувствовала революционному движению, находилась под сильным влиянием

романа Чернышевского «Что делать?», дружила с П. Л. Лавровым.

Поцелуй (с. 156).— Русское слово, 1863, №1, с. 38, без заглавия.

Старый орел (с. 156).— Библиотека для чтения, 1863, № 9, с. 34.

«Твой скромный вид таит в себе...» (с. 157).— *Кузнечик-музыкант*, с. 96.

«Заплетя свои темные косы венцом...» (с. 157).— «Библиотека для чтения», 1864, № 10-11, с. 151.

В альбом К. Ш... (с. 158).— *Снопы*, I, с. 348.

«Все, что меня терзало,— все давно...» (с. 158).— Эпоха, 1864, № 4, с. 292. В издание 1896 г. не вошло. Печатается по тексту сб. «Оттиски» (1866).

«Чтобы песня моя разлилась как поток...» (с. 159).— Эпоха, 1864, № 9, с. 1.

Чужое окно (с. 159).— Эпоха, 1864, № 9, с. 1. В издание 1896 г. не вошло. Печатается по тексту сб. «Оттиски» (1866).

Век (с. 159).— Эпоха, 1864, № 9, с. 1.

«Что, если на любовь последнюю твою...» (с. 160).— Эпоха, 1864. № 9, с. 2.

Последний вздох (с. 160).— Эпоха, 1864, № 9, с. 3. Посвящено памяти жены поэта Е. В. Устюжской. Строки Полонского созвучны стихотворению Жуковского «9 марта 1823», написанному о последней встрече поэта с М. А. Протасовой-Мойер:

Ты предо мною
Стояла тихо.
Твой взор унылый
Был полон чувства.
Он мне напомнил
О милом прошлом...
Он был последний
На здешнем свете.
Ты удалилась,
Как тихий ангел,
Твоя могила,
Как рай, спокойна!
Там все земные
Воспоминанья,
Там все святые
О небе мысли.

Звезды небес,
Тихая ночь!..

Поэту-гражданину (с. 161).— Эпоха, 1864, № 9, с. 4. Вероятно, Полонский имеет в виду Некрасова.

«Любви не боялась ты, сердцем созревшая рано...» (с. 162).—Эпоха, 1864, № 10, с. 113, под заглавием «Обманутая». *Ты напомнила мне много милых теней.*— Перифраза строки из посвящения

Жуковского к повести-балладе «Двенадцать спящих дев»: «И много милых теней восстает».

«Рассказать ли тебе, как однажды...» (с. 162).— *Озими*, I, с. 7. В этом стихотворении ощущается влияние иронической традиции Гейне (ср. со стихотворением Полонского «Плохой мертвец»). Впоследствии подобные мотивы и образы появляются в творчестве Блока («Когда невзначай в воскресенье...», «Все свершилось по писаньям...», «Как тяжко мертвецу среди людей...» и др.).

«Время новое повеяло — смотри...» (с. 163).— *С*, 1865, № 4, с. 442.

«Наплывает туча с моря...» (с. 164).— *С*, 1865, № 4, с. 442.

«И в праздности горе, и горе в труде...» (с. 164).— *С*, 1865, № 4, с. 442, с цензурным изъятием строк 6—7.

Ф. И. Тютчеву (с. 164).— *С*, 1865, № 4, с. 443. Стихотворение, очевидно, вызвано письмом Тютчева к Полонскому от 8/20 декабря 1864 года из Ниццы, в котором он пишет о своем безутешном горе, вызванном кончиной Е. Денисьевой. (Тютчев Ф. И. Сочинения в двух томах, т. 2. М., 1984, с. 273). В сочинениях 1869 г. Полонский сопроводил стихотворение примечанием: «В ответ на это послание автор получил следующее четверостишье:

Нет боле искр живых на голос твой приветный:
Во мне глухая ночь и нет для ней утра!
И скоро улетит во мраке незаметный,
Последний, скудный дым с потухшего костра.

30 мая 1865 г.».

В автографе Тютчева это четверостишие озаглавлено «Другу моему Я. П. Полонскому».

Неизвестность (с. 165).— *С*, 1865, № 4, с. 444.

Плохой мертвец (с.166).— Библиотека для чтения, 1865, № 7—8, с. 43.

«Слышу я, моей соседки...» (с. 166).— Библиотека для чтения, 1865, № 7—8, с. 44.

«Поздняя молодость» (с. 167).— *Оттиски*, с. XIV.

«Среди хаоса» (с. 168).— Литературная библиотека, 1866, декабрь, кн. I, с. 27, где имеются две начальные строфы, снятые автором в последующих изданиях:

Поверь, когда б меня общественного строя
Не обездолила бездушная среда,
Я б мог любить тебя, людей не беспокоя,
Я мог бы, не боясь ни бури, ни застоя,
Спокойно счастья ждать от славы и труда.
Но погляди кругом — какая безнадежность!
Скажи, чего нам ждать?! Хоть на себя взгляни,—
Какая клятва иль ребяческая нежность
Вновь сердцу твоему даст ту же безмятежность,
Навеет те же сны про золотые дни!..

В стихотворении отразились социальные потрясения, вызванные крестьянской реформой 1861 г. «Взбаламученное море» пореформенной России вызывало пессимистическое настроение поэта, не видевшего путей к более справедливому переустройству общества.

Детское геройство (с. 169).— Искра, 1866, № 7, с. 92, под заглавием «Детское геройство в разных видах» и со второй автобиографической частью, исключенной в последующих изданиях:

2

Мир сказочный меня пленял
Своими чудесами.
Я терни жизни прикрывал
Их дивными цветами.

Мне был знаком герой Гуак,
И дева Сандрильена.
Мне был Иванушка дурак
Милей Наполеона.

И жажда подвиг совершить
Меня одолевала,
И я хотел — чтоб верным быть —
Любить, во что б ни стало.

В соседстве девочка одна,
За ветками герани,
Сидела часто у окна
(Что против нашей бани).

Когда с котомкой в школу я
Шагал, она, так звонко
Смеясь, глядела на меня
И гладила котенка.

Когда я в полдень шел домой,
Я видел — из-за ветки —
Мелькал там пальчик над канвой,
Иглой считая клетки.

Когда я шел под вечерок,
Она уже зевала,
Чесала голый локоток
Иль куклу раздевала.

Но как герой, ни дать ни взять,
Влюбленный не на шутку,
Я был готов и жизнь отдать,
И драться за малютку.

Она мне снилась меж лучей,
На облачном престоле,
Головка — в золоте кудрей,
Была как в ореоле.

Глаза — два голубых огня —
Таинственно мерцали
И духи, профили склоня,
К ее ногам слетали.

И эльфы гимны пели ей —
А я, духов властитель,
Был ей послушный чародей
Иль тихий покровитель.

И много было глупых снов...
(Знать, корень их в природе;
Бывают сны и у ослов
Почти в таком же роде).

Но не с ослами же равнять
Себя и наших братий:
Ослам ли в морды целовать
Друг друга в миг объятий?

А мне хотелось целовать —
И сей мечтой проникнут,
Ничком я падал на кровать
И ныл — пока не кликнут.

Мне нужен подвиг — я твердил:
Твой раб, твой друг, твой воин,
Покуда чуда не свершил,
Тебя он не достоин!

И вот, должно быть, поняла
Она мое стремленье,
И мне задачу задала
В минуту откровенья.

«В чужом саду нельзя ль пройтись
По дыням и по тыквам.»
Она сказала мне: решись.
— О да, чтоб угодить вам,

На все решаюсь,— молвил я.
«Смотри ж, как можно скрытней...»
И не шутя стал думать я,
Как лучше угодить ей.

— Будь я Иванушка-дурак,
Мне стоило бы только
На волка сесть, и я собак
Не струсил бы нисколько.

Служи-ка, рыбка щука, мне,
Ну, я прослыл бы хватом —
Ну и помчался б на коне
Каком-нибудь крылатом;

Ну и украл бы... Боже мой!

Зачем ей тыква с дыней?
Что буду делать я с такой
Капризною богиней!

Из тыквы я могу помочь
Ей смастерить кубышку —
А дыню съесть — и в ту же ночь
Я взял мешок под мышку.

И в ту же ночь садовник злой
Меня стащил с забора,
Отвел в шалаш дощатый свой
И запер в нем, как вора.

Три дня я плакал от стыда.
Проклятая малютка!
Я был дитя;— но, господа —
Любовь детей не шутка.

Любовь! да, это божество
Подчас такого свойства,
Что и больших на воровство
Пошлет, как на геройство.

Спустя 15 лет (с. 170).— Женский вестник, 1866, № 1 (сентябрь), с. 189, под заглавием «Стансы». Первоначальная редакция этого стихотворения была напечатана в «Московском литературном и ученом сборнике на 1847 год» (М., 1847, с. 262); стихотворение было написано в Одессе в 1846 г. и адресовано Марии Егоровне Гутмансталь. Приводим текст первой редакции:

М. Е. Г.....ЛЬ

В краю, где я страдал так тайно,
В стране безвестной и чужой,
Куда я брошен так случайно
Неумолимою тоской,—

Не благодатный ветер южный,
Не злого моря бурный вал
Остепенял мой дар недужный,
Мне раны сердца врачевал —

Нет!— я нашел людей с душою,
Счастливых, добрых и простых,
И помирился я с судьбою
Не за себя,— так за других!

И если, странник бесприютный,
Я в мире доли не найду
Или в борьбе ежеминутной
Изнемогу и упаду,—

Авось прибегну к теплой вере,
Что есть на свете благодать,—
И буду знать, по крайней мере,
Чего желать, чего искать...

5 июня 1846 г.
Одесса.

Молчат далекие могилы.— Полонский имеет в виду смерть в Сибири своего друга М. Л. Михайлова. Подробнее об этом см. во вступительной статье, с. 21 наст. изд.

Орел и змея (с. 171).— Литературная библиотека, 1866, октябрь, кн. I, с. 11. С подзаголовком «(Басня)».

Цыганы (с. 172).— Литературная библиотека, 1866, октябрь, кн. I, с. 99, под заглавием «Цыганская песня». В собрание стихотворений 1896 г. не вошло. Печатается по изд.: Книжки Недели, 1887, № 6, с. 14.

Литературный враг (с. 173).— Литературная библиотека, 1867, № 1, с. 41—42. Стихотворение вызвано, вероятно, арестом поэта-искровца Д. Д. Минаева, который после каракозовского выстрела был посажен в Петропавловскую крепость. (О полемике Полонского с Д. Д. Минаевым см. стихотворение «Давнишняя просьба» и комментарии к нему.) Позднее, в 1887 г., на юбилейном торжестве 50-летия литературной деятельности Полонского, Д. Д. Минаев обратился к своему бывшему «противнику» с добрыми, примирительными стихами:

Твоя задумчивая муза,
Поэта нежная сестра,
Не знала темного союза
С врагами света и добра.
К призывам буйного их пира
Глуха, шла гордо за тобой
И не была у сильных мира
Ни приживалкой, ни рабой.

Напрасно (с.174).— Литературная библиотека, 1867, № 22.

Муза (с. 175).— Женский вестник, 1867, № 3, с. 87.

Влюбленный месяц (с. 176).— Модный магазин, 1868, № 7, с. 122. Адресовано литератору Михаилу Леонтьевичу Златковскому (1836—1904), который вместе с Полонским служил в Комитете иностранной цензуры.

На железной дороге (с. 177).— *РВ*, 1868, № 10, с. 643.

Миазм (с. 179).— *ВЕ*, 1868, № 12, с. 769, под заглавием «Покинутый дом». 8 (20) октября 1868 г. И. С. Тургенев писал Полонскому: «Я только что собирался отвечать тебе на твое первое письмо, как пришло второе, с двумя стихотворениями. Скажу тебе тотчас, что первое, где является мертвый мужичок, весьма замечательно, даже поразительно — и, по-моему, требует только несколько маленьких поправок — а именно: а) *Судороги...* жар — а несколько ниже: *«судорожный гнев»*— ненужное повторение. в) Весь прибавленный куплет: «Плакали мы тоже»— излишен; он же

и неясен. c) Главное — «И не я... мой *вздох*»— нехорошо, имеет какую-то комическую сторону. Оставь «вздох» — только в стихе: «Вздох мой тяжкий твоего ребенка» и т. д. d) «Незабвенный прах» — имеет что-то риторическое и неестественное в устах мужика» (Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем в 28-ти томах. М., 1964. Письма, т. VII, с. 225—226). В окончательном тексте стихотворения Полонский принял все пожелания Тургенева.

«Заря под тучами взошла и загорелась...» (с. 181).— *Соч. 1870*, т. II, с. 314.

«Когда октава за октавой...» (с. 182).— *Озими*, ч. I, с.5.

За непогрешимость (с. 182).— *Снопы*, I, с. 523. Догмат о папской непогрешимости был провозглашен Пием IX и признан на Ватиканском соборе 1870 г.

Полярные льды (с. 184).— *Снопы*, *I*, с. 502.

«Когда я был в неволе...» (с. 185).— *Снопы*, I, с. 503.

О Н. А. Некрасове (с. 185).— *Снопы*, I, с. 515, под названием «О нем». В черновом автографе, впервые приведенном в *Изд. 1935*, после строки второй следовало:

Когда его устала грызть
И зависть тайная и тайная корысть —
И смерть, набрасывая тень,
Пророчила ему последний в жизни день.
Тогда, я помню, как он был
И прост и духом бодр — как искренно любил,
Как искренно негодовал!
И долго руку нам с одра болезни жал.
Его приветливым речам
Мы так же верили, как и его стихам.

Когда его устала грызть...— Имеется в виду недовольство революционной демократии одой Некрасова М. Н. Муравьеву (1866).

Кораблики (с. 186).— Заря, 1870, № 4, с. 195, под заглавием «Два кораблика». Одно из программных стихотворений Полонского.

Откуда?! (с. 187).— *Снопы*, I, с. 521—522. *Из-за ограды ли того монастыря,//Где Нестор набожно писал свои сказанья?* — В Киево-Печерском монастыре монах Нестор писал летопись «Повесть временных лет». *Хитрый иезуит* — Никколо Макиавелли (1469—1527), итальянский писатель, историк, политический деятель, автор трактата «Государь» (1513), русский перевод которого был издан в 1869 г. *Где Гус, за чашу крест подняв...* и далее.— Ян Гус (1371—1415) — идеолог чешской Реформации, один из руководителей национально-освободительного антифеодального движения. *Где Жижка...* и далее.— Ян *Жижка* (ум. 1424) — чешский политический деятель и полководец.

Вложи свой меч (с. 188).— Книжки Недели, 1886, № 10, с. 171—173. *Когда к лобзанью призывал//Устами Шиллера весь мир и все народы.*— Имеется в виду ода Шиллера «К радости» («An die Freude», 1785), опубликованная в России в переводе Тютчева в альманахе «Северная лира» (с. 30—36) в 1827 г. с датой: «Мюнхен. 1823. Февраль». *С поче-*

том принял ты под свой покров того...— После поражения под Седаном в начале сентября 1870 г. Наполеон III сдался в плен и был с почетом устроен в загородном дворце Вильгельма I под Касселем.

Что с ней? (с. 190).— *ВЕ*, 1872, № 1, с. 170. Посылая это стихотворение М. М. Стасюлевичу (редактору *ВЕ*), Полонский писал ему 11 ноября 1871 г.: «Никогда еще не брал я на себя такой трудной поэтической задачи — изобразить нигилистку (начала 60-х годов), и изобразить так, чтоб, во-первых, не обвинить ее — даже отнестись к ней с некоторым сочувствием — и, во-вторых, не раздразнить и не вооружить против себя ни цензуры, ни моралистов. Насколько справился я с этой задачей — не мне решать — скажу только, что немало положил я на нее труда — и долгих соображений» (М. М. Стасюлевич и его современники в их переписке, т. III. СПб., 1912, с. 497). *И скоро среди мастерских мы с тобой...*— Полонский пересказывает учение французского социалиста-утописта Шарля Фурье (1772—1837) о фаланстерах.

Зимняя песня русалок (с. 192).— *Озими*, ч. I, с. 89.

«Блажен озлобленный поэт...» (с. 193).— Складчина, СПб., 1874, с. 61—62. Издатель *ВЕ* М. М. Стасюлевич отказался печатать это стихотворение, по-видимому, не желая заслужить репутацию редактора журнала с публицистическим направлением; в письме к Полонскому он замечал: «Наконец, слепой увидит, к кому Вы адресуете эти строфы: это ведь личность». В ответном письме от 23 февраля 1872 г. Полонский возражал: «Когда я писал стихи мои, я имел в виду вовсе не Некрасова, а Истину,— ту истину, которой не угадал Некрасов, когда писал стихи свои: «Блажен незлобивый поэт». Факт тот — что в 19 веке — европейское общество сочувствует не *незлобивым*, а *озлобленным* — и стихи мои не что иное, как поэтическая *формула*, выражающая этот факт» (М. М. Стасюлевич и его современники в их переписке, т. III, с. 499—500). Из последующих писем Полонского видно, что М. М. Стасюлевичу был послан иной откровенно тенденциозный текст стихотворения, найденный и опубликованный Б. М. Эйхенбаумом; оно называлось «Мы и поэты», ему был предпослан эпиграф из стихотворения Некрасова «Блажен незлобивый поэт»; вот этот текст:

Блажен озлобленный поэт,
Будь он хоть нравственный калека,
Ему так искренен привет
Больных детей больного века!
Кто свой художественный труд
Считает суетной забавой,
Кто сам в людской не верит суд,
Но жадно гонится за славой —
Кто желчи дорогой запас
Хранит как лучший дар страданья,
Кто как детей пугает нас
Холодным смехом отрицанья,
Чей стих, как острие стрелы
Отравленной врагу опасен,

Тот — как бы ни были мы злы —
И как бы ни был свет безгласен —
От наших лавров не уйдет
И в нас поклонников найдет.
И сразу мы его поставим
На пьедестал и воспрославим
И скажем — крик его — наш крик...
Его пороки — наши, наши!
Он с нами пьет из общей чаши,
Как мы отравлен и — велик!..

Но жалок тот поэт, кто славы
От века нашего не ждет,
Кто не вкусил его отравы,
Чтоб честь иметь — плевать в народ,
Чье вдумчивое вдохновенье
Как врач с больными говорит,
Кто независимо творит
Вдали от смутного броженья
Слепых невежд — кто света ждет
От разума, а не от злобы,
Кто втайне любит свой народ
Не так, как черви любят гробы
И в них зарытых мертвецов.
Такой поэт в толпе глупцов
Пусть как пигмей проходит мимо —
Ему мы скажем: ты не наш,
Не наш! гонись неутомимо
За красотой — такую блажь
Мы не простим тебе вовеки.
Или не видишь ты, слепец,
Что мы одряхли наконец,
Что мы давно уже калеки.
К чему нам эта красота,
Здоровой юности мечта!
Нет — мы бессильны, плачь же с нами,
Брани того, кого браним,
И если ты неуязвим
Как бог — с такими божествами
Иметь мы дела не хотим...

«Мой ум подавлен был тоской...» (с. 194).— *Складчина*, с. 61.

Из Бурдильёна (с. 194).— *Складчина*, с. 64, со следующим примечанием автора: «Стихотворение это было напечатано в английском журнале «Spectator» 1873 г. № 2365. В том же журнале вновь перепечатано с переводами, присланными из Франции и Германии. Затем, без подписи автора, стало появляться в американских изданиях. Я перевел их как умел».

Казимир Великий (с. 195).— Неделя, 1874, № 21, стлб. 786—789. *Казимир III Великий* (1310—1370) — польский король, правление которого способствовало укреплению Польши. Стихотворение Полонского, написанное во время голода в России в 1873 г., явно являлось назиданием властям, как подобает себя вести в подобной драматической

ситуации. Адресат стихотворения — Александр Федорович Гильфердинг (1831—1872), славяновед, собиратель и исследователь былин.

Ночная дума (с. 199).— Гражданин, 1875, № 3, с. 67.

В степи (с. 200).— *Озими*, ч. I, с. 128. Варианты черновых автографов см.: *Изд. 1935*, с. 733—734.

Диссонанс (с. 203).— *Озими*, ч. I, с. 179. *Ада Кристен* — псевдоним немецкой поэтессы Кристины Бреден (1844—1901), автора сборников «Lieder einer Verlorenen» (1869), «Aus der Asche» (1870).

«В дни, когда над сонным морем...» (с. 204).— *Озими*, ч. I, с. 180.

Слепой тапер (с. 205).— Неделя, 1876, № 2. Первоначальное название «Слепец». Варианты автографов и первопечатного текста см.: *Изд. 1935*, с. 734—735. Полонский был недоволен первой редакцией, о чем он писал Тургеневу: «Стихотворение «Слепой тапер» я совершенно переделал, досадно, что по легкосердию своему уступил его во 2 № «Недели», чем довел до окончательной отделки» («Звенья», в. VIII, 1950, с. 190).

Памяти Ф. И. Тютчева (с. 206).— Гражданин, 1876, № 36—37. *Ибо льется кровь за братьев,//Льется наша кровь!* — Полонский имеет в виду борьбу славян против турок на Балканах.

Царь-девица (с. 207).— *Соч. 1885—1886*, т. I, с. 401—402.

«С бюрократических вершин...» (с. 208).— *Высокая лестница*, с. 202. По справедливому мнению С. С. Тхоржевского, стихотворение явилось ироническим откликом поэта на получение им чина действительного статского советника 7.IV.1876 г.

У окна (с. 209).— Неделя, 1876, № 36.

Болгарка (с. 209).— Неделя, 1876, № 37. Весной 1876 г. турки жестоко подавили в Болгарии национально-освободительное восстание.

В потерянном раю (с. 210).— Дело, 1876, № 10, с. 89.

Старая няня (с. 211).— *На закате*, с. 19—22.

В годину утраты (с. 214).— *На закате*, с. 52. Адресат стихотворения — Николай Филиппович Христианович (1828—1890), композитор, музыковед.

В телеге жизни (с. 215).— Свет, 1877, № 3, с. 37. Эпиграф взят из стихотворения Пушкина «Телега жизни» («Хоть тяжело подчас в ней бремя...»).

Аллегория (с. 215).— Книжки Недели, 1885, № 3, с. 64. Первоначально являлось продолжением стихотворения «В телеге жизни».

На закате (с. 216).— Пчела, 1877, № 3, с. 34.

И. С. Тургеневу (с. 217).— Огонек, 1879, № 24, с. 496. Под заглавием «Старое послание» и без эпиграфов. *Любим был женскою душою.*— Поэт вспоминает свою первую жену Е. В. Устюжскую. *С площадки мраморной видна//Тебе знакомая арена...* .— Описание парижского оперного театра. *Она выходит.*— Речь идет о Полине Виардо (1821—1910). 7/19 апреля 1877 г. Тургенев писал Полонскому: «Ты забываешь, что мне

59-ый, а ей 56-ой год, не только она не может петь — но при открытии того театра, который ты так красиво описываешь, ей, той певице, которая некогда создала Фидес в «Пророке», даже места не прислали: к чему? Ведь от нее уже давно ждать нечего...» (Тургенев И. С. Полн. собр. соч. Письма, т. 12, кн. I. М.— Л., 1966, с. 134). К этому письму Тургенева имеется примечание Полонского: «Стихи эти были написаны — хоть и недоделаны — раньше, чем m-me Виардо сошла со сцены. Я нашел их, назвал «Старым посланием» и послал. Я. П.» (там же, с. 568). *Быть может, видишь ты свой дом...*— Полонский имеет в виду Спасское, где два года спустя Тургенев провел свое последнее лето в России в обществе Полонского и его семьи (об этом см. мемуары Полонского «И. С. Тургенев у себя в его последний приезд на родину» в кн.: «И. С. Тургенев в восп. совр.», т. 2. М., 1983).

Узница (с. 221).— Былое, 1906, № 1, с. 99—100, с редакционным уведомлением, что, помимо известного текста «Узницы», «существует иная редакция этого стихотворения, сохранившаяся в рукописи, написанной рукою самого Я. П. Полонского, и ныне любезно предоставленной в распоряжение редакции «Былого» Л. Ф. Пантелеевым. Рукопись датирована 1877 годом». Как известно, с 21 февраля по 14 марта 1877 г. шел процесс «50-ти», в числе подсудимых находились и женщины-революционерки. Историк революционного движения В. Богучарский считал, что именно этим женщинам посвящено стихотворение «Узница», которое «ходило в списках, большею частью неполных и неправильных, в течение многих лет» (Богучарский В. Активное народничество семидесятых годов. М., 1912, с. 301). В последнее время Н. А. Троицкий, соглашаясь с мнением В. Богучарского, писал: «Труднее определить, имел ли поэт в виду кого-либо из участниц процесса в отдельности, и если да, то кого именно. В этом смысле наиболее достоверно предположение Веры Фигнер, что имелась ввиду Лидия Фигнер. Его косвенно подтверждают такие авторитеты, как И. С. Тургенев, внимательно следивший за ходом процесса «50-ти» по газетным отчетам и письмам очевидцев (А. В. Головнина, Ю. П. Вревской), и А. Л. Боровиковский, выступавший на процессе в качестве защитника. Оба они выделяли из числа подсудимых Лидию Фигнер, восхищаясь ее стойкостью и обаянием. Именно ей Боровиковский посвятил стихотворение «К судьям» («Мой тяжкий грех, мой умысел злодейский...»). Тургенев уже к началу апреля 1877 г. получил в Париже из Петербурга от А. В. Головнина текст этого стихотворения. Тронутый его содержанием и слухами о смертельной болезни Фигнер (будто бы «находящейся в последней стадии чахотки»), он рассылал стихотворение друзьям и знакомым. Те, в свою очередь, переписывали и передавали его по рукам. Например, П. В. Анненков сообщал Тургеневу: «Песнь о Лидии Фигнер я распространяю в многочисленных списках...» По всей видимости, Я. П. Полонский, как один из самых близких друзей Тургенева, тоже заинтересовался тогда личностью Лидии Фигнер, что и подтолкнуло его к созданию «Узницы» (Троицкий Н. А. Засулич или Фигнер? (О стихотворении Я. П. Полонского «Узница»).— Русская литература, 1977, № 2, с. 186).

Однако атрибутирование первоначальной редакции «Узницы» к женщинам-революционеркам, проходившим по процессу «50-ти», не противоречит тому, что канонический текст этого стихотворения Полонского имеет прямое отношение к процессу Веры Засулич.

Узница (с. 222).— *ВЕ*, 1878, № 11, с. 61, без заглавия (снятого по цензурным причинам). Стихотворение было воспринято русским обществом как отклик писателя на дело Веры Засулич, судившейся за покушение на жизнь петербургского градоначальника Ф. Ф. Трепова. Суд состоялся 31 марта 1878 г. и закончился оправданием В. И. Засулич. «Катков громил в «Московских ведомостях» не только «сумасшедшую петербургскую интеллигенцию», не только защитника В. И. Засулич Александрова и председателя суда А. Ф. Кони, но и государственного канцлера князя Горчакова, бывшего на процессе и будто бы тоже аплодировавшего оправданию Засулич» (Богучарский В. Активное народничество семидесятых годов, с. 317—318). Стихотворение Полонского было опубликовано в ноябре 1878 г., но этот канонический текст, которому предшествовала редакция 1877 г., создавался, вероятно, в феврале — марте 1878 г., до судебного разбирательства. Стихотворение Полонского сразу же завоевало широкую популярность, его постоянно читала на своих выступлениях М. Н. Ермолова, оно было положено на музыку С. И. Танеевым, было любимой песнью революционного студенчества. Имеется еще один черновой автограф стихотворения, опубликованный Б. М. Эйхенбаумом в *Изд. 1935:*

УЗНИЦА

Лампы горят — в светлой комнате слышится
Хохот веселых гостей.
Сам, хоть старик, я смеюсь — но как юноша
Втайне тоскую по ней.
Что мне она? — не жена, не любовница —
И не родная мне дочь,
Так отчего ж ее доля злосчастная
Ходит за мной день и ночь.
Вот, и теперь, при гостях, мне мерещится
Жесткая койка тюрьмы,
Двери с запорами, окна с решетками,
Мертвая тень полутьмы.
Из полутьмы на меня смотрят тусклые
Очи без мысли и слез,
Не шевелятся ни губы, ни смятые
Космы тяжелых волос,
Ни ее худенький локоть, ни тонкие
Руки на тощей груди,
Слабо прижатые к сердцу без трепета
И без надежд впереди.
Вот шевельнулась она — слышу, кашляет.
Правда ли? ей, говорят,
Только семнадцатый год минул! — правда ли —
Что ей неслыханно мстят,
Мстят ей за бедность ее без смирения,

Мстят за свободу ума —
Мстят ей за страсть, за порыв нетерпения
И... за любовь без ярма.—
Скоро ли будет бедняжка оправдана,
Снова любить и желать —
Или уж скоро ли в саване вынесут
Тело ее отпевать —
О! что-нибудь — или жизни надломленной
Дайте вздохнуть и расцвесть,
Иль до суда — поспешите добить ее,
Чтоб утолить вашу месть.

«Поэт и гражданин, он призван был учить...» (с. 223).— Пчела, 1878, приложение к № 2, под снимком фотографии Некрасова в гробу. В собрание стихотворений 1896 г. не вошло.

Опасение (с. 223).— Неделя, 1879, № 1, стлб. 16—17, где вместо точек после седьмой строфы следовали стихи:

Им нечего жалеть, им дела нет, что ты
Кому-нибудь всего дороже,
И, одичалые, небесной красоты
Не отличат от пьяной рожи.

Н. А. Грибоедова (с. 224).— Огонек, 1879, № 10, с. 210—212. Окончательная редакция стихотворения относится к 1879 г., когда исполнилось 50 лет со дня гибели Грибоедова; первоначальный замысел, установил Б. М. Эйхенбаум, должно отнести к 1846 г., когда Полонский, приехав в Тифлис, познакомился с Ниной Александровной Грибоедовой, вдовой поэта, дочерью грузинского поэта А. Г. Чавчавадзе. В тифлисской тетради Полонского имеется первоначальная редакция стихотворения под названием «Грузинская элегия», начало которого удалось прочесть Б. М. Эйхенбауму:

Не пылкий юноша грузин
От племени царей,
Он русский был и был один
Царем души моей.

Но дара песен и ума
Скажите — я ль могла
Не предпочесть, когда сама
Я дочь певца была!

И мог ли он любви моей,
Скажите, мог ли он
Предпочитать своих степей
Холодный небосклон.

И мы пошли рука с рукой,
Пошли на брачный пир
Соединить судьбу с судьбой,
С любовью вечный мир —

И в блеске брачного венца
    Светила слава нам,
И я не ведала конца
    Моим блаженным дням.

Но мы расстались — я ждала...
    Ждала свиданья — вдруг
К нам из Ирана весть пришла,
    Что мой погас супруг.

Кто б мог поверить — мы пошли
    Его встречать, и кто б
Мог думать — на арбе везли
    Его забитый гроб.

Тогда тоска меня взяла,
    И все твердила я:
Зачем, зачем пережила
    Тебя любовь моя?

Завершая свой замысел в 1879 г., Полонский использовал мемуарные источники; помимо записок Пушкина, поэт привлек и некоторые другие свидетельства очевидцев, в частности, вероятно, описание траурной процессии, сделанное современником: «В печальном шествии было нечто величественное и неизъяснимым образом трогало душу: сумрак вечера, озаренный факелами, стены, сплошь унизанные плачущими грузинками, окутанными в белые чадры, протяжное пение духовенства, за колесницею толпа народа; воспоминание об ужасной кончине Грибоедова — раздирали сердца знавших и любивших его! Вдова, осужденная в блестящей юности своей испытать ужасное несчастие, в горестном ожидании стояла с семейством своим у городской заставы; свет первого факела возвестил ей о близости драгоценного праха: она упала в обморок, и долго не могли привести ее в чувство» (Грибоедов А. С. Полн. собр. соч, т. I. СПб., 1911, с. CI).

(Гипотеза) (с. 229).— *Соч. 1885—1886 гг.*, т. I, с. 440.

«Человек он идеальный...» (с. 229).— *Высокая лестница*, с. 215. Эпиграмма на К. П. Победоносцева (1827—1907), реакционного государственного деятеля, с 1880 по 1905 г. обер-прокурора синода. «С ним познакомился Полонский давно, в Москве,— тогда Победоносцев был еще совсем юношей. Встречались у Николая Ровинского, «в старом доме у Успения на Могильцах, в компании с давно прошедшим Кублицким», как вспоминал потом Победоносцев. Дружеских отношений не завязалось, знакомство осталось шапочным. Много лет не видались. Когда встретились в Петербурге, Победоносцев был уже высокопоставленным чиновником и, вместе с тем, оказался почитателем лирических стихотворений Полонского и Фета» (*Высокая лестница*, с. 212). Вскоре Полонский распознал, какой огромный вред России приносит могущественный обер-прокурор синода, и заклеймил его в эпиграмме.

«Любя колосьев мягкий шорох...» (с. 229).—*ВЕ*, 1882, № 7, с. 237.

«Глаза и ум, и вся блестишь ты...» (с. 230).— *ВЕ*, 1882, № 7, с. 237.

«Я умер, и мой дух умчался в тот эфир...» (с. 231).— *ВЕ*, 1882, № 7, с. 237.

На искусе (с. 231).—*ВЕ*, 1883, № 6, с. 593.

Холодная любовь (с. 232).— Русская мысль, 1884, № 4, с. 106, без заглавия.

Старик (с. 232).— Соч. 1885—1886 гг., т. I. С датой: «май 1884». П. Перцов вспоминал, что к Полонскому «вела несносно крутая, петербургская лестница в сотню с лишкой ступеней. Даже мне, в мои тогдашние двадцать с чем-то, было трудно ее одолевать. Для Полонского же путь в его квартиру без посторонней помощи был совершенно недоступен, и его вносили наверх на кресле. Без сомнения, об этой самой лестнице (он жил тут лет тридцать) он сложил свои грустно улыбающиеся строки», и далее мемуарист цитировал стихотворение «Старик» (Перцов П. Литературные воспоминания. М., 1933, с. 116). Полонский жил на Знаменской улице (ныне ул. Восстания), д. 26, в пятом этаже.

К портрету (с. 233).— Русские ведомости, 1913, № 245, без заголовка; перепечатано в кн.: Гершензон М. Грибоедовская Москва. М., 1914, с. 18, под заголовком «К портрету М. И. Лопухиной». В автографе, обнаруженном С. С. Тхоржевским, заголовок «К портрету» (см.: *Высокая лестница*, с. 228). «В одном семейном доме в Москве он увидел поразительный женский портрет (это был портрет Лопухиной работы Боровиковского). Полонский восхищался им и попросил владелицу прислать ему в Петербург фотографический снимок с этой картины. Фотография была прислана в письме. В ответ он послал стихотворение «К портрету» (*там же*).

«Томит предчувствием болезненный покой...» (с. 233).— Северный вестник, 1885, № 1, с. 41.

⟨Письмо к А. Н. Майкову⟩ (с. 234).— *Изд. 1935*, с. 278—281. *Бертенсон* — петербургский врач. *На Курочкина смахивал немного...*— Полонский имеет в виду Николая Степановича Курочкина (1830—1884) — поэта, журналиста, общественного деятеля, сотрудника «Искры», а затем, в 1868—1874 гг., члена редакции *ОЗ*, который в «Оде на современное состояние Франции» писал о «неотразимом образе Марата». *Как наш Златковский...*— Адресат стихотворения Полонского «Влюбленный месяц», автор книги «А. Н. Майков. Биографический очерк» (1888). *Случевский* — поэт и переводчик Константин Константинович Случевский (1837—1904), в лирике которого заметна близость с поэзией Фета и Полонского. *С графом Г. Арсением — с поэтом для немногих...*— Арсений Аркадьевич Голенищев-Кутузов (1848—1913) — поэт; в его творчестве с конца 1870-х гг. возникли мотивы обреченности, скорби, идеализации прошлого.

«Князек, ханжа и аферист...» (с. 236).— Печ. впервые по автографу (ИРЛИ; сообщено С. С. Тхоржевским). Вероятный адресат

эпиграммы — реакционный журналист князь Владимир Петрович Мещерский (1839—1914). В автографе есть зачеркнутая строка «Иль «Русь» Аксакова бранит...», что позволяет датировать эпиграмму временем между 1881 и 1886 гг., т. е. годами, когда издавалась газета «Русь» И. С. Аксакова.

Памяти С. Я. Надсона (с. 237).— «Русская мысль», 1887, № 2, с. 152. Печатается по: *Изд. 1935*, с. 282—283.

Н. И. Лорану (с. 238).—Книжки Недели, 1887, № 12, с. 181. Адресат стихотворения — Николай Иванович Лоран (1820—1892), приятель Полонского, с которым он дружил в Одессе и в Тифлисе.

А. А. Фет (с. 239).— Русский вестник, 1888, № 3, с. 37, с датой: «1888 г. 1 февраля».

«Гранит и небеса и все в туман одето...» (с. 240).— *Высокая лестница*, с. 237, из письма к литературному критику Николаю Николаевичу Страхову (1828—1896) от 16 февраля 1888 г. Поводом к стихотворению послужила размолвка между Полонским и Фетом, которая произошла в 1874 г. и закончилась лишь во второй половине 1880-х гг.

У двери (с. 240).— Север, 1888, № 13, с. 1-2. В журнальной публикации после строфы 11-й были три строфы, снятые в последующих изданиях:

Войду, скажу! сударыня!
Довольно! Маску прочь!
Чем стали вы в глазах моих,
Спросите эту ночь...

Пусть эта ночь подскажет вам,
Что вас не презирать
Нельзя — пока сам бог меня
Не выучит прощать...

Так без конца я речи плел,
В моей душе был ад —
Меня душил избыток сил,
Отчаянье и смрад.

Полонский и Чехов познакомились в декабре 1887 г. В письме от 8 января 1888 г. Полонский просил разрешения Чехова посвятить ему стихотворение «У двери»: «Оно будет помещено в журнале «Север» и, как мне кажется, более всего подходит к вашим небольшим рассказам или очеркам. Очень бы желал, чтобы его стихотворная форма была бы так же хороша и колоритна, как ваша проза» («Слово». М., 1914. Сб. 2, с. 234). 18 января 1888 г. Чехов писал Полонскому: «На Ваше желание посвятить мне стихотворение я могу ответить только поклоном и просьбой — позволить мне посвятить Вам в будущем ту мою повесть, которую я напишу с особенною любовью. Ваша ласка меня тронула, и я никогда не забуду ее. Помимо ее теплоты и той внутренней прелести, какую носит в себе авторское посвящение, Ваше «У двери» имеет для меня еще особую цену: она стоит целой хвалебной критической статьи авторитетного человека, потому что благода-

ря ему я в глазах публики и товарищей выросту на целую сажень» (Чехов А. П. Собр. соч. в 12-ти томах, т. 11. М., 1956, с. 182). Вскоре Чехов посвятил Полонскому свой рассказ «Счастье» (1887), которым открывался его сборник «Рассказы» (13 изданий, СПб., 1888—1889). Стихотворению «У двери» предшествовал его черновой вариант под названием «Неизвестность» (1851), приведенный в *Изд. 1935*; с. 532.

Вечор я вспомнил грустную
Подругу прежних дней.—
Впотьмах нашел я лестницу
И постучался к ней.

Стучался я, встревоженный,
Стучался целый час —
И слезы — слезы хлынули
Горячие из глаз.

Хозяйка злая, старая,
Проснулась и — кричит:
Не домовой ли в комнату
Порожнюю стучит?

Я тихо молча с лестницы
Спустился — и потом
Всю ночь дрожал на улице
Под ветром и дождем —

Какой-то голос шепчет мне,
Что я ее любил;
Но где она — и что она? —
Не знаю — след простыл...

Окончательный текст написан не без влияния стихотворения Лермонтова «Свидание» («Уж за горой дремучей//Погас вечерний луч...»). О связи творчества Полонского с поэзией Лермонтова см.: Лермонтовская энциклопедия. М., 1981, с. 426.

Памяти В. М. Гаршина (с. 243).— Всемирная иллюстрация, 1888, № 1003. С датой: «28 марта 1888». *Что он в далекий путь собрался.*— Весной 1888 г. Гаршин собирался ехать в Кисловодск, но накануне отъезда бросился в пролет лестницы и умер. *Где гордой пальме места нет.*— Полонский вспоминает рассказ Гаршина «Attalea princeps». Дружеские отношения между Полонским и Гаршиным возникли в начале 1880-х гг.

«Жизнь наша — капля, канет жизнь...» (с. 245).— *Творчество*, с. 7.

В засуху (с. 245).— *Соч. 1896*, т. II, с. 394—395.

Лебедь (с. 246).—«Русская мысль», 1888, № 8, с. 130. С датой: «12 мая 1888 года». Варианты чернового автографа см.: *Изд. 1935*, с. 745.

В хвойном лесу (с. 247).— *РВ*, 1888, № 9, с. 153. С датой: «Ф. Ж. Д. Райвола». В журнале, помимо четырех строф, оставленных автором в *Изд. 1896 г.*, следовали еще две части:

2

Как загадочны и темны
Откровенья божества!
Отягчаемая снами
С грустью никнет голова.

Свищут ли, поют ли птицы:
Соловьи, чижи, скворцы...
Для чего нужны им гнезда
И бескрылые птенцы?!

Или вечно будет лето?
Иль суровая зима
Не зароет в комья снега
Их воздушные дома?!

Муравьи ль у ног под елью
Копошатся и снуют —
Гениальная постройка!
Но к чему весь этот труд?!

Или я над этой кучей
Не властитель? Захочу —
И плоды труда их мигом
Запалю иль размечу...

Иль осенний поздний ливень
Этой кучи не зальет,
Чтоб под солнцем, на морозе,
Засверкал над нею лед?

Но к чему такие речи!
Все, что любит и живет,
Без конца творит и любит;
Все бесплодно... что гнетет...

Цель темна — люби без цели,
Защищайся без вражды,
И не жди в минуту счастья
Ни разгрома, ни нужды.

3

Снизойди я в муравейник —
Превратись я в муравья,
Я бы стал у них пророком —
Все бы им поведал я:

Что в лесу и что за лесом,
Что творится в городах

И какие пышут звезды
В необъятных небесах...

Как железными путями
Опоясан шар земли,
И какие в синем море
Дым пускают корабли...

Я бы мог развить умы их...
Но, мозгами шевеля,
Муравьи глагол мой примут
За фантазию враля.

От неслыханных вещаний
Взбудоражится их рой,
В муравьином государстве
На меня поднимут вой.

Нет, уж лучше невидимкой
Быть для них и не желать
Человеческою правдой
Их мутить и раздражать.

Ведь и я б не понял явных
Откровений божества...
Отягчаемая снами
С грустью никнет голова.

Райвола — первоначальное название станции по Финляндской железной дороге (ныне — Рощино).

«Для сердца нежного и любящего страстно...» (с. 248).— *РВ*, 1888, № 11, с. 102.

В альбом Г... В... (с. 248).— *Творчество*, с. 8.

В день пятидесятилетнего юбилея А. А. Фета (с. 249).—*РВ*, 1889, № 2, с. 234. С датой: «Январь, 1889». 28 января 1889 года праздновалось пятидесятилетие литературной деятельности поэта.

Зимой в карете (с. 250).—*РВ*, 1889, № 4, с. 25.

Кассандра (с. 251).—*РВ*, 1890, № 4, с. 37—43. С датой: «12 февраля 1890 г.». Варианты журнального текста см.: *Изд. 1935*, с. 747—748. В сб. *«Вечерний звон»* (с. 186) стихотворению сопутствует примечание автора: «Это стихотворение, вследствие кое-каких недоразумений со стороны читателей, заставило меня обратиться к справкам, так сказать, проверить свою память и свою фантазию.

Пришлось снова перечитать перевод А. Н. Майкова сцен из трагедии Эсхила «Агамемнон». И вот что в этих сценах говорит Кассандра:

Кассандра

Мне дар всеведенья дан Аполлоном...

Хор

Он благосклонен был к тебе — любил?

Кассандра

Доныне, стыд мне был бы в том сознаться!

. . . .

Любил и требовал моей любви!

Хор

И ты его порывам уступила?

Кассандра

Дала обет и — не сдержала слова!

Хор

Уж получив сперва дар прорицанья?

Кассандра

Уж гибель я предсказывала Трое!

Хор

И гнев его тебя не поразил?

Кассандра

Ужасный гнев: никто не стал мне верить.

Здесь из слов Кассандры не видно, чтоб она сама пожелала получить от Аполлона дар прорицания; но, по-моему соображению, это вероятнее. Зачем нужно было Аполлону давать ей дар, который был бы роковым для его любви! Еще вероятнее (т. е. логичнее), что он уступил ее желанью — стать пророчицей не иначе как при первом свидании,— в страстном увлечении красотой ее.

Некоторые заметили мне, что слово *«одичала»* слишком веско или грубо по отношению к Кассандре, но в тех же сценах вот что говорит Кассандра о своем прошлом:

Безумные! — Свои же насмехались!
Ругали как врага: — ехидной нищей,
Обманщицей — голодную меня,
Несчастную, отвергнутую всеми! —

т. е. и отцом, и семьей, и народом — мудрено ли после этого от всех удаляться и как бы одичать...

О том, какую роль играл деревянный конь, коварно посвященный греками троянам,— конь, торжественно ввезенный в Трою и в ту же ночь ставший причиною ее страшной гибели, видно из девятой рапсодии «Илиа-

ды», или из 2-й главы «Энеиды» Вергилия. В этой главе о Кассандре говорится только, что ее — Приамову деву, с распущенной косой, повлекли от храма Минервы и что она могла только возводить свои горящие очи, так как нежные руки ее были уже скованы».

Вечерний звон (с. 256).— *Вечерний звон*, с. 204.

Вечерний звон (вариант) (с. 257).— *РВ*, 1890, № 6, с. 158.

«Зной — и все в томительном покое...» (с. 257).—*РВ*, 1890, № 9, с. 6. *Воробьевка* — имение Фета, где Полонский гостил летом 1890 г.

В гостях у А. А. Фета (с. 258).— Книжки Недели, 1890, № 10, с. 14.

«Полонский здесь не без привета...» (с. 258).— Северные цветы на 1902 г., с. 99, с редакционным примечанием: «Это стихотворение Я. П. Полонский написал карандашом на притолке Воробьевского флигеля, где гостил у А. Фета летом 1890 года».

На пути (с. 259).—*РВ*, 1890, № 10, с. 76, без заглавия.

В осеннюю темь (с. 259).— *Вечерний звон*, с. 193.

«Когда в наш темный сад вошла ты привиденьем...» (с. 260).— *РВ*, 1891, № 2, с. 524.

«По торжищам влача тяжелый крест поэта...» (с. 260).— *РВ*, 1891, № 3, с. 214.

Тени и сны (с. 261).— Нива, 1891, № 12, с. 266, без заглавия. С датой «1891. Февраль 20».

«Вот и ночь... К ее порогу...» (с. 262).— Книжки Недели, 1892, № 2, с. 141.

Ответ (с. 263).— Север, 1892, № 14 (5 апреля), с. 735, под заглавием «N. N. ***».

В саду (с. 263).— Русский вестник, 1893, № 1, с. 240.

Пустые ножны (с. 264).— Книжки Недели, 1893, № 3, с. 31, без эпиграфа. Эпиграф — неточная цитата из стихотворения Лермонтова «Поэт»:

Проснешься ль ты опять, осмеянный пророк!
Иль никогда, на голос мщенья,
Из золотых ножон не вырвешь свой клинок,
Покрытый ржавчиной презренья?..

В потемках (с. 265).— Путь-дорога. Научно-литературный сборник. СПб., 1893, с. 310. С датой «28 декабря 1892 г.».

В новый дом (с. 265).— *РВ*, 1894, с. 25. Варианты автографа см.: *Изд. 1935*, с. 752—753.

«Мысли вычитанной...» (с. 266).— *Высокая лестница*, с. 250. *То из Воронова//Ростопчинский конь*.— Вороново принадлежало ранее мужу писательницы Е. П. Ростопчиной, который там держал завод породистых лошадей.

Смерть (с. 266).— Книжки Недели, 1896, № 10, с. 60. Другую

редакцию см. в: *Изд. 1935*, с. 753—754. В собрание стихотворений 1896 г не вошло.

«Если б смерть была мне мать родная...» (с. 268).— «Нива», 1897, № 45, с. 1057. В изд. 1896 г. не вошло.

«И любя и злясь от колыбели...» (с. 268).— Нива, 1898, № 15, с. 288. В изд. 1896 г. не вошло.

«Еще не все мне довелось увидеть...» (с. 268).— Новое время, 1898, № 8134 (19 октября), под заглавием «Последнее стихотворение Я. П. Полонского». С датой: «1898. Август».

ПОЭМЫ

Кузнечик-музыкант (с. 269).— Русское слово, 1859, № 3, с. 1—26, с подзаголовком «Шутка в виде поэмы». Первое отдельное издание — 1859 г., второе (с рисунками В. Гартмана) — 1863 г. Поэма носит автобиографический характер, в аллегорической форме Полонский изобразил свое униженное положение, когда он был «гувернером» сына А. О. Смирновой-Россет в Петербурге, а потом за границей — в Баден-Бадене. В 1857 г. в письме к М. Ф. Штакеншнейдер Полонский так характеризовал баденское общество: «Соперничество, сплетни, страсть к французам, жалкое волокитство, дряблость мысли, отсутствие всего, что может быть названо душою, вот вам главные черты этого милого общества» (Голос минувшего, 1919, № 1—4, с. 127). У Полонского мелькала мысль написать остросатирическую комедию. В окончательном варианте его впечатления отразились в поэме «Кузнечик-музыкант». По справедливому наблюдению Б. М. Эйхенбаума, стиль этой поэмы сближает ее «с распространенной в те годы животной карикатурой (вроде знаменитых иллюстраций Гранвиля), сопровождавшейся литературным текстом в виде очерка, новеллы, фельетона и проч. Здесь люди изображались в виде животных, но в свойственной людям бытовой обстановке и одежде, в их общественной и домашней среде и т. д. От животных оставались, в сущности, только маски. Так сделано и в «Кузнечике-музыканте»...» (Полонский Я. П. Стихотворения. Л., 1954, с. 535).

Свежее преданье (с. 292).— Печатается по *Изд. 1935*, с. 378—476, где воспроизведен текст первоначальной журнальной публикации (Время, 1861, № 6, 10; 1862, № 1). Как справедливо отмечено Б. М. Эйхенбаумом, роман в стихах Полонского — поэма мемуарного типа; это литературный памятник, воссоздающий живо и непосредственно жизнь Москвы 1840-х гг.

На обложке майской книжки журнала «Время» за 1861 г. было помещено следующее объявление от редакции: «В следующей, июньской книге «Времени», мы печатаем одно из замечательнейших произведений нашей текущей поэтической литературы — первые три главы из романа в стихах Я. П. Полонского «Свежее преданье». Мы говорим об 'этом произведении как о событии в литературе».

Вскоре, после появления в печати первых глав поэмы, Ф. М. Достоевский 31 июля 1861 г. писал Полонскому: «3 главы Ваши вышли еще в июле и произвели сильное разнообразное впечатление. Во-первых, вообще, впечатление вышло неполное — это понятно. Весь роман, напечатанный целиком, произвел бы впечатление гораздо сильнейшее. В публике отзывы (как я слышал) различные, но что хорошо, что ценители делятся довольно резко на две стороны: или бранят, или очень хвалят,— а это самое лучшее. Значит, не пахнет золотой срединой, черт ее возьми! Иные в восторге, хвалят очень и бранятся, что нет продолжения. Один, человек очень неглупый, так просто объявил, что ему роман совсем не нравится, потому что «ничего не развито и романа нет». Брат отвечал ему, что развитие романа еще только началось, и как услышал это ценитель, то разинул рот от удивления: он было вообразил, что эти три главы — и есть весь роман, совершенно оконченный. Он проглядел, что сказано о продолжении впредь. Друг Страхов заучил все эти три Ваши главы наизусть, ужасно любит цитировать из них, и мы, собравшись иногда вместе, кстати иль некстати, приплетаем к разговору ваши стихи. В литературе, как вы сами можете вообразить, отзывов еще нет, кроме тех, которым не терпится, чтоб не ругнуть. ⟨...⟩ В Москве я видел Островского. Некрасов, проезжая Москву до меня, был у него, и Островский рассказывал мне, что Некрасов от Вашего романа в восторге» (Достоевский Ф. М. Письма, т. 1. М.—Л., 1928, с. 302—303).

Заглавие непосредственно взято из грибоедовской комедии «Горе от ума» («Свежо предание, а верится с трудом»), определение жанра произведения «роман в стихах» вызывает прямую ассоциацию с «Евгением Онегиным».

Роман в стихах не был закончен Полонским. Перепечатывая «Свежее преданье», автор снабдил его следующим планом ненаписанных глав:

«В напечатанных шести главах «Свежего преданья» далеко не исчерпывается содержание задуманного мной романа. Тем из моих читателей, которые, пробежав эти главы, найдут в них хоть ⟨...⟩ посильный труд мой с высоты своего величия, намерен я в кратких словах досказать роман, мною когда-то задуманный, и таким образом познакомить их с его содержанием.

Вот план романа, начиная с 6 главы до 20.

Камков относит княжне Лоре просвиру от ее матери, воротившейся с богомолья, и доказывает ей всю ненормальность ее отношений к матери,— отношений, созданных невежеством и грубой силой. Лора в первый раз от роду слышит, что мать ее добрая и честная женщина, что она любит и даже не перестает о ней заботиться. Настает ночь светлого Христова воскресенья. Описание этой ночи в московском Кремле. В эту ночь Лора уходит от своей

гувернантки и, сопровождаемая Камковым, на паперти Чудова монастыря, в первый раз встречает и обнимает мать свою. Камков становится ближе к Лоре — она подчиняется его нравственному влиянию. Мысли Камкова о религии.

Весна.— Сокольники.— 1 мая.— Камков решается сказать Лоре, что он ее любит; но без всяких претензий на взаимность — без всякой надежды на свое личное счастие. Он только просит позволения любить ее. Княжна не без волнения выслушивает его признания, но прямо говорит ему: вы не мой герой. Тот, кого я полюблю, должен походить на тот идеал мужчины и гражданина, который вы не раз рисовали передо мной, читая мне историю или толкуя великих поэтов. Я люблю вас как друга, как брата. Впрочем будущее зависит от вас — не теряйте надежды.

В мае баронесса уезжает за границу, не простясь с Камковым. Из деревни возвращается в Москву князь Таптыгин — отец Лоры. Он приехал, вызванный судом по какому-то уголовному делу, от всех тщательно скрываемому, и отделывается от суда, давая взятки и пленяя всех своей благонамеренностью. Это салонный герой со всеми утонченностями светской любезности, когда он во фраке, и — беспощадный самодур, грязный кутила и развратник, когда он дома, в бархатных шароварах и в красной канаусовой рубашке с косым воротом. Встретившись с Камковым, он сразу не полюбил его — глядит на него высокомерно и с недоверием, подмечает его дружеские отношения к княжне — и возмущается. Камков впервые лицом к лицу встречается с силой, враждебной всем его убеждениям, враждебной науке, любви, прогрессу и проч. Кончается тем, что князь зовет его к себе обедать и хочет при дочери напоить допьяна ее наставника. Камков на это не поддается. Через несколько дней князь начинает грубить ему. «Как вы смеете,— говорит он,— воображать, что стоите на одной доске со мной или с моей дочерью. Кончайте урок — и гайда! Руки по швам! если не хотите, чтоб я выгнал вас». Камков отвечает ему, что он и не ставит себя на одну с ним доску, потому что считает себя бесконечно выше его во всех отношениях. Взбешенный князь призывает людей и приказывает им вытолкать Камкова на улицу. Сцена возмутительная и безобразная.

Оскорбленный Камков чувствует вполне все свое бессилие. Он придумывает мщение и не может ничего выдумать. Знает, что жалоба в суд будет совершенно бесполезна; его обвинят за непочтительность к князю — князя оправдают. Теоретик и философ Камков низко падает в собственных глазах своих; он считает себя уже недостойным не только любви, недостойным дружбы им любимой девушки. Он решается не видеть ее и в умственном труде ищет себе успокоения. Князь Таптыгин увозит дочь свою в деревню. Камков случайно видит Лору в окне дорожной кареты. Лора выбрасывает ему платок свой. Слезы и отчаяние матери.

Сельцо Таптыгино.— Деревенская жизнь княжны.— Характер князя и его подвиги как богатого помещика.— Его пирушки.— Его отношения к крестьянам, к соседям-помещикам и к своим любовницам.— Княжна изучает эту жизнь.— Пассивное молчаливое непокорство.— Выплаканное

уединение.— Тоска. Боязнь перед насильственным браком. Чтоб наполнить свою жизнь, она принимается за воспитание крепостного мальчика Илюши, сына ее бывшей няни, сосланной в деревню за привязанность к ее матери.— Мальчик, способный к развитию.— Княжна привязывается к нему, хотя и скрывает свою привязанность. Выучив его грамоте, она рассказывает ему разные исторические события: толкует священное писание — и мало-помалу старается привить к нему чувство человеческого достоинства. Так проходят два года, Илюше наступает четырнадцатый год.

Князь находит Илюшу праздным и делает его своим казачком. Илюша прочищает и набивает трубки, гостям подносит водку; но по ночам читает и молится. Княжна же затевает тайную переписку с Камковым. Из ее степного далека, среди вопиющего невежества, грубости и низкопоклонства, среди картежников и псарей, Камков кажется ей чуть не великим человеком, чуть не гением. «Если он меня еще любит,— думает княжна,— он сжалится надо мной и увезет меня». Камков отвечает ей остроумными письмами, но ни слова не говорит о любви своей.

У Илюши есть сестра Маша, девушка лет семнадцати; она живет в селе у своего дяди, выборного — и ходит с дочерьми его на поденщину. Илюша встречается с сестрой своей на огороде и советует ей не попадаться на глаза барину. Но за Машу сватается кузнец Фома, и так как без позволения барина выйти ей замуж нельзя, то она и должна, по заведенному обычаю, идти к князю и просить его разрешения. Проходит месяц. Илюша узнает, что сестра его сильно понравилась барину. ...Позволение на брак Маша должна прежде всего купить ценой своей невинности. Князь считает своим правом на известный срок обладать теми, кто имеет счастие ему понравиться, и страшно наказывает тех парней, которые позволяют себе с ним соперничать.

Илюша худеет, молится и в свободные минуты, когда князь спит после обеда, прокрадывается в комнату Лоры. Он допытывается у ней, чтобы она сделала, если бы попалась в руки к разбойнику, что если бы кто-нибудь насильно ее взял к себе вместо жены. «Я бы скорей утопилась,— отвечает Лора». Летняя ночь. Берег пруда. Илюша советует сестре своей утопиться. Та не хочет. «Моя, знать, такая судьба,— говорит она.— Чем я лучше других? Вон и Матрена прошлого года целый месяц пожила с барином — не съел». Маше хочется, однако ж, тайно от барина хоть в овине повидаться с кузнецом Фомой. Она его любит и просит Илюшу помочь ей. «Нет,— говорит Илюша,— не могу я помогать тебе. Кузнец Фома говорит, что лучше теперь в солдаты пойдет, чем на тебе женится, и барина, говорит, не послушаюсь, пусть делает со мной что хочет». Маша уходит опечаленная. Илюша мечтает о побеге.

Княжна пишет к Камкову, что если б не он, ей бы и в голову не пришло заняться воспитанием крепостного мальчика — что она при первой возможности заведет школу, и Илюша будет помогать ей, когда вырастет. «Если бы не вы,— пишет ему княжна,— мне кажется, я была бы не прочь плясать на пирушках моего отца в угоду его полуночных собеседников

и вышла бы замуж за первого негодяя. Мне, впрочем, тяжело здесь. Отец подозрителен, беспрестанно меняет мою прислугу и ревниво стережет меня; но я сама виновата, я сказала ему: что найду средство бежать, если меня не оставят в покое». В это время за окном она слышит голос Илюши: «Его секут!» — «Кого?» — спрашивает княжна. «Фому, за то, что не хочет жениться на сестре моей».

Князь Таптыгин имеет обыкновение после ужина прогуливаться за садом по гати, откуда видна ему вся деревня. Он наблюдает, во всех ли избах погашен огонь и не везут ли снопы, тогда как после зари возить на гумно снопы князь запретил по каким-то своим собственным соображениям. Обыкновенно в это время в селе царствует мертвая тишина. По гати мимо барского дома никто не смеет ни ходить, ни ездить. Один Илюша имеет право приносить своему барину кисет, высекать огонь или с трубкой дожидаться его на конце плотины. Описание темной ночи. Илюша выходит на плотину с топором под мышкой, видит: по гати ходит не один, а целых три барина, на него находит страх, и он убегает. Всю ночь до утра он молится. На другую ночь он опять выходит с топором. На этот раз он видит только двух вместо одного барина; но он опять уходит и опять всю ночь молится. На третью ночь он убивает князя Таптыгина. (Сообщить подробности об этом уголовном деле мне было обещано... Галлюцинации мальчика мной также не выдуманы.)

Илюша на заре пошел по деревне и сам повинился в своем преступлении. Его связали, послали за становым и дали знать в ближайший город. Ужас княжны, когда на другой день, проснувшись, она увидела отца своего с разрубленной головой.— Панихиды. Сельский причт. Чтение псалтыря. Ночные прогулки княжны по саду. Ее душевное настроение. Толки по деревне.— Хорошо еще, что сознался, говорят крестьяне, что, кабы не сознался? Сколько бы из нас просидело в остроге за одно подозрение. Илюшу везут в город. Его посадили в телегу, вся деревня сошлась провожать его. Мать, рыдая, подбегает к телеге и обнимает сына. Кузнец также его целует. «Что ты сделал?» — слышится голос княжны. Илюша молча глядит на нее, но ничего не отвечает. Его увозят. «Благослови его, господи, отпусти ему прегрешение его»,— слышится в толпе. Княжна чувствует в глубине души своей, что не может проклинать убийцы, и заболевает.

Спустя месяц, осенью, княжна приезжает в Москву и останавливается у матери. Тут автор в первый раз ее видит и провожает к Камкову в больницу. Камков заболел от уныния и усиленных занятий. Болезнь лишила его уроков и затем куска хлеба. Не видя ничего впереди, он заболел еще сильнее и хозяйкой своей квартиры отвезен в больницу. Княжна застает его в памяти, с письмом от одного из бывших учеников его. Она рассказывает ему о последних деревенских событиях. Камков говорит ей: «Бессильный я был человек; но вижу, слова мои сильны. Через вас прошли они в душу какого-то деревенского мальчика, и за меня он отомстил ему. Не мог я за себя заступиться, он за меня вступился. Не мог я освободить вас, он вас освободил. Мой дух говорил с ним вашими устами. Убийца не этот мальчик, а я —

бедный, слабый, умирающий; не он, а вы, потому что развивали в нем благородные чувства, тогда как кругом него была мерзость запустения и ничего человеческого. Придет время, и оно близко, когда крепостное право рухнет, и если царь не сокрушит его, оно сокрушит Россию. Я умираю, но знайте, что тень моя придет потревожить вас, если вы хоть одного человека назовете рабом своим».

Предсмертные слова Камкова потрясли Лору, поселили в ее совести такую тревогу, из которой она не находит выхода.

Старушка, мать ее, поселилась с ней в Москве. Она беспрестанно молится за упокой своего мужа и ездит на могилу Камкова молиться за упокой души его. Княжна отделывается от женихов и поступает в сестры милосердия. Баронесса возвращается из-за границы с новым любимцем. Это какой-то француз-фортепьянист с артистическими ухватками. Она вводит его в свет ...и на его концерты сама развозит билеты. На вопрос же: «Жив ли еще Камков и что он делает?» — отвечает: «Вероятно, жив, но невидим, как идея совершенно отвлеченная».

Это «Свежее предание», к счастью для нас, потеряло уже свою свежесть, и нужно слишком много условий для того, чтобы такое произведение в стихах могло в настоящее время приковать к себе внимание читающей публики. Начало же его (помещаемое в этом издании) не удалось мне. Я обременил его подробностями и, быть может, увлекся своими личными воспоминаниями. Продолжать неудавшееся начало не имею сил... Зачем же я его печатаю? Печатаю из одного предположения, что некоторые черты тогдашнего московского общества, воспринятые моей юношеской впечатлительностью, мною довольно верно схвачены, но, разумеется, это только предположение».

Прототипом Камкова был поэт Иван Петрович Клюшников (1811—1895), входивший в кружок Станкевича. Клюшников с увлечением штудировал немецкую классическую философию. Белинский в 1830-е гг. высоко ценил Клюшникова, считая его «очень интересным человеком». Скептическая настроенность личности часто побуждала молодого поэта сочинять пародии и эпиграммы. «Он был Мефистофелем небольшого московского кружка,— писал о Клюшникове П. В. Анненков,— весьма зло и едко посмеиваясь над идеальными стремлениями своих приятелей. Он был, кажется, старее всех своих товарищей, часто страдал ипохондрией, но жертвы его насмешливого расположения любили его и за веселость, какую распространял он вокруг себя, и за то, что в его причудливых выходках видели не сухость сердца, а только живость ума, замечательного во многих других отношениях, и иногда истинный юмор» (А н н е н к о в П. В. Н. В. Станкевич. Переписка его и биография. М., 1857, с. 132).

Клюшников преподавал историю в частном пансионе, давал частные уроки. В 1838 г. он начал публиковать свои стихи на страницах «Московско-

го наблюдателя». Но литературные успехи не радовали поэта. Пережив тяжелое психическое расстройство, в начале 1840-х гг. он внезапно уехал из Москвы; его исчезновение было встречено всеобщим недоумением. Современники даже полагали, что Клюшникова более нет в живых, а поэт жил в своем имении в Харьковской губернии в течение сорока с лишним лет.

По-видимому, Клюшников был внутренне близок Полонскому своей проницательностью, интеллектуальным бесстрашием, высокой моральной чистотой, максимализмом творческих стремлений. Поэт Полонский как в зеркале видел в другом поэте «святое недовольство» самим собой, и это недовольство импонировало ему, стимулировало высокую требовательность к себе и творческую активность.

Стр. 301. *Кольцова стих из уст в уста...*— Широкая известность А. В. Кольцова началась в середине 1830-х гг., после выхода в свет в 1835 г. в Москве сборника его стихотворений, подготовленного к печати Н. В. Станкевичем.

Стихов под литерой Θ...— Литерой «Θ» подписывал свои стихотворения И. П. Клюшников.

Стр. 303. *Вам описал его каморку...*— Ср. с описанием кабинета Езерского в одноименной поэме Пушкина (Пушкин А. С. ПСС в 10-ти томах, т. IV. Л., 1977, с. 245, 397).

Стр. 304. *Увы! как Рудину,— тогда//Ему была одна дорога...*— В романе И. С. Тургенева «Рудин» герой говорит: «Где не бывал я, по каким дорогам не ходил!.. А дороги бывают грязные... И между тем неужели я ни на что не был годен, неужели для меня так-таки нет дела на земле? Часто я ставил себе этот вопрос, и как ни старался себя унизить в собственных глазах, не мог я не чувствовать в себе присутствия сил, не всем людям данных!»

Как поглядим да посравним...— Перефраза слов Чацкого из комедии Грибоедова «Горе от ума»: «Как посравнить, да посмотреть» (д. II, явл. 2).

Стр. 305. *Как знал ты жизнь — как мало жил...*— Строка из предсмертной элегии Д. В. Веневитинова «Поэт и друг» (1827); эта строка вырезана на могильной плите поэта.

Стр. 307. *Ее гостям «Разъезд» читал...*— Имеется в виду «Театральный разъезд после представления новой комедии» Гоголя, который артист М. С. Щепкин читал в московских гостиных.

Стр. 311. *Для настоящих жемчугов?..*— Полонский уподобляет критиков радикального лагеря незадачливому петуху из известной басни Крылова «Петух и Жемчужное зерно».

...на пажитях чужой науки...— Под «чужой наукой» автор подразумевает философию. Вернувшись из Германии в 1841 г., И. С. Тургенев предполагал занять кафедру истории философии в Московском университете.

Аксаков был еще моложе...— Полонский имеет в виду К. С. Аксакова.

Стр. 316. *Он, верно, Шиллера читал.*— Скорее всего, автор имеет в виду оду Шиллера «К радости» (1795), которая была чрезвычайно популярна в России в 1810—1840-е гг.

Стр. 326. *Судей решительных и строгих.*— Цитата из романа «Евгений Онегин» (глава первая, строфа V).

Стр. 329. *...«Пчелку» ли читать?* — Полонский имеет в виду реакционную газету «Северная пчела», которую издавали Ф. Булгарин и Н. Греч.

Стр. 339. *Та девушка, что отдавалась любви и счастию сполна...* и далее.— Ср. со стихотворением Тютчева, посвященным Е. А. Денисьевой: «Чему молилась ты с любовью, что как святыню берегла, судьба людскому суесловью на поруганье предала» (1854).

Стр. 340. *«...где тонко, там и рвется...»* — Полонский сознательно сближает колебания Камкова с поведением героя комедии И. С. Тургенева «Где тонко, там и рвется» Горским (1847). «Такими чертами обрисовал он главное лицо комедии,— писал о Тургеневе П. В. Анненков,— скептическое до того, что оно не верит собственному чувству, и запутанное так, что из ложного понятия о независимости оно отказывается от счастья, которого само искало» (*С*, 1849, № 1, отд. III, с. 20).

Стр. 354. *Где можно умереть вдвоем...*— Последняя строка из стихотворения А. Н. Майкова «На дальнем Севере моем...» (1844).

В конце сороковых годов (из поэмы «Братья») (с. 379).— Печ. по авторскому сокращенному варианту («Библиотека поэта», изд. 1954 г.). Полонский отбросил первые пять глав, а в VI—X произвел изменения и сокращения, добавив небольшой незаконченный эпилог «Большая неприятность». Как установил по черновым тетрадям Б. М. Эйхенбаум, поэма была задумана еще в 1850-х гг., под заглавием «Борьба», а беловая копия первых глав датируется 1865 г. Вероятно, замысел поэмы возник в творческом сознании поэта в середине 1850-х гг., когда изменившиеся общественные условия (смерть Николая I, поражение в Крымской войне, ликвидация «бутурлинского» цензурного комитета и т. д.) позволяли думать, что поэма о революционных событиях в Италии не встретит особых цензурных затруднений. В поэме безусловно отразились личные впечатления Полонского, вынесенные им во время его пребывания в Италии.

Отдельные главы первоначальной редакции поэмы печатались в разных журналах: «Женский вестник», 1866, № 2 (гл. I, II); *РВ*, 1867, № 8 и 10, 1868, № 3, 11, 1869, № 2 (гл. III—VIII); *ВЕ*, 1870, № 4, (гл. IX, X).

Пореформенная Россия была для писателя неразгаданным сфинксом. Бурные социальные процессы, поляризация общественных течений вызывали мучительные размышления:

Пусть патриот, как некий частный пристав,
Во мне подозревает нигилизм,
Пусть молодые свисты нигилистов
Преследуют во мне патриотизм.

В такой стране, где все грызут друг друга,
Недаром я, от севера до юга,
Скитался, как непомнящий родства,
По всем векам, ища свои права...

(гл. I, строфа 3)

Естественно, что любимым прибежищем Полонского стала Италия, страна многовековой гуманитарной культуры, страна, где торжествовал творческий гений человека, страна, которую не смогли надолго поработить иностранные захватчики: оккупационные наполеоновские войска в начале XIX в., австрийские штыки, которые после позорных решений Венского конгресса 1814—1815 гг. пытались задушить итальянское национально-освободительное движение, сумели лишь отсрочить час победы итальянского народа. Важным этапом борьбы за освобождение Италии явилась революция 1848—1849 гг. Рим восстал 15 ноября 1848 г.; папа Пий IX вскоре бежал за границу и стал во главе контрреволюции. В феврале 1849 г. революционный триумвират, возглавляемый Мадзини, провозгласил Рим республикой. Президент Франции Луи Наполеон послал войска под командованием генерала Ундино, которые 3 июля 1849 г. штурмом взяли столицу Италии. В эти трагические для Италии дни герой поэмы Полонского русский юноша-художник превращается в бойца, спешащего на помощь своим братьям итальянцам. Вероятно, название поэмы «Братья» имеет двойной смысл: это и повествование о братьях Игнате и Алеше, и поэма о народах-братьях, русских и итальянцах, связанных идеями гуманизма, высокой духовной культуры и свободы. Печатание последних глав поэмы Полонского совпало по времени с окончательным освобождением Италии от иностранного ига.

Стр. 380. *...Там кисть Брюллова молнии с вулкана похитила...*— К. П. Брюллов писал в Италии свою знаменитую картину «Последний день Помпеи» (1830—1833).

...там Иоанна Крестителя Иванов созерцал.— Имеется в виду монументальное полотно А. А. Иванова (1806—1858) «Явление Христа народу» (1837—1857).

Стр. 386. *...Осиротевший трон Луи-Филиппа.*— Король Франции Луи Филипп (1773—1850) был свергнут с престола во время февральской революции 1848 г.

Но огненный змей.— Полонский не совсем точно приводит строчки из стихотворения В. Г. Бенедиктова (1807—1873) «Утес» (1835).

Рад, что вздули Меттерниха.— Клеменс Меттерних (1773—1859),

князь, министр иностранных дел и фактический глава австрийского правительства, случайно избежал гибели во время революции в Австрии в 1848 г.

Стр. 392. *Ламне* — Ламенне Фелисите Робер (1782—1854), французский публицист, один из родоначальников идеологии христианского социализма.

Капфиг Батист (1802—1882) — французский писатель.

Токвиль Алексис (1805—1859) — французский историк и политический деятель, автор книги «О демократии в Америке» (1835).

Стр. 397. *Рамазанов* Николай Александрович (1817—1867) — скульптор.

Стр. 398. *Хоть часть отдай на школу.*— Имеется в виду московское Училище живописи, ваяния и зодчества, которому покровительствовал М. Ф. Орлов (о нем см. коммент. на с. 459, т. 2, наст. изд.).

Стр. 399. *Наливайко* Северин (ум. в 1597 г.) — руководитель антифеодального крестьянско-казацкого восстания 1594—1596 гг. на Украине и в Белоруссии.

Стр. 401. *За наш последний в Венгрию поход.*— На подавление Венгерской революции 1848—1849 гг. Николаем I были отправлены русские войска.

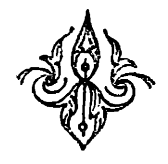
Стр. 403. *Карл Альберт* (1798—1849) — король Сардинии с 1831 г., после поражения в австро-итальянской войне 1848—1849 гг. отрекся от престола и бежал из своей страны.

Алфавитный указатель



СТИХОТВОРЕНИЯ

ПОЭМЫ



Полонский Я. П.

П52 Сочинения. В 2-х т. Т. 1. Стихотворения; Поэмы / Сост., вступ. статья и коммент. И. Мушиной.— М.: Худож. лит., 1986.— 493 с., портр.

В первый том сочинений Я. П. Полонского (1819—1898) включены стихотворения и поэмы («Кузнечик-музыкант», «Свежее предание» и др.).

П $\frac{4702010100\text{-}239}{028(01)\text{-}86}$ 25-86 ББК 84Р1

Яков Петрович Полонский

СОЧИНЕНИЯ В ДВУХ ТОМАХ

Том первый

Редактор В. Фридлянд

Художественный редактор Г. Масляненко

Технический редактор Л. Ковнацкая

Корректор Г. Киселева, О. Наренкова

ИБ № 3734

Сдано в набор 17.12.84. Подписано к печати 11.07.85. Формат 84×108[1]/32. Бумага тип. № 1. Гарнитура «Академическая». Печать высокая. Усл. печ. л. 26,04+1 вкл.=26,09. Усл. кр.-отт. 26,56. Уч.-изд. л. 27,75+1 вкл.=27,8. Тираж 100 000 экз. Изд. № 1582. Заказ 1775. Цена 2 р. 40 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Ново-Басманная, 19

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15

В 1986 году
в серии
«ЛИТЕРАТУРНЫЕ МЕМУАРЫ»
выйдут в свет:

«Н. А. Добролюбов в воспоминаниях современников»

«Бальзак в воспоминаниях современников»

«А. П. Чехов в воспоминаниях современников»

В разделе
«СОЧИНЕНИЙ»
выйдут в свет:

А. Н. Апухтин. Сочинения

А. А. Ахматова. Сочинения в двух томах

В 1986 году

в серии

«ПЕРЕПИСКА РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ»

выйдут в свет:

«Переписка М. Горького»

«Переписка И. С. Тургенева»